

В ЛАСТИЛСКО
ЛАГЕРЕ СМЕРТИ



В САМАСПИССКОМ ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ

под редакцией К. Сауснитиса

ПЕРЕВОД ВТОРОГО ДОПОЛНЕННОГО
ИЗДАНИЯ



ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
РИГА 1964

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ОБВИНЯЮТ

В

ниманию читателя предлагается сборник воспоминаний бывших узников Саласпилского лагеря смерти. Этот сборник перекликается с книгами, изданными в Советском Союзе и в странах социалистического лагеря, в которых гневно разоблачаются тягчайшие преступления германского фашизма против мира и человечества.

В книге повествуется о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских изуверов и их приспешников — латышских буржуазных националистов, совершенных ими за колючей проволокой Саласпилского лагеря смерти. Вместе с тем бывшие узники не только рассказывают читателям об ужасах, которые народам мира принес фашизм и его неизбежный спутник — война, но и предупреждают, что эти ужасы могут снова повториться, если народы не будут твердо стоять на страже мира и позволят гидре фашизма снова поднять голову.

В то время как германские реваншисты снова усиленно вооружаются и готовятся развязать третью мировую войну, особенно важно не забывать, какие неисчислимые страдания доставили эти враги мира нашей Отчизне, всему человечеству.

Германские фашисты сразу же после захвата власти в

феврале 1933 года совершили поджог рейхстага. В поджоге клеветнически обвинили коммунистов, чтобы объявить вне закона Коммунистическую партию Германии и тем самым развязать себе руки для массовых репрессий. Уже на следующий день после поджога рейхстага был издан чрезвычайный декрет президента «О защите народа и государства», которым, в сущности, были ликвидированы все гражданские права, записанные в Веймарской конституции, в том числе право на свободу личности.

Один из пунктов этого позорного акта предусматривал превентивное заключение. Вопреки общепризнанному правовому принципу — «без вины нет преступления, нет наказания», превентивное заключение давало возможность политической полиции без суда и следствия «в интересах общественной безопасности и порядка» лишать свободы любое лицо на неопределенное время без предъявления ему какого-либо обвинения в совершении преступления. Распоряжением тайной полиции на неопределенный срок могли быть оставлены в заключении также и лица, уже отбывшие назначенное наказание. При этом заключенный лишался права обжаловать его превентивное заключение.

Обычно приказ о превентивном заключении выглядел так: «На основании статьи 1 декрета имперского президента «Об охране народа и государства» от 28 февраля 1933 года («Reichsgesetzblatt» I, стр. 133) вы подвергаетесь превентивному заключению в интересах общественной безопасности и порядка.

Причина: подозрение в деятельности, направленной против государства¹.

Превентивное заключение на деле означало полный произвол, не ограниченный никакими правовыми гарантиями.

¹ Нюрнбергский процесс, том IV. Москва, Государственное издательство юридической литературы, 1959, стр. 296.

Одним из основных орудий массового фашистского террора стали концентрационные лагеря, которые покрыли всю территорию гитлеровской Германии. В них томились тысячи и тысячи борцов за мир, антифашистов, коммунистов, деятелей профсоюзных и других прогрессивных организаций.

Германские фашисты широко использовали концентрационные лагеря как орудие проведения в жизнь человеконенавистнической расовой политики, орудие физического уничтожения огромных групп «расово неполноценного» населения.

Эту жуткую программу уничтожения людей выработал сам фюрер. «Мы, — говорил Гитлер Раушнингу, — должны развить технику обезлюдивания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюдиванием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это — то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача»¹.

Совершив вероломное нападение на Советский Союз и временно оккупировав часть его территории, немецко-фашистские захватчики и здесь организовали массовый террор, создали концентрационные лагеря. В советских прибалтийских республиках, как и на остальной оккупированной территории нашей страны, начался мрачный период немецкой оккупации — бедствие, которого не знали наши народы за всю свою многовековую историю.

Осуществляя свои чудовищные планы порабощения и истребления советского народа, гитлеровцы уже в первые дни оккупации создали многочисленные карательные органы — СС, СД, гестапо, разного рода комендатуры, префектуры, «охранные» роты, специальные полицейские подразделения и карательные экспедиции, задачей которых было истязать и уничтожать советских людей.

Вся полнота власти над этой сложной машиной массового

¹ Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, том 1. Москва, Госюриздат, 1957, стр. 483.

террора и уничтожения людей находилась в руках полиции безопасности и эсэсовских главарей. Гитлеровцы разделили оккупированную советскую территорию на так называемые округа. Территория оккупированных советских прибалтийских республик была отнесена к округу «Остланд». Верховным руководителем СС и полиции «Остланд» Гитлер назначил своего приближенного обергруппенфюрера СС генерала полиции Еккельна¹.

Руководствуясь изуверскими установками Гимmlера о том, что «латыши, литовцы и эстонцы — низшие расы, и этим должно определяться отношение к этим народам», Еккельн отдавал распоряжения подчиненным ему карательным органам о беспощадной расправе над народами Советской Прибалтики. О чудовищном размахе массового террора в городе Риге и ее окрестностях свидетельствуют многочисленные трофейные документы, рассказы очевидцев, массовые могилы убитых людей.

Так, в донесении на имя тогдашнего начальника полиции СД Латвии — штурмбаннфюрера Крауса 9 июля 1941 года префект города Риги Штиглиц сообщал:

«При этом докладываю Вам, что прошедшая ночь прошла спокойно. Арестовано 150 коммунистов. До дальнейшего выяснения задержано 34 человека. Особого успеха добился начальник V участка, который предпринял проверки во всех районах участка... и арестовал 38 коммунистов...»

Только силами префектуры в городе Риге в первые дни июля 1941 года было арестовано и задержано свыше двух тысяч мирных граждан.

¹ 3 февраля 1946 года Военный трибунал Прибалтийского военного округа приговорил бывших гитлеровских генералов Еккельна, Руффа, Монтетона, Вертера, Павела, Кюппера, Беккинга — семь крупных военных преступников — за злодеяния, совершенные на территории Прибалтики в годы немецкой оккупации, к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение в г. Риге 3 февраля 1946 года публично.

Никогда не забудут жители Московского района города Риги разыгравшейся здесь трагедии, о которой с цинизмом палача сообщается в донесении дежурного офицера префектуры от 21 июля 1941 года:

«Сутки прошли спокойно. Арестовано 27 коммунистов... Проведена широкая акция по очистке латгальского пригорода и островов Даугавы на 6-м и 9-м участках Рижской префектуры с участием немецкой полиции безопасности. Задержано 866 человек... При бегстве застрелено 33 человека».

О массовых арестах и расстрелах сообщается в префектуру со всех концов Латвии. Так, бывший начальник Рижской уездной полиции Вейде докладывал префекту города Риги:

«...В городе Плявиняс расстреляно 11, в городе Огре 3, а в Лиелвардской волости 5 коммунистов».

Для осуществления преступных планов порабощения и истребления советских людей гитлеровские захватчики использовали местных буржуазных националистов, которые старались выслужиться перед немецкими фашистами и таким образом надеялись вернуть себе былую власть и богатства: фабриканты — фабрики, кулаки — землю. Путем эксплуатации трудящихся они снова рассчитывали загрести сказочные богатства.

Латышские фашисты при первой же возможности уже спешили выразить свое доверие Адольфу Гитлеру и покорно просили разрешить им участвовать в создании «Нового порядка». Об этом красноречиво свидетельствует содержание телеграммы, текст которой был утвержден 11 июля 1941 года в городе Риге на одном из совещаний самых реакционных буржуазных националистов. В то время как народы Советского Союза и многие народы мира активно боролись против фашизма, эти заклятые враги трудящихся в телеграмме Гитлеру писали:

An Adolf HITLER,

Führer und Reichskanzler, Hauptquartier.

Am 11. Juli 1941 im wieder befreiten Lettland zum ersten Male versammelte Vertreter sämtlicher Volksschichten und Berufe übermitteln den Dank des gesamten lettischen Volkes an die rühmreiche Deutsche Wehrmacht und jeden deutschen Mann, der an der Befreiung Lettlands teilgenommen hat, aber insbesondere dem grossen und siegesgekrönten Vorkämpfer des deutschen Volkes und aller anderen indo-germanischen Völker - Adolf HITLER.

Die Hoffnung des gesamten lettischen Volkes auf Anteilnahme am Befreiungskampf Europas unterbreiten wir Adolf HITLER zur Entscheidung.

Das lettische Volk ist gewillt am Neuaufbau Europas teilzunehmen und sieht einem diesbezüglichen Beschluss Adolf HITLERS vertrauensvoll entgegen.

Alfred VALDMANIS, Delegationsleiter.

Oberstleutnant Viktor DEGLAVS, Delegierter,

Gustavs Celmins, Delegierter.

«Фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру, главная ставка.

11 июля 1941 года во вновь освобожденной Латвии впервые собрались представители различных слоев и профессий, чтобы выразить признательность всего латышского народа славной немецкой армии и всем немцам, участвовавшим в освобождении Латвии, и особенно — великому, победоносному

предводителю немецкого народа и всех индогерманских народов Адольфу Гитлеру.

Надежды всего латышского народа участвовать в освободительной борьбе Европы мы возлагаем на решение Адольфа Гитлера.

Латышский народ полон решимости участвовать в строительстве новой Европы и с покорностью ждет соответствующего решения Адольфа Гитлера.

Альфред Валдманис, руководитель делегации; полковник-лейтенант Виктор Деглав, делегат; Густав Целминь, делегат».

Так подло подонки общества пользовались именем латышского народа, у которого никогда не было ничего общего с новоявленными «представителями». Они были готовы выполнить любое кровавое поручение. Это вскоре подтвердилось на деле.

Говоря о так называемых местных латвийских, литовских и эстонских «самоуправлениях», во главе которых были поставлены фашистские прихвостни, ненавистные народу предатели, Еккельн на допросе показал:

«Мне приходилось нередко встречаться с руководителями латвийского «самоуправления» Данкером и Бангерским, с руководителем литовского «самоуправления» Капилёнасом и руководителем эстонского «самоуправления» доктором Мяз.

Должен сказать, что все они были большими друзьями Германии. Эти люди защищали только наши, немецкие интересы и нисколько не думали о судьбе своих народов. Это были всего-навсего немецкие марионетки...»

Латышские, литовские и эстонские буржуазные националисты принимали самое активное участие в установлении фашистского режима в Прибалтике, в массовом уничтожении

советских людей, проявляя при этом исключительную свирепость и цинизм.

Ни в чем не повинных людей хватили на улице, ночью вытаскивали из домов, били, мучили и расстреливали. Фашистский террор превзошел самые изощренные методы инквизиторов средневековья.

В качестве вознаграждения за участие в истреблении советских людей гитлеровские прихвостни получали вещи убитых, захватывали и присваивали общественное имущество.

Моральный облик гитлеровских приспешников из числа латышских буржуазных националистов наглядно характеризует публикуемая здесь фотокопия списка на латышском языке

S a r a k s t a

ar parakstiem par Ventspils apriņķa policijas darbiniekiem, kas saņēmušā degvīnu un papirosus, kā gratifikāciju bandītu gūstīšanā. Izsniegts uz SS u. Poliz-eiģebietsfōhrer'a raksta Nr.- pamata, saskaņā ar apriņķa priekšnieka sēdelfījumu.

G.Ž.Nr.

Ir. Nr.	Uzvārds un vārds	Degvīns ltr.	Papirosi gab.	Paraksts.
1.	Heiberģs Dāvids	2,5	100	<i>D. Heiberģs</i>
2.	Anzenavs Alberta	1,0	40	<i>A. Anzenavs</i>
3.	Einfelde Kārlis	1,0	40	<i>K. Einfelde</i>
4.	Pavars Alfreds	1,0	40	<i>A. Pavars</i>
5.	Lāže Kārlis	1,0	40	<i>K. Lāže</i>
6.	Lauris Kārlis	1,0	40	<i>K. Lauris</i>
7.	Čegliņš Imants	1,0	40	<i>I. Čegliņš</i>
8.	Kleimanis Arvids	1,5	60	<i>A. Kleimanis</i>
Kopā		10,0	400	

Apstiprinu:

Ventspils apr.priekšnieks
latv.pol.majors

с росписями некоторых работников Вентспилсской уездной полиции, подписанного начальником названной полиции: «Список с росписями работников Вентспилсской уездной полиции, которые получили водку и папиросы в качестве вознаграждения за поимку бандитов (так немецкие каратели называли советских партизан. — *Прим. авт.*). Выдано на основании распоряжения областного начальника СС и полиции и в соответствии с распределением начальника уезда...». Как мы видим далее из данного списка, больше всего отличился в кровавом деле предатель Давид Хейберг, получивший 2,5 литра водки и 100 папирос, полицейский Арвид Клейманис получил 1,5 литра водки и 60 папирос, остальные каратели — Альберт Анзенав, Карлис Эйнфельд, Альфред Павар, Карлис Лаже, Карлис Лаурис и Имант Сеглинь, предавшие Родину и засвидетельствовавшие готовность за глоток сивухи и пачку папирос убить любого из своих соотечественников, получили по одному литру водки и 40 папирос.

Актами Государственной Чрезвычайной комиссии, трофейными материалами и показаниями очевидцев подтверждено, что немецкие фашисты и их приспешники из числа латышских, литовских и эстонских буржуазных националистов уничтожили в Латвийской ССР свыше 300 тысяч мирных граждан, в том числе свыше 35 тысяч детей, свыше 300 тысяч советских военнопленных и насильно угнали на каторжные работы в Германию около 280 тысяч человек; в Литовской ССР уничтожили около 700 тысяч мирных граждан и военнопленных и угнали в рабство в Германию свыше 36 тысяч советских граждан; в Эстонской ССР уничтожили свыше 125 тысяч мирных граждан и советских военнопленных.

Спрашивается, почему немецко-фашистские захватчики и их наймиты уничтожили на временно оккупированных территориях СССР так много населения?

Ответ на этот вопрос дал бывший гитлеровский генерал Еккельн на допросе в военном трибунале: «Это делалось

с целью быстрого покорения захваченной нами советской территории, исходя из нацистской программы захвата жизненного пространства для немцев»¹. И далее в своих показаниях Еккельн пояснил: «...после окончательной победы Германии, сказал Гиммлер, необходимо будет германизировать тех эстонцев и латышей, которые хорошо проявят себя на работе в пользу Германии. Всех остальных латышей и эстонцев, говорил он, надо будет выселить из Прибалтики в Германию, чтобы использовать их на работе, а освободившееся пространство заполнится немцами»². К принудительному угону отдельных лиц из числа мирного населения на каторжные работы в Германию из Прибалтики гитлеровцы приступили уже в 1942 году, а в 1943 году в Германию стали вывозиться эшелонами целые семьи в массовом порядке под охраной вооруженных эсэсовцев. Тысячи и тысячи угнанных в рабство в Германию там погибли. Перед тем как выслать советских граждан в Германию, фашистские главари на месте объявили их политически неблагонадежными элементами. Подтверждением этого является секретное распоряжение Даугавпилсского краевого комиссара Риккена от 21 августа 1943 года, адресованное старшинам волостей и городов, в котором, в частности, говорилось: «25 августа 1943 года в 4 часа утра через полицию будет проведена одновременная акция по захвату политически неблагонадежных элементов в крае. Захват будет произведен вместе с их семьями. Они будут перемещены на другое место работы...» «Другим местом работы» был угон в рабство в Германию через различные концентрационные лагеря, в том числе и Саласпилский. Из публикуемой здесь фотокопии секретного распоряжения Даугавпилсского краевого комиссара от 21 августа 1943 года, обнаруженного в архиве трофейных документов, видно, что

¹ Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига, Книгоиздательство ВАПЦ, 1946, стр. 124.

² Там же.



Для фашистов человеческая жизнь ничего не стоила. Зато вещи они ценили. Поэтому обреченные на смерть должны были раздеться и сложить свои вещи, чтобы после «акции» их можно было быстрее разобрать.



Эти несчастные уже сняли свою одежду и стали у самого края ямы. Еще мгновение — и пули фашистов опрокинут их навзничь.



И вот это произошло... Приближается гитлеровец с палкой, чтобы сбросить в яму последние группы, которые сами туда не упали.

Эти бесчеловечные фотоснимки сделал соучастник преступлений гестаповец гауптшарфюрер Карлис Строт.

T u l k o j u m s

S i e p e n i

Latgales pagastu vecāku un pilsētas vecāku kungiem.

1943.gadā 25.augustā plkst. 4 no rīta notiks vienlaicīga caur policiju izvesta akcija, politiski neuzticamo elementu saņemšanai novadā.

Saņemšana notiks kopā ar vīpu gimerēm. Minētie nokļūst citā darba vietā. Tā kā starp vīpiem atradīsies arī lauksaimnieki, tad ir neizbēgami, ka vīpu mājās pagastos neviens cilvēks yairs nepaliks. Pagastu vecākiem ar šo tiek uzdots par šīm atstātām mājām rūpēties un sevišķi par to gādāt, ka:

- 1./ Visu atstāto dzīvu un nedzīvu inventāru ievest sarakstos.
- 2./ Saraksti jāuzglabā pagasta valdēs.
- 3./ Māju apstrādāšanu, lopu kopšanu, un ražas novākšanu jāuztic no pagastu vecākā ieceltiem kaimiņu zemniekiem.
- 4./ Pagasta vecākiem jāgādā, lai zirgu pases tiktu ievāktas un uzglabātas.

Ir noteikti jā rūpējas par to, lai saimnieciski darbi atstāto zemnieku mājās noritētu bez traucējumiem. Pagasta vecāki par to nes pilnīgu atbildību. Bez tam ir jā rūpējas par to, lai mājas iekārta piem: gultas, trauki, drēbes, krājumi u.t.t būtu drošībā un bez Kreislandwirta piekrišanas netiktu no mājas aizvesti. Ir paredzēts evakuēto mantas uzglabāt un pēc kārtīgas uzvešanas vēlāk vīpiem tās nodot atpakaļ.

9 nodot atpakaļ



gez. R i e c k e n
Novada komisārs.

фашистские главари, адресуя его своим лакеям — старостам волостей и городов, прямо указывали, что в домах выселенных «ни один человек не останется». Таким образом, немецкие фашисты в Советской Прибалтике уже подготавливали «свободную» территорию, или «жизненное пространство», для заселения ее в будущем «индогерманцами».

В том же распоряжении содержится подробнейший перечень того, как сохранить имущество, вплоть до кроватей и посуды, принадлежавшее лицам, высылаемым в Германию. Правда, краевой комиссар Риккен не был откровенен до конца лишь в одном, ибо сохранять имущество лиц, вывезенных в Германию, необходимо было вовсе не для того, чтобы его когда-то вернуть «прежним владельцам», как он об этом указывал в распоряжении, а для того, чтобы передать его «индогерманцам», прибывшим для заселения опустевших мест. Судьба всех тех, кого насильно угоняли на каторжные работы в Германию, уже была predetermined решением Гитлера и разъяснением Гимmlера. Путь возвращения на родину советским людям, как и многим гражданам других стран, был закрыт.

Особенно зверски гитлеровские палачи истребляли лиц еврейской национальности.

Конкретизируя свою человеконенавистническую программу, Гимmlер в речи на совещании в Познани 4 октября 1943 года говорил: «...Под очищением от евреев я подразумеваю уничтожение еврейской расы... уничтожение евреев — это наша программа, и мы ее выполняем и уничтожаем их»¹.

Начиная уже с июля 1941 года все граждане еврейской национальности, согласно приказу оккупантов, подлежали обязательной регистрации в полицейских участках Рижской префектуры; невыполнение этого распоряжения влекло за собой расстрел на месте.

¹ Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, том IV. Москва, Госюриздат, 1959, стр. 300.

К 1 августа 1941 года в полицейских участках было уже зарегистрировано до 50 тысяч евреев. Этим лицам, согласно плану, разработанному гитлеровцами, арестовывали, доставляли в Рижскую префектуру, а впоследствии направляли в Рижскую Центральную тюрьму или гетто.

В конце 1941 года и начале 1942 года гитлеровцы организовали массовый расстрел евреев, загнанных в гетто и другие фашистские застенки.

Об одной из таких акций уничтожения людей бывший сотрудник полицейского участка Рижской префектуры Лазда, осужденный органами Советской власти за карательную деятельность против советских граждан, показал:

«Мы конвоировали эту колонну до Румбульского леса... Среди этих лиц были женщины, старики, дети... Когда мы подогнали колонну к Румбульскому лесу, я увидел здесь большой ров. Приближаясь к нему, мы услышали автоматную очередь... Нам пришлось подождать на дороге несколько минут, пока расстреливали лиц еврейской национальности, пригнанных сюда раньше. Затем и наша колонна была подведена к яме... Перед расстрелом евреям было предложено снять и сложить одежду... Один из немцев имел в руках палку, которой подгонял раздетых людей к яме, где происходил расстрел. В яме ходили трое немцев с автоматами в руках. Они шагали по окровавленным трупам, непрерывно стреляя в людей... Они переставали стрелять только тогда, когда меняли диски автоматов...»

Генеральный Прокурор СССР Р. Руденко в своей вступительной речи на Нюрнбергском процессе указал, что в Риге до оккупации немцами города проживало около 80 тысяч евреев. Когда Рига была освобождена, то в городе осталось в живых только 140 евреев¹.

¹ Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, том I. Москва, Госюриздат, 1957, стр. 505.

В конце 1941 года в Ригу и Саласпилс начали привозить евреев из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши и других стран. Эшелоны прибывали на ст. Шкиротава; оттуда евреев гнали на расстрел в Румбульский лес. Часть из них временно использовали на работе в рижском гетто и Саласпилсском лагере смерти. Немецкие фашисты и их прихвостни уничтожили в Румбуле и Саласпилсе десятки тысяч еврейских семей.

Окончательное решение «еврейского вопроса», т. е. полное уничтожение евреев, было доверено специальному отделению IV-B при имперском управлении безопасности, которым руководил гитлеровский палач — оберштурмбаннфюрер Эйхман¹. Он также неоднократно приезжал и в Латвию.

Вот что вспоминает инженер Карл Симсен из Шверина, заключенный в Саласпилсский лагерь смерти:


«Эйхман лично руководил истреблением людей, когда приезжал в Ригу. В течение четырех месяцев (столько времени я находился в лагере) здесь было уничтожено около 2000 евреев. Под предлогом, что их переводят на работу вне лагеря, сто-двести больных, нетрудоспособных людей ежедневно грузили в специальные автомашины и в пути их умерщвляли (как тогда обычно говорили — «газировали»)… Время от времени Эйхман посещал рижское гетто, чтобы контролировать и ускорять «окончательное решение еврейского вопроса»…²

Трофейная карта, в которой отмечено количество уничтоженных евреев, свидетельствует об ужасных размерах фашистского террора, который свирепствовал на территории «Остланда». С каким цинизмом, характерным для палачей, и чисто немецкой аккуратностью здесь записаны числа — 35 238; 136 421; 41 928; 963; 3600.

Ни фамилии, ни имени, ни адреса… только мрачные гробы. В период оккупации жизнь десятков тысяч советских людей

¹ В 1962 г. Израильский суд приговорил Эйхмана к высшей мере наказания — смерти через повешение.

² Газета «Нойес Дойчланд», 1 июня 1960 г.



Betreten des Geländes
strengstens verboten.

Jeeja sai rajona slingri
aizlleqia.

Заходить в этот район
строго воспрещается.

Der Kommandant

Чтобы скрыть свои злодеяния от людей, гитлеровцы строго запрещали приближаться к территории лагеря

различной национальности заканчивалась в концентрационных лагерях.

По пути в концентрационный лагерь люди проходили в гитлеровских застенках ряд «ступеней смерти». В Латвии одной из первых «ступеней смерти» были рижское гестапо и СД по ул. Реймерса, префектуры и уездные полицейские участки. Там людей всячески пытали, унижали, зверски избивали, убивали.

Материалы о пытках в подвалах гестапо передал Государственной Чрезвычайной комиссии рижанин Антон Гадзан. «Первый раз меня допрашивали в 11 часов ночи, — рассказывает он. — За столом сидело трое палачей из полиции безопасности. Когда я не признался в преступлении, которое мне хотели навязать, они посадили меня на стул и просунули ноги через спинку второго стула. Полицейский сел на ноги, а второй резиновой дубинкой бил по пяткам ног. Это были неопишуемые мучения...»

О произволе и издевательствах, царивших в Рижской префектуре, рассказал потерпевший Дмитрий Буковский:

«Меня арестовали в июле 1941 года, привели в префектуру и бросили в подвал, который уже был переполнен до последней возможности... Как милостыни, арестованные просили у стражи приотворить дверь в коридор, чтобы хотя немного открыть доступ свежему воздуху. Но просьба не принималась во внимание.

В этом помещении я находился в заключении около недели. Нам давали только кусочек хлеба и воду. Часто ночью арестованных выводили на расстрел, днем их переводили в Центральную тюрьму».

Рижская Центральная тюрьма была второй «ступенью смерти». Здесь арестованных подвергали еще большим унижениям и пыткам и также расстреливали.

Последней «ступенью смерти» для жертв фашистского террора был концентрационный лагерь.



Трофейная карта помечена гробами и зловещим словом («Свободно от евреев»).

Только на территории Латвийской ССР фашистами было создано 23 концентрационных лагеря, крупнейшим из которых был Саласпилский лагерь смерти.

Саласпилский лагерь смерти немецкие фашисты устроили в болотистой местности, в 18 километрах от Риги. Строи-

тельство лагеря началось в октябре 1941 года, а уже в следующем году туда согнали тысячи людей не только с оккупированной территории Советского Союза, но и из многих стран Западной и Центральной Европы — Германии, Польши, Чехословакии, Австрии, Бельгии, Голландии и других стран.

Подобно чудовищной мельнице Саласпилсский лагерь систематически перемалывал тысячи человеческих жизней.

Лагерь был обнесен двойным рядом колючей проволоки с многочисленными сторожевыми вышками. В самом центре лагеря находилась центральная сторожевая вышка с пулеметами. На самом видном месте была воздвигнута виселица.

Арестованные содержались в наспех построенных бараках. Каждый барак был рассчитан на 200—250 человек, но зачастую туда помещали 350—800 арестованных.

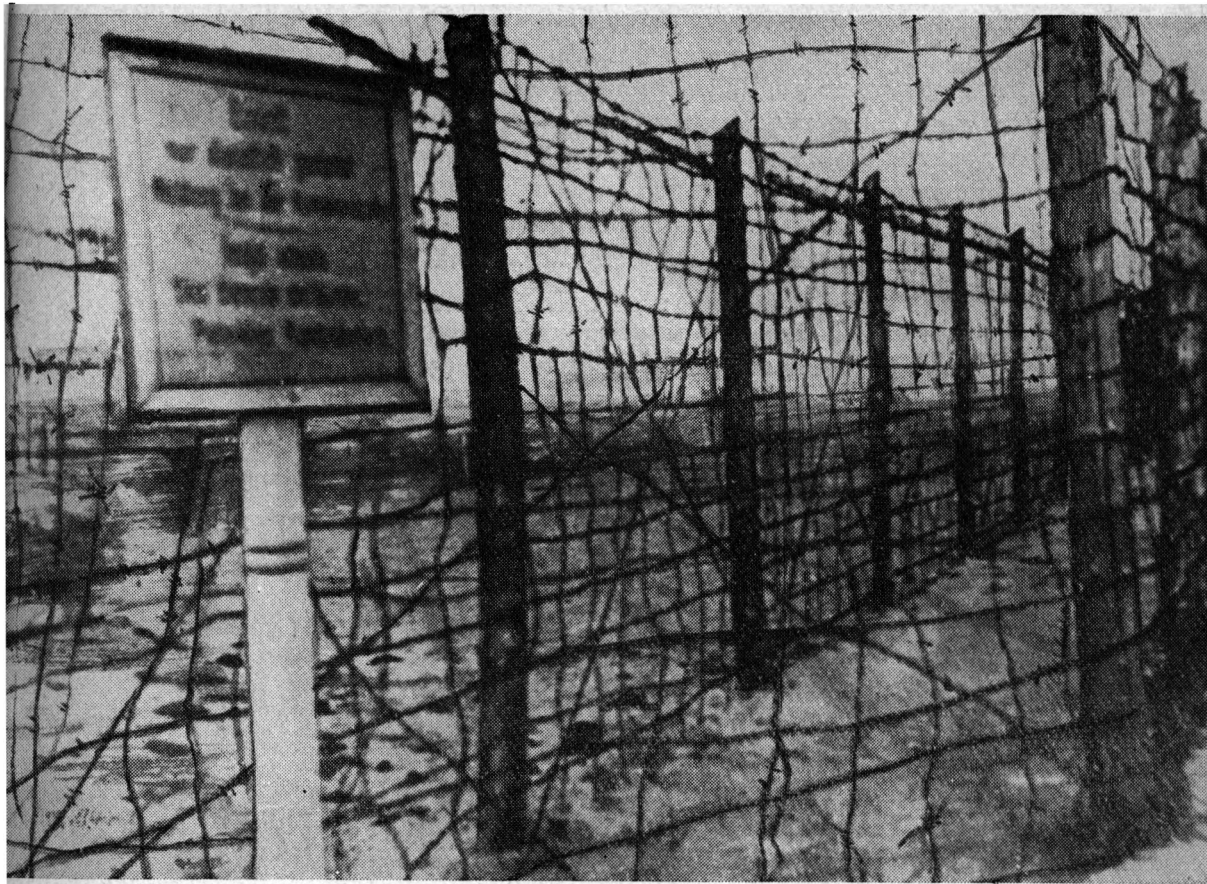
Суточный рацион заключенного составлял 150—300 граммов хлеба, наполовину состоявшего из опилок, и чашка супа, приготовленного из овощных отходов и листьев деревьев. Заболевания и тяжелый труд приводили к большому проценту смертности.

Рабочий день заключенных не ограничивался и практически продолжался 12—14 и более часов.

В Саласпилсе, как и в других концентрационных лагерях, был в силе приказ начальника главного административно-хозяйственного управления СС о руководстве концентрационными лагерями. В этом приказе, в частности, говорится:

«4. Комендант лагеря лично ответственен за использование рабочей силы. Чтобы достигнуть максимальной производительности труда, использование этой рабочей силы должно быть реализовано в полном смысле слова до полного истощения сил.

5. Рабочий день не ограничен. Длительность рабочего дня зависит от производственной структуры лагеря и от характера выполняемой работы и определяется лично комендантом лагеря.



Эта ограда в Саласпилском лагере смерти отделяла людей не только от свободы, но и от жизни

6. Вследствие этого коменданту лагеря вменяется в обязанность сокращать до предела все мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочего дня (обеденное время, сборы и т. д.). Запрещаются различные переходы и обеденные перерывы...»¹

Работать должны были как здоровые, так и больные. Совершенно истощенных и тяжелобольных помещали в лагерную больницу, где почти никакой медицинской помощи им не оказывалось; лагерная больница, по существу, служила преддверием смерти.

Саласпилс являлся центральным концентрационным лагерем с несколькими филиалами. Наибольшие из них были каменистыми Сауриешти и Бема, которые обеспечивали цементный завод Шмита. Кроме того, узники использовались еще на работах по добыче торфа в саласпилском болоте, на известковом заводе, аэродроме, на строительстве дорог и других местах.

В Саласпилском лагере и его отделениях фашистами была установлена изощренная система наказаний и устрашений, исходившая из «общих» указаний Гимmlера о концентрационных лагерях. В указаниях говорилось:

«Лагерь обнести колючей проволокой, через которую пропущен ток высокого напряжения.

Разумеется, если кто-нибудь вступит в запретную зону, в него стреляют. Если кто-нибудь на месте работы, скажем, на болоте или на строительстве дорог... делает попытку бежать — в него стреляют. Если кто-нибудь ведет себя нагло, строптиво ...его сажают в темную одиночную камеру, где он получает только хлеб и воду, либо — прошу вас не пугаться, я воспользовался старым прусским каторжным уставом 1914—1918 гг. — ...он получает 25 палочных ударов»².

¹ Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками, том IV. Москва, Госюриздат, 1959, стр. 314—315.

² Бухенвальд. Документы и сообщения. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962, стр. 37.

В избиении и истязании узников Саласпилса участвовали фашисты различных рангов и их подручные. Особой жестокостью в обращении с узниками отличался начальник СД и гестапо Латвии штурмбаннфюрер Ланге, коменданты Саласпилского лагеря Никкель и Краузе и их помощники — Теккемейер, Бергер, Хейер, а также подлые предатели латышского народа — Видуж, Тоне, Кандер, Селис и другие. Они организовывали кровавые экзекуции, расстреливали и вешали узников концлагеря в массовом порядке.

Так, Краузе натравливал на живых людей в Саласпилсе свою собаку-овчарку, а для Теккемейера лучшим развлечением было выслеживание из-за угла своей жертвы и нанесение ей неожиданного удара дубинкой по голове.

Старался из всех сил угодить своим хозяевам и другой предатель латышского народа — начальник строительства Саласпилского лагеря смерти Качеровский. Его прогулки по территории лагеря совместно с штурмбаннфюрером Ланге всегда заканчивались человеческими жертвами. Качеровский был одним из активнейших инициаторов создания в лагере «конвейерной системы» по переноске заключенными на носилках земли из одного конца лагеря в другой и обратно. Все это было рассчитано на окончательное изматывание сил узников, эта «система» многим стоила жизни. За малейшее замедление темпа «конвейера» заключенные подвергались жестоким избиениям.

Поэтому тысячи советских людей и граждан братских социалистических стран, узнав, что Качеровский предстал перед советским судом, высказали в многочисленных письмах свое негодование по поводу тяжелых преступлений, совершенных им в Саласпилском лагере смерти.

«Мы требуем от советского правосудия полного возмездия кровавому палачу Саласпилского лагеря» — таково было единоедушное требование честных людей.

По решению Верховного Суда Латвийской ССР Качеровский приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Многие немецко-фашистские головорезы, участвовавшие в создании «Нового порядка» в Латвии, в послевоенные годы нашли убежище в Западных странах. Так, например, Арнольд Трудис, один из палачей Саласпилсского лагеря смерти, проживает в настоящее время в Филадельфии (США); бывшие следователи Рижской Центральной тюрьмы — истязатели Адольф Петровский и Зигурд Кактинь находятся в Соединенных Штатах Америки, первый — в Нью-Йорке, второй — в Бостоне; префект Рижской префектуры Штиглиц в настоящее время проживает в Бразилии; другой бывший работник Рижской префектуры — палач Карл Озол живет в Мельбурне (Австралия). Упомянутые гитлеровские подручные, а также другие преступники, совершившие кровавые злодеяния в Латвии, выдают себя за границу за политических эмигрантов. Долг каждого честного человека — разоблачать этих палачей, не давать им возможности чувствовать себя свободно на земле.

Гитлеровские палачи в Саласпилском лагере не только расстреливали, вешали и морили голодом узников, но и травили их ядовитыми газами. Это происходило в специальных газовых камерах, оборудованных в автомашинах.

Вот что рассказал об этом методе умерщвления бывший гитлеровский генерал — военный преступник Еккельн:

«Начальник СД и гестапо Латвии доктор Ланге в разговоре со мной о применении газовых автомашин объяснил их устройство и сказал, что люди, которые попадают в такие машины, по истечении пяти минут начинают сильно кричать, бить кулаками о стены машины, после чего теряют сознание и затем жизнь... Ланге или Фукс мне докладывали, что широко применять газовые автомашины для ликвидации людей они не могут из-за недостатка горючего. Кроме того, пропускная способность автомашин небольшая. Они говорили, что людей, умерщвляемых в газовых автомашинах, сильно тошнит и поэтому после каждого рейса смерти приходится проделывать

очень неприятную и грязную работу по очистке машин. Кроме того, из машин надо выгружать трупы, что также отнимает немало времени. В силу таких неудобств Ланге и Фукс отдавали предпочтение расстрелу как наиболее легкому и быстрому способу уничтожения людей».

Чудовищное преступление гитлеровцы совершили, истребляя советских детей.

Согнанные в Саласпилский лагерь из Латвии, Белоруссии, Ленинградской и Калининской областей, а также других временно оккупированных областей Советского Союза, советские люди вначале содержались вместе с детьми. Позднее дети, «дабы они не мешали взрослым работать», были отобраны у родителей и помещены в отдельные бараки. От голода и болезней дети умирали, и для их захоронения была создана особая команда узников, которая выносила трупы из бараков и закапывала за колючей проволокой.

Вершиной подлости было преступление фашистских «врачей». Эти убийцы проделывали над больными детьми различные опыты — производили инъекции, добавляли в пищу различный яд. Результат был один: дети умирали мучительной смертью. Руководил этими «научными изысканиями» врач Майзнер.

Исследовав останки детских трупов, эксгумированных из массовых могил, химики и судебно-медицинские эксперты установили, что дети отравлены мышьяком.

У истощенных от голода детей фашисты выкачивали кровь для нужд немецких госпиталей.

Государственной Чрезвычайной комиссией бесспорно установлено, что у детей систематически брали кровь. За период с 1942—1944 годов в Саласпилском лагере было заключено несколько тысяч советских детей. У каждого ребенка фашисты выкачивали примерно 500 граммов крови.

Не менее жестоко гитлеровцы обращались с детьми и в других застенках. Только на территории Латвийской ССР за годы

немецко-фашистской оккупации умерщвлено около 35 тысяч детей.

В ужасающих условиях массового террора содержались в Саласпилском концлагере и советские военнопленные. Подавляющее большинство из них находилось в открытом поле, огороженном колючей проволокой.

Массовые могилы расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней пленных, расположенные недалеко от железной дороги Рига—Саласпилс, ярко свидетельствуют о злодеяниях фашистов в этом лагере смерти.

Материалами Государственной Чрезвычайной комиссии установлено, что в Саласпилском лагере смерти и в его отделениях немецко-фашистскими извергами истреблено более 100 тысяч мирных граждан и советских военнопленных.

Система наказаний и устрашений, применяемых в Саласпилсе, массовый террор, расстрелы и повешение были подчинены одной цели — подавлению духа сопротивления заключенных, превращению их в послушных и покорных рабов нацистского режима.

Однако люди, томившиеся в Саласпилсе, не теряли бодрости духа, не склонили головы перед гитлеровцами. Они боролись даже в этих нечеловеческих условиях.

В первых рядах борцов были коммунисты. Рискуя своей жизнью, они устанавливали нелегальную связь с внешним миром, пересказывали узникам сводки Советского Информбюро о победах Советской Армии в борьбе с гитлеровскими ордами.

Они поддерживали морально и материально более слабых — советом, хлебом, добрым словом. Пример коммунистов воодушевлял людей, поднимал их патриотический дух, помогал людям разных национальностей увидеть и понять, что их сила — в дружбе и братской солидарности. Через колючую проволоку узникам удавалось получать коммунистическую литературу, например газету «Циня». Несмотря на то что фронт от Салас-



После освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков члены Государственной Чрезвычайной комиссии находили все новые жертвы гитлеровцев

пилса был еще далеко, здесь, в Саласпилском болоте, люди непоколебимо верили в победу Советской Армии. Это, конечно, озлобляло немецких фашистов и их подручных. В январе 1942 года у советского военнопленного Евгения Колдика, работавшего на торфоразработках Саласпилса, было изъято четыре журнала — коммунистических изданий. Управляющий Саласпилского торфозавода, прислужник немецких фашистов М. Залитис немедленно сообщил об этом коменданту Саласпилского лагеря, указав, что советский военнопленный Евгений Колдик отказался назвать человека, передавшего ему запретную литературу.

Тяжелы были условия борьбы, но даже и здесь, за колючей проволокой, узники использовали радиоприемник, добывали взрывчатку и изготавливали ручные гранаты, чтобы вооружиться и восстать против ненавистного врага.

Rūpniecības uzņēmums
"Kūdra"

Komendantur
S t a l a g 350 Salaspils

19. janvārī

110

Das Salaspils Torffabrik schickt Ihnen zurück der Kriegsgefangenz Koldik Evgenij, wer hat von einem Privatperon 4 Bolschewistischen Journalen gekriegt. Der Kriedsgefange sagt uns nicht wer hat ihnen dem Journnal gegeben.

(M. Zālītis)
Verwalter der Torffabrik.

Копия донесения, обнаруженного среди документов Саласпилского торфозавода.

В Центральном государственном историческом архиве Латвийской ССР хранится обзор, представленный начальником СД и немецкой полиции безопасности в Латвии в марте 1943 года рейхкомиссару Лозе. В этом документе сообщается о трагической судьбе группы сопротивления узников в Саласпилском лагере смерти:

«В трудовом и воспитательном лагере в Саласпилсе около Риги (так фашисты официально называли лагерь смерти. — *Авт.*) удалось напасть на след одной из коммунистических организаций и ликвидировать ее. В лагере среди заговорщиков были созданы три группы. Одна занималась коммунистической пропагандой среди узников, вторая — подготовкой побега, и третья — кражей взрывчатки. Из-за недостаточного контроля мастера по взрывным работам на каменоломне узники, работающие вне лагеря, имели возможность украсть несколько килограммов упакованного донорита.

Один из узников, работающий в слесарной мастерской и кузнице, изготовил 16 железных трубок длиной примерно 25 см, которые заполнил доноритом и порохом, и снабдил огнепроводным шнуром. Заключение коммунисты предполагали, что, когда войска большевиков будут приближаться, полиция безопасности расстреляет узников лагеря. В таком случае они решили использовать взрывчатку против полиции, и затем, во время паники, как они надеялись, бежать. Также планировалось сохранить взрывчатку, чтобы использовать для саботажа во время отступления немецких войск... Подстрекатели расстреляны».

Коммунисты К. Фелдманис, Я. Логин, К. Стрельчик и многие другие узники Саласпилса, расстрелянные гитлеровцами за подготовку к оказанию сопротивления, навсегда останутся в нашей памяти.

В 1944 году, предчувствуя свое поражение, гитлеровцы предприняли попытку замести следы своих злодеяний. На территориях, временно оккупированных немецко-фашистскими вой-

сками, в том числе и в Саласпилсе, по приказу Гимmlера были произведены раскопки и сожжение трупов. К этой работе привлекали самих узников, которых затем расстреливали и сжигали.

Осенью 1944 года, в связи со стремительным наступлением частей Советской Армии, большую часть узников Саласпилса вывезли в Германию, а сам лагерь сожгли.

Как ни старались фашисты скрыть следы своих преступлений, глубокие могилы Саласпилса, трофейные документы и люди, оставшиеся в живых, разоблачили их.

Сегодня западногерманские реваншисты идут по тому же пути, по которому шла гитлеровская Германия: Коммунистическая партия загнана в подполье, антифашисты, верные сыны и дочери немецкого народа, которые борются за мир и протестуют против реваншистской политики Бонна и социальной несправедливости, томятся в тюрьмах, а бывшие гитлеровские генералы, эсэсовцы, наоборот, находятся на свободе и занимают высшие должности. По данным, опубликованным в прессе, более 1100 нынешних судей и прокуроров ФРГ работали в специальных или военных судах гитлеровской Германии и 60 тысяч раз приговаривали к смертной казни представителей многих наций. Приговоры, которые теперь зачитывают антифашистам и активным борцам за мир бывшие нацистские прокуроры и судьи, — насмешка над памятью миллионов жертв фашизма.

Руководящая роль среди этих гитлеровцев принадлежит нацисту Вольфгангу Френкелю, который занимает должность генерального прокурора ФРГ. Френкель в конце второй мировой войны был заместителем имперского прокурора, он вынес смертные приговоры многим полякам, чехам, немцам и представителям других национальностей.

Понятно, что Френкель и не думает сажать на скамью подсудимых своих друзей — нацистов, виновных в массовом истреблении людей во время второй мировой войны.

Внешней политикой Западной Германии руководит бывший нацист, офицер фашистской армии А. Шредер. Курс своей внешней политики он сформулировал открыто: «Федеративная республика — это Германия. Все прежние немецкие территории... должны быть возвращены обратно».

Другой представитель немецкого империализма и пособник эсэсовских вожжаков — министр транспорта Зеебом прежней территорией Германии «считает любую страну, где когда-то жили немцы». Надо отметить, что в послевоенные годы Зеебом длительное время оказывал материальную помощь военному преступнику палачу Эйхману.

Важные должности в государственном аппарате Западной Германии и бундесвере занимают реваншисты, сторонники и организаторы новой войны — Ферч, Шпейдель, Хойзингер, которые также служили в гитлеровской армии.

Советский народ еще хорошо помнит, какие кровавые деяния вершили эти генералы-преступники.

А. Хойзингер, ранее назначенный председателем военного комитета НАТО, в свое время разработал план нападения на Советский Союз, знакомый как план «Барбаросса». По приказу Хойзингера в 1942 и 1943 гг. фашисты на оккупированной территории уничтожили тысячи мирных граждан. По приказу Хойзингера истребляли и угоняли в Саласпилс и концлагеря Германии тысячи ни в чем не повинных людей. Для уничтожения мирных граждан была направлена даже авиация.

Хойзингер в своем приказе требовал применять к жителям Белоруссии самые жестокие меры. Для расправы с женщинами, стариками и детьми в Белоруссию направлялись полицейские батальоны, которые своими злодеяниями уже были известны в Латвии, Эстонии и Литве.

О чудовищных преступлениях, которые совершены по приказу Хойзингера, еще раз напомнил происходивший в 1961 году в Риге судебный процесс, на котором судили военных преступников — бывших участников 18-го полицейского батальона.

Полицейские 18-го добровольческого латышского батальона, которым командовал майор Рубенис, летом 1942 года истребили три тысячи жителей города Слонима. В деревне Пузичи в Белоруссии полицейские согнали в сенной сарай около трехсот граждан. Сарай был подожжен, и все люди погибли страшной смертью. Тех, кто пытался вырваться из огненной могилы, без жалости расстреливали. Обвиняемые Эглайс-Лемешонок, Вилнис, Бумбиер, Огринь, Лусис и другие не отрицали на суде своих чудовищных преступлений. Но 18-й батальон, который истреблял мирных граждан в Белоруссии, Латвии, Польше, Литве, Псковской, Новгородской областях и других местах, не был единственным. Все другие полицейские батальоны, команды и отряды смерти СД совершали такие же злодеяния. Многие соучастники этих зверств теперь нашли приют у империалистов в западных странах. Так, например, бывший инспектор полицейских частей штандартенфюрер Вилис Янум проживает в Западной Германии г. Мюнстере и руководит одной из фашистских организаций эмигрантов.

Командир Рижского полицейского полка, позднее латышской 19-й дивизии СС Роберт Осис живет в Англии, в графстве Сасекс. Военный преступник К. Лобе, командовавший 281-м латышским полицейским батальоном, в настоящее время проживает в столице Швеции — Стокгольме. Там же, в Швеции, в Халстахараме, проживает Арвед Оше, который в период немецко-фашистской оккупации являлся соучастником злодеяний префекта г. Риги Штиглица и, таким образом, выслужился до первого заместителя генерального директора Данкера.

Генеральный директор «самоуправления» Латвии генерал Оскар Данкер, теперешний почетный член эмигрантской организации, укрылся в Канаде.

США предоставили также убежище фашистским заправителям Густаву Целминю, Вилису Хазнеру, Волдемару Замуелу, Александру Круминю и другим. Волдемара Скайстлаука, до-

служившегося в немецко-фашистской армии до генерала, вооруженные силы США приняли на службу командиром охранной роты.

Все эти гитлеровские прихвостни беспрерывно кричат о новой войне, пытаются доставить человечеству новые страдания.

О том, насколько высоко на Западе ценятся бывшие фашисты, свидетельствует хотя бы то, что после назначения Хойзингера на руководящую должность в НАТО, главнокомандующим бундесвера был назначен другой военный преступник — Ф. Ферч. Хорошо известно, что Ферч во время второй мировой войны являлся начальником штаба 18-й фашистской армии. На территории Псковской, частично Ленинградской, Новгородской областей Ферч в соответствии с указаниями Гитлера делал все возможное, чтобы полностью обезлюдить восточные районы. Под руководством Ферча фашисты расстреляли сотни мирных граждан и военнопленных. Только в Новгородской области в лагерях смерти замучено более 186 тысяч человек и 170 тысяч угнано в рабство в Германию.

В Западной Германии на руководящие должности были выдвинуты также и другие военные преступники — Глобке, Оберлендер, Хейе.

Воссозданная в ФРГ армия вооружается новейшим оружием, причем западногерманские реваншисты все более настойчиво и открыто требуют передачи в их руки самого страшного оружия массового уничтожения — термоядерного оружия. Эти устремления против воли своих народов поддерживаются также и реакционными кругами США, Франции и других империалистических государств. Милитаристский тон в ФРГ в течение многих лет задавал канцлер К. Аденауэр, в свое время открыто поддерживавший нацистов. В августе 1934 года он направил министру Гитлера В. Фрику письмо, в котором писал: «...Я ясно говорю, что, по моему мнению, такая большая партия как НСНРП (национал-социалистическая партия. —

Авт.) несомненно должна играть руководящую роль в правительстве».

Гитлер за это К. Аденауэру выплачивал большую пенсию — 1000 марок в месяц.

И, видимо, не даром!

Характерно и то, что телохранителями Аденауэра являлись бывшие эсэсовцы Конрад Циммер и Густав Нейн — шарфюреры так называемой особой «команды-9», участвовавшие в расстрелах советских граждан летом и осенью 1941 года.

Политику реваншистов активно поддерживает президент ФРГ Х. Любке и бургомистр Западного Берлина В. Брант, который раньше имел тесные связи с испанскими фашистами и обладает большим опытом в провокаторской деятельности.

Президенту ФРГ Любке Гитлер в свое время доверил одно из важных заданий — создать «тайное оружие». С участием Любке нацисты еще в 1944 году направили на города Англии и Бельгии более 23 тысяч снарядов «ФАУ-1» и примерно 11 тысяч снарядов «ФАУ-2». От обстрела этими снарядами погибло 13 тысяч жителей Англии и Бельгии и 39 тысяч было тяжело ранено.

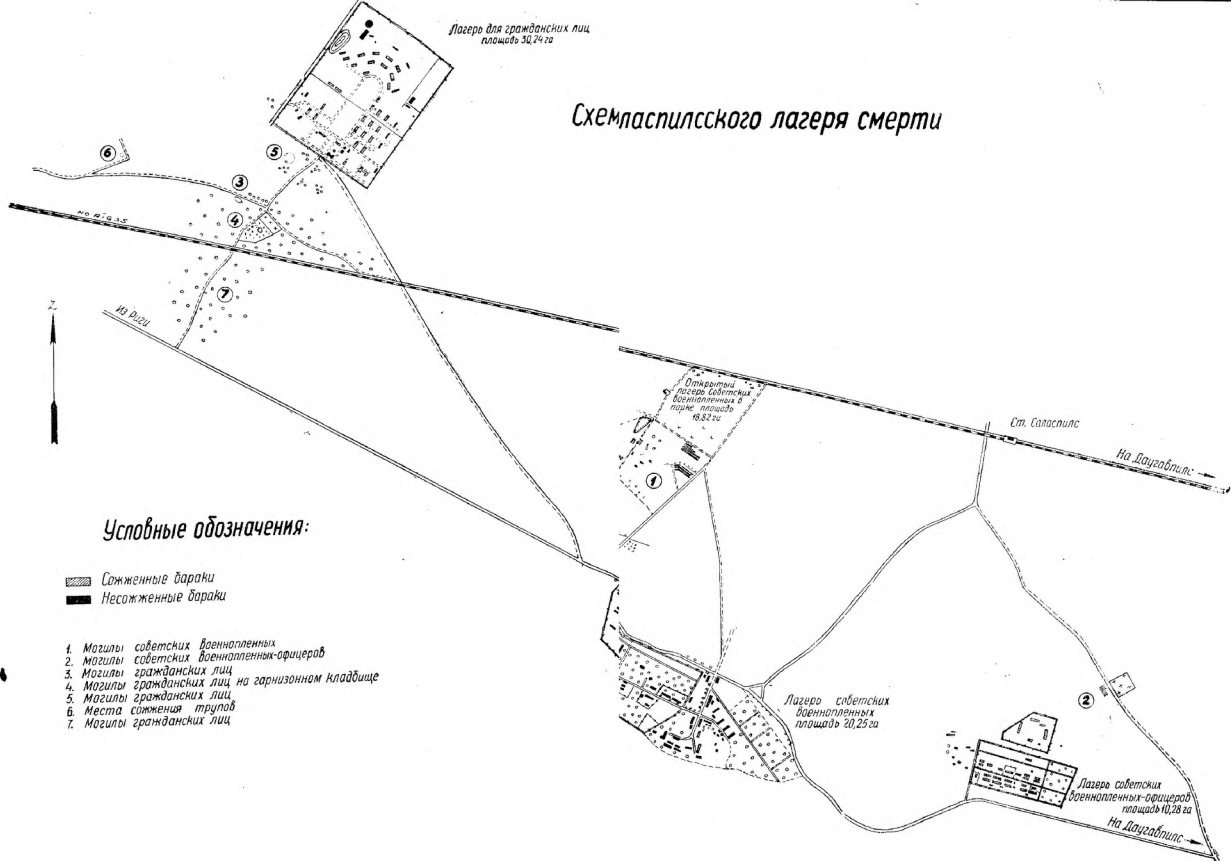
Выступая с речью в Гамбургской военной академии в октябре 1962 года, Х. Любке сказал: «...Солдат бундесвера может оказаться в таком положении, когда он должен будет бороться против своих соотечественников...»

В настоящее время в рядах армии ФРГ маршируют тысячи солдат, которых обучают и инспектируют бывшие гитлеровские генералы и офицеры. Эти оставшиеся в живых фашисты, которые уничтожали так много ни в чем не повинных людей, опустошали и сжигали города и села, снова обучают солдат стрелять в беззащитных женщин, стариков и детей.

Для предотвращения войны и достижения полного и всеобщего разоружения необходима общая борьба всех народов против поджигателей новой войны, борьба за нормализацию

Лагерь для гражданских лиц
площадь 30,74 га

Схема пастышского лагеря смерти



Условные обозначения:

- Сожженные бараки
- Несоженные бараки

1. Могилы советских военнопленных
2. Могилы советских военнопленных-офицеров
3. Могилы гражданских лиц
4. Могилы гражданских лиц на гарнизонном кладбище
5. Могилы гражданских лиц
6. Места сожжения трупов
7. Могилы гражданских лиц

международного положения. В этой благородной борьбе за мир не должно быть пассивных и равнодушных, ибо смертоносные грибы атомных бомб угрожают каждому, в каком бы районе земного шара он ни находился.

Этой книгой, которая помогает разоблачить фашизм, бывшие узники Саласпилсского лагеря вносят свой вклад в общую борьбу за мир.

**В. Известный
Е. Быстров**

НАС ЛИШИЛИ РОДИНЫ, СВОБОДЫ, ЖИЗНИ

Иозеф Гертнер

Пишу по просьбе моего латышского друга, бывшего политического заключенного Саласпилсского лагеря смерти, а также потому, что в Западной Германии снова поднимают головы фашистские элементы. Так пусть же эти строки взывают к бдительности, напоминают, что опасность войны отнюдь не устранена. Я убежден, что только мощь социалистического лагеря может удержать фашистов от развязывания новой войны и уберечь человечество от еще более ужасных страданий.

15 марта 1939 года немецко-фашистская армия оккупировала Чехословакию. Начались аресты. В то время я жил со старой матерью. Вскоре меня заподозрили в враждебных немцам действиях и вызвали на допрос. Я был одним из основателей «Чешского велосипедного клуба» в Брно, а немцы его деятельность считали преступной. Евреев увольняли с работы, выгоняли из квартир, а их имущество раздавали фашистским семьям, нахлынувшим из Германии.

После нападения на Советский Союз началась эвакуация евреев в город Терезин, что в 60 километрах от Праги. Старая крепость стала для них преддверием ада.

Два дня нас продержали в какой-то старой школе в Брно, а на третий день вечером под усиленной охраной немецкой полиции безопасности отправили в Терезин. Мы имели право взять с собой лишь столько, сколько каждый мог нести. Ехали двое суток. В Терезине нас выгнали из поезда и разделили на две группы — мужчин в одну, женщин в другую. Разлучили и нас с матерью. Мужчин поместили в старых казармах на одной окраине города, женщин — на противоположной. Встретаться было невозможно, нас очень строго охраняли жандармы. Через несколько дней их сменили подразделения эссовцев.

Вскоре запросили на работу механиков и монтеров. Записался и я. Ремонтировали водопровод, канализационную сеть, электрические устройства. Часто мы были заняты в так называемых Мариинских казармах, где содержалась моя мать. Теперь мы могли поговорить. Это немного подбадривало ее.

Были попытки совершить побег, но виновных скоро ловили и, в назидание другим, расстреливали. Постепенно мы начали понимать, что нас ждет в будущем. Почти ежедневно прибывали новые эшелоны со всех концов Чехословакии.

Нацистское начальство приказало сформировать первый

транспорт «на Восток». В него попала и моя мать, а меня управление еврейского гетто хотело оставить в Терезине в качестве механика и монтера. Я не мог отпустить свою старую мать одну на чужбину и стал просить еврейское «самоуправление» разрешить мне ехать с этим же эшелоном. Наконец мне разрешили.

ИЗГНАНИЕ

Ранним утром 8 января 1942 года поезд с примерно 800 обреченными евреями двинулся в сторону Германии. На дорогу каждый из нас получил двухкилограммовый бумажный кулек с продовольствием на неделю. Кроме того, на каждый вагон дали по два двадцатилитровых бидона с питьевой водой. Перед отъездом нас предупредили, что каждый, кто в дороге попытается бежать, будет расстрелян. Поезд охраняла фашистская полиция. Больше всего мы боялись Освенцимского концентрационного лагеря. На вопрос, не в Освенцим ли идет поезд, полицейский ответил категорическим «Нет!», а когда мы хотели узнать, куда нас везут, он сказал: «Не знаю!» Позднее неизвестно откуда поползли слухи, что наш поезд направляется в Ригу.

Никто этому не верил. Зачем нас повезут в Ригу? Я вспомнил врача Бориса Шафира из Латвии, который в Брно изучал медицину и несколько лет жил у нас. После окончания учебы он работал в некоторых больницах Брно, а незадолго до оккупации Чехословакии вернулся на родину. Врач Шафир научил меня немного говорить по-русски и нескольким латышским словам. Он часто рассказывал про свою родину и восхвалял красоту Латвии. Если действительно едем в Ригу, то я не буду совершенно одинок на чужой стороне. По наивности я даже вообразил, что, может быть, встречу и своего знакомого.

Ехали мы очень долго. Больше стояли, чем двигались. То и дело мимо проносились длинные воинские эшелоны. Медленно шли дни и ночи. Проехали всю Германию и пересекли польскую границу. Чем дальше мы двигались, тем холоднее становилось, топили мало, и мы сильно мерзли в старых вагонах. Экономили продукты, чтобы хватило подольше. Мать почти совсем не ела, оставляла побольше для меня.

В Польше поезд повернул прямо на север. Значит, нам повезло — не в Освенцим. Стали всерьез поговаривать о Риге. Проехали Кенигсберг, затем позади осталась Литва. Помню, что долго стояли на станции Шауляй. Вскоре пересекли латвийскую границу и достигли Риги.

Мы прибыли в чужую страну, и никто не знал, что нас здесь ждет. Поезд остановился на станции Шкиротава, и вооруженные дубинами эсэсовцы выгнали нас из вагонов.

В Риге морозило. Гитлеровцы вели нас по окутанному ледяным туманом улицам города. Люди с любопытством оглядывались на нас. Это было печальное шествие. Мы несли только те вещи, которые имели при себе во время поездки. Своих чемоданов, погруженных в передние вагоны, мы больше никогда не увидели. О них «забылись» эсэсовцы.

На окраине Риги несколько кварталов были огорожены колючей проволокой и охранялись местными фашистами. Нас разместили в трехэтажном доме по улице Ерсикас. Случайно в этом доме поселились почти одни жители Праги, поэтому уже с первого дня его прозвали «Пражским домом».

В квартирах царил полный разгром. Мебель была побита, на столах валялись остатки пищи. В кухне на плите стояли кастрюли с недоваренной едой. Всюду следы разграбления. Что тут произошло? Кто еще недавно жил здесь?

Только позднее мы узнали, что раньше тут жили латвийские евреи, которые до нашего приезда были зверски убиты в ближайших лесах.

На третий день утром нам велели построиться перед домом для первой проверки. Эсэсовец — позднее мы узнали, что это был матерый убийца Краузе, — приказал выйти из строя всем мужчинам. Из них эсэсовцы отобрали примерно 300 человек, среди них был и я. Через час нам надо было отправиться на работу в Саласпилс. Быстро собрались. Мать хотела дать мне с собой все, что еще у нас было. Но я не взял ничего лишнего, ибо нам сказали, что около 20 километров придется идти пешком.

Женщинам немцы сказали, что мы получим «отпуск» в гетто и как только «стройка» закончится, нас приведут обратно.

Расставаясь, я успокаивал мать, что скоро снова увидимся. Успел еще попросить семью Шейеров, с которой мы жили вместе, позаботиться о матери и выбежал на улицу становиться в строй. Я не знал, что вижу мать в последний раз.

Наша колонна двинулась по шоссе, ведущему на Даугавпилс. Меня терзали мысли: что с нами будет дальше, куда и зачем мы идем? Кто-то упал. Мы поспешили ему на помощь, но полицейский прикладом оттолкнул нас. Упавший не мог сам подняться. Полицейский несколько раз ударил его прикладом и грубо выругал. Но тот все еще не поднимался. Тогда полицейский спокойно прицелился и выстрелил. Кровь несчастного окрасила шоссе. С ужасом осознали мы свое положение, но сделать ничего не могли. На обледенелом асфальте остывал труп нашего друга. Кто будет следующим? Скоро впереди меня зашатался еще один. Сосед не дал ему упасть, подоспел другой, и мы буквально тащили потерявшего силы товарища до самого Саласпилса. За спиной снова раздался выстрел, затем еще один. Но это было лишь начало массовых убийств.

Было уже за полдень, когда мы свернули с Даугавпилсского шоссе налево. По эту сторону станции Саласпилс пересекали железнодорожное полотно и по узкой дорожке свернули в мо-

лодой лес. Вскоре мы остановились на большой поляне, с обеих сторон окруженной лесом. Увидели два барака — один готовый и обжитый, другой еще недостроенный. Больше ничего вокруг не было. Песок и снег, снег и песок. Был ветер, ледяные крупинки били в лицо.

Из барака вышел эсэсовец. Позже мы узнали, что это был Сект — комендант Юмправмуйжи. Это был высокий и здоровый мужчина, с грубым лицом, наглым и бессердечным, — типичный убийца. Мы должны были построиться, назвать номер своего эшелона и имя. За это время два наших товарища вынесли из барака стол, стул и старый ящик. В него нам надо было сложить все свои ценные вещи. Непослушание карается смертной казнью — предупредили нас. Все документы и деньги также надо было сдать. Я отдал только свои старые ручные часы, все остальное оставил, в том числе и паспорт с печатью «эвакуирован». Он и сегодня при мне. Кроме того, в подкладке пальто у меня были зашиты три золотых кольца и новая зажигалка.

После этой процедуры мы вошли в барак. Там было холодно, стоял ужасный запах. Нас встретил заведующий баракком, тоже заключенный, по фамилии Эйнштейн, грубиян и крикун. Уже с первого знакомства он стал мне противен, и чем дальше, тем больше я ненавидел это чудовище. Он был из Кельна, где торговал скотом.

Наше новое жилье было примерно 30 метров в длину. На каждой стороне были оборудованы пятиэтажные нары, на которые можно было заползти только на четвереньках. Мне указали нижние нары. Воздух здесь был довольно чистым, но холодным. В бараке имелись две круглые печи, но топили их редко.

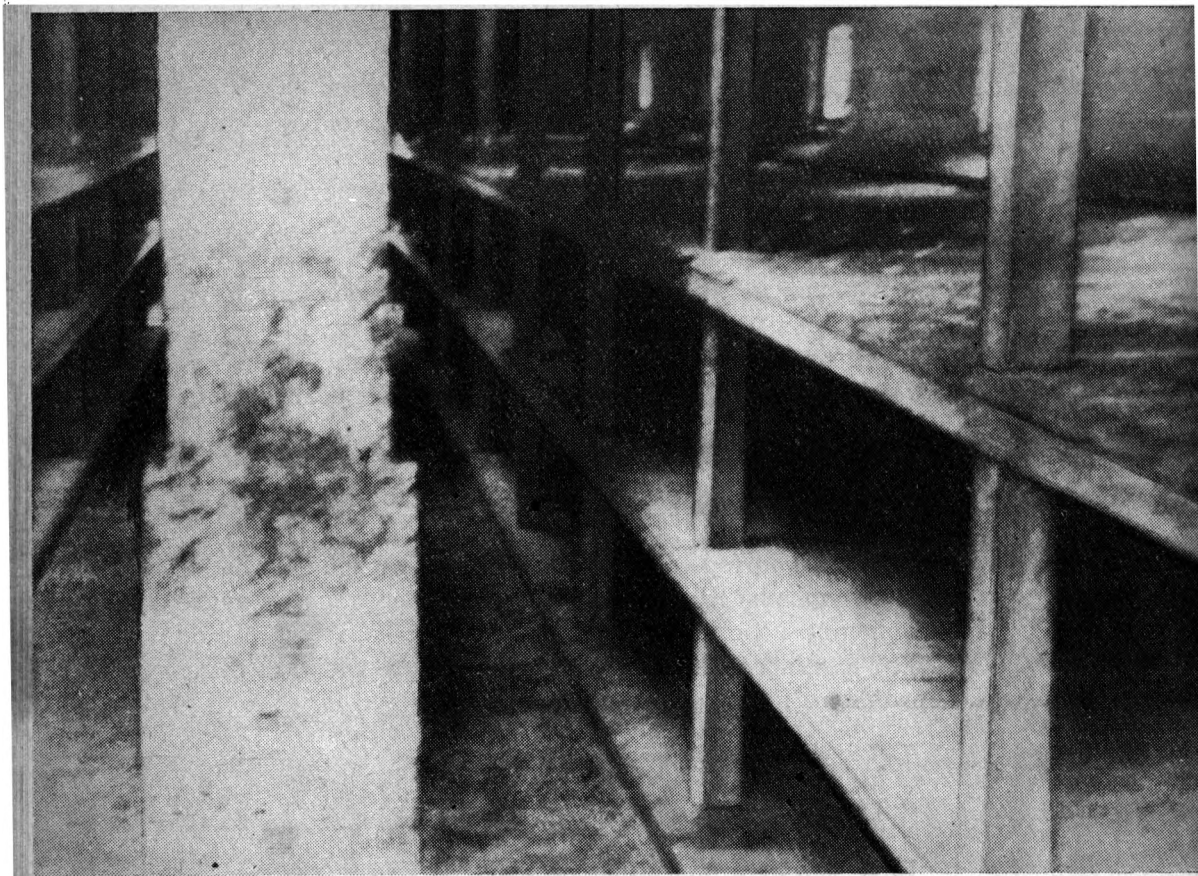
Сложив свои вещи в указанном месте, мы построились у барака для первой поверки. Говорил Эйнштейн. «Надеюсь, — сказал этот эсэсовский выкормыш, — что вы понимаете, где находитесь. Будете работать на строительстве концентрацион-

ного лагеря. С этого дня вы заключенные, стало быть, так с вами и будут обращаться. Без конвоя никто не имеет права отходить от барака дальше 50 метров. Охрана будет стрелять без предупреждения. Каждый, даже малейший проступок строго карается. Дисциплина должна быть железной. Пытаться бежать совершенно бесполезно. Каждый будет пойман и безжалостно расстрелян. Питьевой воды и уборных здесь еще нет. Пить разрешается только черный кофе, который каждое утро варится на лагерной кухне. Каждый получит литр жидкости на день. Хлебный паек небольшой — нельзя все съесть утром, иначе вечером придется ложиться спать на пустой желудок. Тому, кто будет хорошо вести себя и старательно работать, бояться нечего! Запомните это! Разойдитесь!»

До вечера мы были свободны. Лежали и тихо обсуждали свое положение. Вспоминали родину и своих близких. Вечером вернулись с работы другие обитатели барака. Это были евреи из Германии, которые здесь жили уже с осени. Они были истощены, оборваны и усыпаны вшами. Избавиться от вшей было совершенно невозможно, ибо здесь даже воды не было. Усталые от длинного перехода, мы наконец уснули. Это была наша первая ночь в Саласпилсе.

РАБЫ

Разбудил нас резкий свисток. Кто-то громко кричал: «Встать! Встать! Быстро! Быстро!» На четвереньках я сполз со своих нар и сразу даже не понял, где нахожусь. Протер глаза и вышел. Совершенно темно. Мороз. Двадцать градусов ниже нуля. Недалеко от барака в свете электрической лампочки с левой кухни валил пар. Там варили кофе. Через некоторое время снова раздался свисток, и мы с кружками в руках встали в ряд, еще один свисток — и повар начал действовать. Каждый получил по черпаку вонючей черной жидкости — кофе и



Взгляните на один из барачков лагеря смерти! Вот на таких нарах в несколько этажей ютились заключенные. У истощенных голодом людей зачастую не было сил выбраться из этих досчатых гробов, и они там умирали

250 граммов хлеба. Пили кофе — это была единственная возможность согреться — в прикуску с хлебом. Вспомнили наставления Эйнштейна и оставили кусочек на вечер.

Начался первый рабочий день в Саласпилсе. Это был тяжелый день, но таких и еще более тяжелых впереди было очень много. Гитлер превратил нас в современных рабов, совершенно бесправных. Какое издевательство над цивилизацией!

Нас разделили на небольшие группы. С утра работали в полутьме, при тусклом свете электрических лампочек. Носили доски с лесосклада на стройку новых бараков. Они предназначались для следующего эшелона рабов, поэтому надо было торопиться. Я подавал доски одному заключенному, стоявшему на верхней ступеньке лестницы, тот в свою очередь передавал их плотнику. Так, на ветру и морозе, мы работали много часов подряд. Казалось — все сговорилось против нас, даже эта необычно суровая для нас, южан, зима.

Подшел обед. Раздался пронзительный, далеко слышимый свисток. Выстроились в очередь. Снова свисток, и повар начал раздавать обед. Долго пришлось стоять с мисочкой в руках, пока наконец не подошел мой черед. Но что это был за обед! Вонючая жидкость с рыбьими головами — отходы консервной промышленности. От одного взгляда на эту сероватую жидкость меня стошнило. При всем желании я не мог ее проглотить. Пока я рассматривал эту баланду, ко мне подошел парнишка лет девятнадцати с первого германского эшелона, умоляюще взглянул на меня и сказал: «Ты ее не можешь есть? Придется привыкать, иначе умрешь с голоду. Но если ты в самом деле не можешь, отдай мне. Ужасно хочется есть!» Все содержимое своей мисочки я перелил в котелок паренька и снегом вычистил ее. Голод сжимал желудок, а мороз пробирал все сильнее.

Проверил свой вещевой мешок: кусок хлеба, немного маргарина, полбаночки искусственного меда и чай. Я взял немного

из этого неприкосновенного запаса, и снова раздался противный свисток. Он снова звал на работу. Делали то же, что и утром — носили доски. Плотник беспрестанно подгонял нас. Ему казалось, что мы работаем слишком медленно. И так до вечера. Вечером снова черный кофе и больше ничего. Ясно было одно: мы обречены на голодную смерть. Пошли жаловаться Эйнштейну, но тот только грубо выругал нас.

Заключенные с первого эшелона были совершенно обессилены. Многие из них уже умерли, и трупы так и остались лежать на опушке леса, закутанные в тряпье. Земля была мерзлой, и изможденные узники не в силах были вырыть яму. Эта работа ждала нас, новых, у кого еще имелись силы. Так называемая похоронная команда возле леса вырыла неглубокие ямы, снесла туда мертвых и засыпала песком и снегом.

Тому, кто не выдерживал быстрых темпов работы, эсэсовцы помогали дубинками. Однажды я на миг остановился, чтобы потереть закоченевшие руки, как тут же получил сильный удар по спине, второй — по плечу. Раздался хрипый голос Секта: «Шевелись, ты, свинья, иначе буду стрелять!» В глазах замелькали черные и красные круги. Я закусил губы и нагнулся за новой доской, чтобы на разбитом плече нести ее на стройплощадку. Из-за боли не спал несколько ночей. С каждым днем я все лучше понимал, что из этого ада редко кто выходит живым. Заключенные первого эшелона умирали ежедневно. Смерть они принимали как избавление от этой ужасной жизни, невыразимых мук и голода. Каждое утро из отделения больных выносили нескольких мертвецов.

Каждый, кто заболел, мог считать себя уже похороненным, ибо получал только половину того крохотного пайка, что давали здоровым. От голода умирало больше, чем от болезней, хотя не было ни медицинской помощи, ни медикаментов. За больными ухаживал один заключенный. С нашим эшелонам попал в лагерь студент-медик Эмиль Зейдеман из Брно. С разрешения Секта уход за больными он взял в свои руки и помо-



Выносят мертвых.
Линогравюра К. Буша, бывшего заключенного Саласпилского лагеря

гал заключенным как только умел. Вконец истощенным старикам и тяжелобольным уже невозможно было помочь. Больные не умывались и не брились; они были покрыты слоем грязи, нарывами и струпиями. Постепенно наполнялась яма, вырытая на опушке леса.

За малейшее нарушение нас строго наказывали. Простейшими наказаниями были: несколько часов стоять в бараке на столе с поднятыми над головой руками или висеть на руках, связанных за спиной. Последнее наказание применялось чаще всего и было самым жестоким. Подвешенного сводили судороги, и он весь синел. Самым излюбленным наказанием нацистов было избиение. По приказу Эйнштейна и Секта нас избивали гестаповцы или выделенные для этого заключенные. Сначала зачитывалось распоряжение, и комендант сразу же выносил приговор — обычно 25 ударов палкой или плетью. Несчастного привязывали к скамье и начинали бить. Ему самому надо было считать удары, пока он от боли не терял сознания. Такова была «новая Европа» Гитлера!

Однажды ночью раздался сигнал тревоги. Свистки, проклятья, ругань. Сект свистел, а Эйнштейн кричал: «Всем оставить барак, всем оставить барак!» Оказалось, что исчезли двое заключенных.

Приказано было произвести проверку. Сект вызвал двух узников и для предупреждения велел эсэсовцам расстрелять их. К тому же 24 часа никто из нас не получил пищи.

Было совершенно ясно: во что бы то ни стало надо раздобыть пищу, иначе мы погибнем. Другого выхода нет. Улучив минуту, когда вблизи не было стражи, я переговорил с нашим плотником Янисом. Показал ему одно из своих золотых колец и попросил обменять его на продукты. Янис осмотрел кольцо и, сунув его в карман, обещал продать и купленные продукты по частям внести в лагерь. Уже назавтра плотник принес белый хлеб и сало. Я смотрел на эти деликатесы с невыразимым наслаждением, небольшой кусочек съел сразу, остальное спрятал.

Вечером угостил и своих соседей. До чего мы были невзыскательны! Берегли каждую крошку хлеба. На следующий день Янис принес масло, белый хлеб, сало и колбасу. Мы были счастливы. Через месяц мой сосед, студент из Праги, отдал Янису золотое обручальное кольцо, которое «на всякий случай» оставила ему мать.

Ежедневно я тщательно умывался, полоскал рот кофе и два раза в неделю брился. Я заметил, что тот, кто не умывался и не брился, вскоре сдавал как физически, так и морально, заболел и умирал. Этого я, конечно, не хотел. Решил во что бы то ни стало выдержать. Кроме того, не верилось, что «тысячелетняя империя» Гитлера переживет войну. Мы всегда думали о том, что происходит на фронте. Старались что-нибудь узнать от Яниса, но напрасно. Казалось, что ход войны его несколько не интересует или же он боялся нас. Допытывались, возможно ли бежать из лагеря, но Янис не вдавался в такие разговоры, хотя и не предавал нас. Узнать что-нибудь о положении на фронте не было никакой возможности. Эсэсовцы газет нам не давали, радио тоже не было. Как-то военнопленные привезли в лагерь стройматериалы. Они были в форменной одежде Красной Армии с широкими белыми нашивками на груди и большими буквами «SU» на спине — «Soviet Union». Я подкрался к одному и наполовину по-русски, наполовину по-чешски спросил, как война. Тот широко улыбнулся и ответил: «Будет хорошо». Мы узнали немного, но и это обрадовало нас. Два слова, и так много надежды!

НОВЫЙ ЭШЕЛОН

Второй барак был готов. В лагерь прибыл новый эшелон. На этих людей мы смотрели с грустью и сожалением, примерно так, как на нас смотрели несчастные из первого германского эшелона, когда мы прибыли в Саласпилс. Новеньких было 250

или 300 человек. Они привезли новые вести из внешнего мира и Рижского гетто. Вскоре меня разыскал кто-то из Праги и передал письмо и узелок от матери. Милая мать тревожилась, не обморозил ли я ноги или руки. Написанное химическим карандашом письмо было омыто слезами. Она умоляла, чтобы я берег себя, и сообщала, что нас скоро сменят новые рабочие, во всяком случае так говорят в гетто. Это письмо я храню сегодня как дорогую реликвию. Бедная мать, из вещей у нее уже почти ничего не осталось, и последнее она послала мне. Горькие слезы катились по моим щекам. Я извлек из узелка немного чая, сахар, соль, кусок хлеба и сыра. Целое богатство! Сыр я хотел отдать пражанину, передавшему узелок, но он ничего не взял.

Мы открыли новичкам лагерные тайны. Научили, что спать надо в одежде, если не хочешь замерзнуть. Разъяснили, что означает первый свисток, что второй, и главное, как избегать дубинок Секта и других эсэсовцев, которые время от времени появлялись в лагере и хотели по своему, по «фашистскому обычаю повеселиться». Несчастные были потрясены. Разумеется, они, как и мы, не догадывались, куда их везут и что их ждет. Сразу же с утра перед баракom состоялась проверка. За баракom сжигали матрацы заключенных, умерших от какой-то инфекционной болезни. Горящая щетина распространяла вокруг ужасный запах. Во время проверки Сект бегал взад и вперед, то выстраивал вновь прибывших, то дубинкой разгонял их. За его спиной пылало пламя горящих матрацев, и Сект выглядел, как настоящий дьявол.

Строительство комендатуры приближалось к концу. Приехали эсэсовцы и вместе с проектировщиком, начальником строительства Качеровским и комендантом лагеря Никкелем осмотрели внушительное здание, расположенное недалеко от ворот. До этого лагерь не был огражден, теперь начали рыть ямы для бетонных столбов. Строился барак для охраны —

латышской фашистской полиции безопасности, определялись места и для других барачков. Лагерь рос.

А люди умирали один за другим. У санитаря — Эмиля Зейдемана работы было по горло. В редкие свободные минуты мы помогали ему сколько могли. Лечили главным образом внушением, успокоением и добрыми словами. Других лекарств не было. Поэтому не удивительно, что из первого «германского эшелона» не осталось почти ни одной живой души.

Только староста лагеря жил припеваючи и был здоров как бык. Чем больше падала трудоспособность заключенных, тем больше он волновался, боясь за свое теплое местечко.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МАТЕРИ

Из гетто прибыла очередная партия людей — примерно 300 мужчин. Мне снова передали письмо от матери, теплые рукавицы, чай, кусок хлеба. Мать писала: «У нас мало продовольствия, и я уже очень ослабла. Постоянно боюсь за тебя. Прошу, держись хотя бы ты, я же долго не протяну». Я очень опечалился. Как помочь? Но ответа не было. Через несколько дней из гетто прибыли еще 150 мужчин и страшные вести. Среди новеньких был и зять моего пражского друга Пепика Фогеля. Вечером он мне рассказал, что из гетто увезено много стариков-мужчин и женщин. Госпожа Шейер просила передать мне, что увезли и мою мать. Никто не знает, куда. Инстинктивно я почувствовал, что матери уже нет среди живых. Краузе ужасно свирепствует в гетто и по любому поводу расстреливает людей. Особенно он ненавидит эшелон из Праги и неоднократно запрещал говорить по-чешски, но безуспешно.

Однажды из Риги прибыли две полицейские машины. Мы знали, кто приехал, поэтому делали вид, что работаем с большим рвением, и предупредили остальных заключенных. За третьим барачком на строительной площадке один узник варил

еду на костре. Это заметил один из толстомордых эсэсовцев, подбежал и двумя пистолетными выстрелами в затылок убил его на месте. Так представился нам начальник гестапо и СД в Латвии — убийца штурмбаннфюрер Ланге.

В недавно законченном здании комендатуры поселился комендант лагеря — обершарфюрер СС Никкель. Сект возглавил маленький лагерь в Юмправмуйже. Мы от этой перемены ничего не выиграли. Наоборот — больше стало зверств, больше избиений, меньше еды.

С последним эшелонам прибыли врач и переводчик. Врач был доктор Винер из Вены, примерно шестидесяти лет, больной и нервный человек. В третьем бараке оборудовали для него приемную комнату — шестиметровую каморку рядом с отсеком больных. «Врач без лекарств», — так называли его.

Следует сказать, что доктор Винер действительно старался, но это мало помогало. Из-за отсутствия медикаментов и перевязочных материалов люди умирали на глазах. Доктор Винер переживал, однако ничего не мог поделать.

Пришла весна. Приятно пригревало солнце. А заключенные становились все слабее. Веки у них так опухали, что не видно было глаз, головы покрывались струпьями. На коже появились открытые раны.

Поодаль от других построек закончили сооружение нового барака. Изнутри он отличался от других. Казалось, что строится склад. Это был Саласпилский «универмаг», как мы позднее окрестили это помещение.

На станцию Саласпилс прибыло несколько вагонов с чемоданами. Нас послали туда, открыли вагоны и заставили нести чемоданы в новый барак. Иногда нам удавалось один-другой чемодан открыть. Мы искали что-нибудь съестное и нередко находили. Некоторых заключенных эсэсовцы поймали за этим «грабежом» и на месте расстреляли, но голод был сильнее страха смерти, и проверка чемоданов продолжалась. В «универмаге» тем временем были оборудованы полки и вешалки для одежды.

Искали специалистов-текстильщиков. Вызвался Пауль Фельдгейм. Его сразу же назначили заведующим «универмагом», и вместе с двумя помощниками он приступил к сортировке чемоданов.

Чего там только не было!

Кучи фотографий, гвозди, подметки, всевозможные канцелярские принадлежности, словари, специальная литература, докторские дипломы, новая и поношенная одежда, фотоаппараты, теодолиты, малые счетные машины, логарифмические линейки, различные медицинские аппараты, оборудование часовой мастерской, зубоорудочные инструменты, даже целое зубоорудочное кресло с соответствующими ручными и электрическими сверлами, патефоны и пластинки и, наконец, действительно нужные вещи: белье, верхняя одежда, обувь и продовольствие. Последнее нас интересовало больше всего. Фельдгейму было приказано продукты сдавать охранникам, но он часть из них отправлял больным, нам тоже кое-что перепало. Фельдгейм распаковал и несколько швейных машин. Его помощники все красиво расставили, и вскоре барак стал походить на первоклассный магазин.

Никкель ежедневно приходил сюда и проверял содержимое Саласпилсского «универмага». Этот универсальный магазин должен был стать бесплатным «закупочным» пунктом для господ эсэсовцев и других «избранных третьей империи».

Пеппик Фогель, Эмиль Зейдеман и я — мы еще держались. Еду старались доставать любым способом: то что-нибудь продавали, то нам помогал Фельдгейм. Мы не сдавались. Мечтали о возмездии и победе. Но кто доживет до того времени?

Пеппик Фогель через латыша-грузчика обменял два красивых свитера на продукты питания, к тому же он узнал, что прибывающие в Латвию эшелоны с евреями останавливаются около леса и там эсэсовцы расстреливают людей. Грузчик называл даже места, где происходят эти зверства. Так вот откуда взялись чемоданы и набитые одеждой вагоны. Поскольку

одежда не была в крови, нам стало ясно, что несчастных перед расстрелом раздевают. Пепик Фогель не хотел этому верить. Мыслимо ли это? Он говорил: «Если вообще есть бог, то как он может на это смотреть!»

ЭПИДЕМИЯ СЫПНОГО ТИФА

В сырых бараках расплодились вши, и вскоре в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Но у врача Винера не было медикаментов. Ежедневно от этой болезни умирали десятки людей. У могильщиков работы было по горло. Отделение для больных было переполнено, и тифозные лежали рядом со здоровыми. Объявили карантин, в результате лагерь долгое время не получал продовольствия. Варили последний гнилой картофель. Случаи заболевания участились. Против дизентерии не помогал даже отвар репейника, после которого начинался страшный понос, ослаблявший людей еще больше.

Эпидемия длилась примерно недели три и унесла половину заключенных. В это время в лагере орудовала только полиция безопасности.

Нельзя себе представить, как выглядели люди, перенесшие это время. Кости да кожа. Гражданским рабочим во время эпидемии не разрешалось появляться в лагере. Не приходил и наш Янис, а значит не было никакой возможности выменять продовольствие.

После ликвидации эпидемии лагерь наполовину опустел. Но вскоре эсэсовцы прислали новые жертвы. Никкель снова занял свое место в комендатуре. Появился еще один эсэсовец — ротенфюрер Теккемейер, один из самых безжалостных фашистов, каких мне довелось встретить. Он постоянно был вооружен здоровенной дубинкой и хорошо умел пользоваться ею. В лагере не было заключенного, который не испытал ее на своем горбу. Поэтому его и прозвали «Стукас».

Вскоре в комендатуре поселилась новая знаменитость —

эсэсовец Эйкемейер. Одновременно в лагерь прибыл и переводчик Пинкасович, по национальности поляк, попавший в Ригу с венским эшелоном.

Он хорошо знал немецкий, польский и русский языки. Пинкасович прибыл вместе со своим болезненным сыном, который, хотя и не работал, но переносил все лагерные невзгоды. Пинкасовича с сыном поместили в небольшой комнатке нового барака, где жил врач. Разумеется, он не довольствовался только лагерной пищей. Пинкасович успешно торговал с руководителем строительства Качеровским и его друзьями, а также заключенными, у которых еще было что продать или обменять.

Каждый день я забегал к Фельдгейму, чтобы раздобыть что-нибудь из одежды для продажи или обмена, ибо у меня самого уже ничего не было. А Пауль никогда не отпускал с пустыми руками. Без его помощи я не вырвался бы живым из этого ада.

Лагерь беспрерывно расширялся и «благоустраивался». К оборудованию относились также виселицы и специальная скамья для порки заключенных. Палачом Эйнштейн рекомендовал некоего Безена, которого, видимо, знал раньше. Это был длинный, здоровенный и безжалостный человек. Никкелю он тоже нравился, поэтому его немедленно назначили лагерным палачом. Кроме того, Эйнштейн, разумеется, с согласия Никкеля, из среды заключенных выделил 10 лагерных полицейских. Почти все они были из Германии. Остальным Эйнштейн не доверял. В полицейском бараке были оборудованы скамейки для наказания заключенных, карцеры и другие средневековые средства пыток.

За лагерем похоронная команда уже рыла вторую массовую могилу. Покойников сваливали одного на другого и обливали хлорированной известью. Когда ряд заполнялся, его засыпали.

В середине лагеря воздвигли высокую деревянную башню, на которой находились охранники с пулеметами и биноклями. Вокруг проволочного ограждения построили меньшие вышки, где тоже находилась охрана.

...Меня постигла большая радость — Янис, наш плотник, снова стал работать в так называемом врачебном или больничном бараке и меня, Пепика Фогеля и еще одного заключенного взял к себе. Стояла уже осень, часто лил дождь, а мы работали в бараке, к тому же не спеша, ибо здесь не надо было опасаться, что нас застигнет Никкель или Теккемейер. После эпидемии в лагере было сравнительно тихо. В страхе ждали, когда эсэсовцы снова начнут бесноваться. И долго не пришлось ожидать.

Однажды в дождливую субботу в лагерь «позабавиться» приехал убийца Ланге. Никкель, желая ему услужить, приказал одного заключенного повесить и нескольких выпороть. Жертвы выбирал Эйнштейн. Несчастливыми были те, о которых знали, что они выменивают продукты у гражданских рабочих-латышей. Повешенного оставили висеть трое суток, а выпоротых отнесли в бараки. Некоторые из них умерли, не придя в сознание. Врачу не разрешили сделать им перевязку. Раны гноились, и многие скончались от заражения крови.

Эти субботние «представления» стали обычаем и продолжались почти до ликвидации Саласпилсского концентрационного лагеря.

МОЯ «КАРЬЕРА»

Как-то в комендатуре испортилась пишущая машинка. Эйнштейн обегал все бараки, но найти механика не мог. Тогда вызвался я. Никкель приказал немедленно доставить меня в комендатуру. Я осмотрел испорченную машинку и пошел в «универмаг», взял у Фельдгейма маленькую сумочку, вложил в нее плоскогубцы, пинцет, отвертку и бутылочку масла. Бегом вернулся в комендатуру и приступил к работе. К вечеру пишущая машинка была в порядке. Никкель записал мою фамилию, номер барака и отпустил. Так для меня начался новый период.

Пишущие машинки для ремонта привозили даже из Риги. В комендатуре накапливались пишущие и счетные машинки, швейные машины и даже зажигалки, бинокли и еще кое-что. Меня назначили лагерным механиком. В приемной доктора Винера Эйнштейн велел оборудовать для меня небольшую мастерскую со столом, тисками и креслом. Эсэсовцы захотели, чтобы я чинил и часы. Будильники и карманные часы не доставляли мне особых трудностей. Хуже было с дамскими ручными часиками, которые трудно было держать в огрубелых руках.

Вскоре отведенное мне помещение стало тесным, и Никкель распорядился перенести мастерскую в «универмаг» Пауля Фельдгейма. Здесь мне выделили комнатку три на четыре метра, с топчаном и матрацем, гладко выстроганным столом и двумя новыми тисками — большими и малыми. От Фельдгейма я получил два больших чемодана с оптическими стеклами, готовые очки и очки для подборки стекол. Так я стал еще и оптиком.

Я знал, что в бараке ЦЗ с голоду умирает венский часовой мастер Гольц. Выбрав удобный момент, я попросил Никкеля разрешить ему работать вместе со мной. Один я уже не справлялся. Никкель согласился и освободил Гольца от строительных работ. Он-то и познакомил меня с секретами часового дела. Остальное мне давалось легко, ибо 10 лет я проработал на крупнейшем механическом заводе Праги. К сожалению, работать с часовым мастером долго не пришлось. Гольц заболел и вскоре умер.

Снова я работал один с раннего утра до позднего вечера. Насколько мог, помогал товарищам по бараку. Как в лагере, так и в Риге мою работу оценивали положительно. Понемногу условия жизни улучшились. Янис тоже часто приносил продукты, ничего не требуя взамен.

В лагерь прибыл первый эшелон с местными жителями — латышами и русскими. Их поместили в только что построенный барак. После прибытия новых заключенных лагерь стал быстро расширяться. Бараки росли, как грибы после дождя.

Всякие связи с вновь прибывшими были строго запрещены. Нас очень интересовало, как они отнесутся к нам. Скоро мы узнали, что это политические заключенные, значит коммунистически настроенные люди. Вначале они держались несколько недоверчиво, но очень корректно.

Однажды на станцию Саласпилс прибыло два вагона, из которых выгрузили около 60 ржавых швейных машин. Мне предстояло их наладить. Никкель только предупредил: «Через два месяца они должны быть в полном порядке!» В первую очередь я взялся за машины, которые казались хоть сколько-нибудь пригодными. Нужные детали снимал с наиболее испорченных. И так мне действительно удалось большую часть швейных машин отремонтировать настолько, что их можно было использовать.

В лагерь прислали первых заключенных женщин. Большинство из них были латышки, остальные — русские. Швейные машины установили в новом бараке. Так возникла Саласпилсская швейная мастерская.

Исправленные машины в целом работали хорошо. На каждой значилась фамилия прежнего владельца. Многие из них, очевидно, надеялись, что швейные машины помогут им на чужбине заработать кусок хлеба, но они их никогда больше не увидели.

Теперь швейные машины должны были работать на фашистов.

Вскоре я научился довольно хорошо говорить по-русски и даже немного по-латышски. Со швеями у меня установились хорошие отношения.

С заключенными нееврейской национальности, даже женщинами, обходились так же грубо. Я заметил, что в наказание их заставляли делать различные «упражнения». Так, например, с быстротой молнии надо было ложиться на землю, столь же быстро вскакивать, снова ложиться и снова вскакивать... Больше всего эсэсовцам нравилось заставлять людей делать подобные «упражнения» в дождь, когда стоят большие лужи. Каждый может себе представить, как несчастные потом выглядели.

Хотя это было строго запрещено, заключенные иностранцы и советские люди все же встречались. Возникли первые связи между двумя группами заключенных. Сначала мы были очень осторожны, так как Теккемейер, увидев заключенных вместе, бил кого попало.

С повязкой «лагерный механик» на рукаве я мог свободно продвигаться по всему лагерю. Эту возможность я хорошо использовал. Новые заключенные передавали вести из внешнего мира, главным образом о положении на фронте. Я, в свою очередь, передавал информацию дальше.

Особенно приятным было содружество с заключенными ремесленниками, среди которых были как латыши, так и русские. Работали они в новом бараке, куда наконец перевели из «универмага» и мою мастерскую. В мастерских работали сапожники, портные, шорники. Среди них я чувствовал себя хорошо.

РАДИО В ЛАГЕРЕ!

Однажды Никкель вызвал меня в комендатуру. Испортился радиоприемник. Неисправность я обнаружил быстро, но так как решил получить приемник в свои руки, то сказал, что в комендатуре исправить его невозможно, надо нести в ма-

стерскую. Так и вышло. Я решил не возвращать приемник, пока не послушаю все радиостанции, которые меня интересовали, а главное — Москву. Включил даже Берлин, ибо хотел знать, что говорит враг. Гитлеровцы все еще хвастались своими победами, хотя о «молниеносной войне», как это обещал их фюрер, уже не могло быть и речи. Само собой разумеется, что все полученные сведения на следующий же день передавал товарищам по бараку. Так продолжалось несколько дней, пока не пришлось вернуть приемник в комендатуру. Потом на ремонт мне приносили как маленькие двухламповые «Скауты», так и многоламповые «Суперхеты». Заключение ежедневно приходили ко мне за новостями, чтобы затем передать их дальше. Приятно, что среди такого множества людей, которые знали об этом, не нашлось ни одного предателя.

Теперь примерно половину дня я работал в швейной мастерской, вторую половину — в бараке ремесленников. Часто засиживался до поздней ночи.

За последнее время перестали привозить евреев, зато все больше эшелонов прибывало с латышами и другими советскими гражданами. Людей этих доставляли в лагерь и небольшими группами, нередко даже в одиночку.

Эсэсовцы приезжали в лагерный «универмаг» за покупками», и Никкель щедро раздавал то, что ему самому не принадлежало. Приезжали и эсэсовские дамы — проститутки. Они выбирали себе кожаные сумочки, губную помаду, одеколон, духи и другие вещи евреев. Расовая ненависть у них не простиралась так далеко, чтобы брезговать еврейскими вещами. Фельдгейма я навещал ежедневно, ибо он снабжал меня лезвиями, мылом и зубной пастой. Многое из этого я относил и своим товарищам по бараку.

В лагере было построено также что-то наподобие бани, хотя на самом деле это здание предназначалось под прачечную.

В саласпилсском больничном бараке работал латышский врач доктор Бдил. Он был очень хорошим врачом и порядочным человеком. В мае 1943 года гитлеровцы его расстреляли.

В этом бараке находились также два зубных техника: Герман из Чехословакии и Шлотшовер, если не ошибаюсь, из Вены. Оба они были хорошими специалистами, и к ним шли даже эсэсовцы.

Бараком, где помещались политзаключенные, ведал некий Видуж. Он с удовольствием заходил и в швейную мастерскую, выискивал разные недостатки, допытываясь, кто из женщин больше всех ломает иголки. От меня, разумеется, он ничего не узнал. Видуж всегда носил с собой плетку, которой безжалостно бил несчастных женщин.

Каждый вечер, а иногда и в обед, я встречался с товарищами по бараку, чтобы сообщить им новейшие сведения о событиях на фронте. Не всегда я мог обрадовать их, но, чтобы поддержать в них настроение, я время от времени был вынужден придумывать весть о наступлении Советской Армии. Это было не совсем правильно, но ничего другого нельзя было сделать. Я знал, что эта ложь когда-нибудь станет правдой. Каждый вечер товарищи с нетерпением ждали меня и, если я задерживался, шли за мной.

Полной радости и надежд была для нас весна 1943 года. Битва у Волги! Разгром фашистов!

Но победы Советской Армии у Волги еще больше ожесточили эсэсовцев. Они обращались еще более безжалостно. Фашисты лютовали как бешеные, а наши согнутые спины будто выпрямлялись. Мы знали, еще будут жертвы, может быть убьют и нас, но уже был виден конец. Теперь только выдержать! Мы призывали всех заключенных соблюдать осторожность, легкомысленно не отдавать свою жизнь кровожадным эсэсовцам. Это понимали все. Каждому хотелось выдержать, но удалось это только немногим.

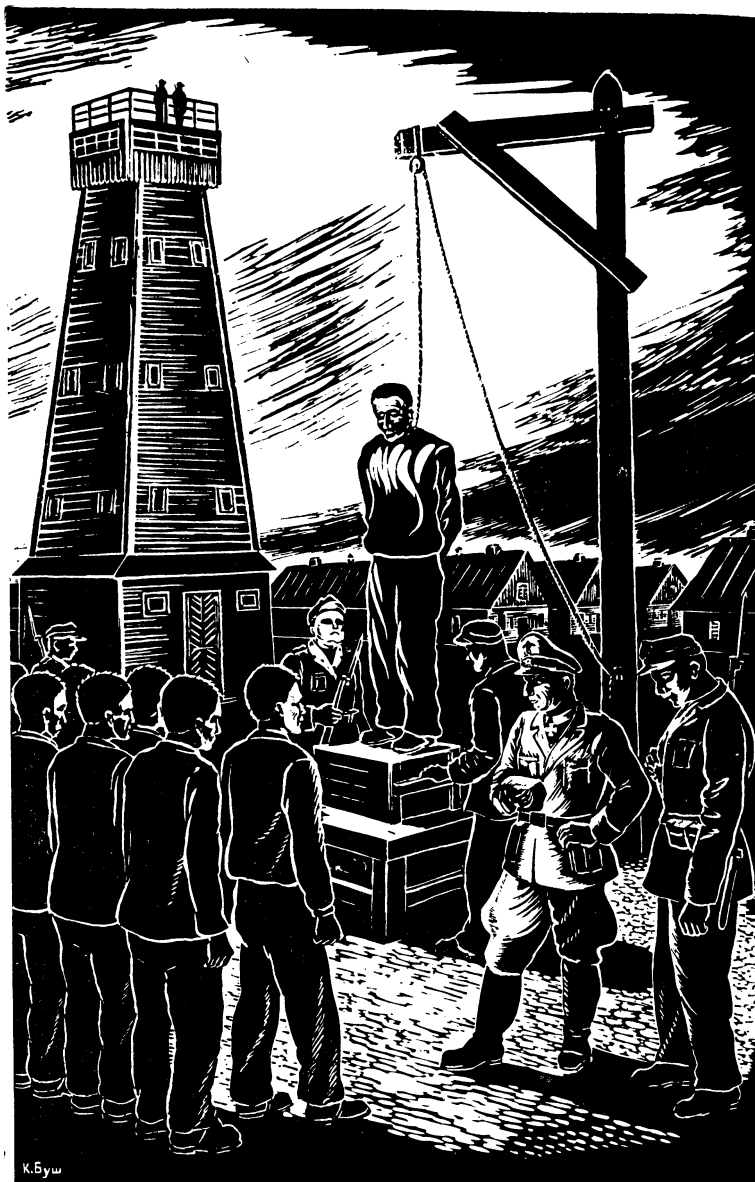
Хочу рассказать об одной субботе, которая очень ярко осталась в моей памяти. Гитлеровцы снова замыслили «что-то особенное». Уже в понедельник из трех барачков вызвали заключенных, совершивших мелкие проступки. Их заперли в темный карцер. Для полноты наказания привели еще четырех мужчин, которые меняли свою одежду на продовольствие. Никкель приказал и этих людей заключить в карцер. Там всю неделю их усиленно охраняли. Все мы с ужасом ожидали дальнейших событий.

В субботу, сразу после обеда, из Риги прибыло несколько машин с эсэсовскими офицерами. Среди них были также Ланге и Краузе. Это кошмарное представление организовали Никкель, Теккемейер и Эйкемейер. Весь лагерь должен был выстроиться на площади.

Явилось также восемь гестаповцев, которые обычно приводили приговоры в исполнение. Из карцера привели четырех заключенных, пойманных при обменной торговле. Их руки были связаны на спине. Было зачитано обвинение по поводу запрещенной торговли с местными жителями, и Никкель сразу продиктовал наказание: «Расстрелять!»

Караульная группа прицелилась, и раздалось восемь выстрелов. В один миг были уничтожены четыре жизни. Люди, как подкошенные, рухнули на землю, только один еще шевелился. К нему подбежал Теккемейер и дважды выстрелил в голову из пистолета. По этой части он был специалистом.

После исполнения приговора выступил Эйнштейн. Он зачитал сочиненную Никкелем речь, которая звучала примерно так: питание в лагере сильно улучшилось и почти равняется тому, что получает немецкий солдат, который ежедневно сражается и рискует своей жизнью во имя «фатерланда». Значит, в обменной торговле нет необходимости и любителей лакомств ожидает то же самое, что этих четверых. Я подумал: если это



К.Буш

Очередная «акция».
Линогравюра К. Буша

правда, что немецких солдат на фронте кормят не лучше, чем нас, тогда войне скоро конец!

Затем из карцера вывели остальных «провинившихся» и каждому присудили 25—50 ударов кожаной плетью. Их поочередно привязывали к специально сконструированной скамье. Началась порка. Мужчины некоторое время стонали, потом затихли.

После этого вывели красивого парня лет девятнадцати. Его обвинили в «саботаже». Немедленно исполнили и приговор — 50 ударов плетью. Затем Никкель подошел к Эйнштейну и что-то сказал ему. Оказалось, что этого ужасного наказания убийце мало. Полицейские поволокли лежавшего без сознания парня к виселице, и лагерный палач Вольф Безен вздернул его. В назидание остальным труп висел трое суток.

Расстреляли еще двух заключенных, насколько помню тоже за обменную торговлю. К месту казни они шли мужественно и после зачитания приговора воскликнули: «Вы, кто останется в живых, отомстите за нас и наших товарищей!» Потом они стали громко читать молитву. Никкель приказал немедленно стрелять.

Вскоре удовлетворенные эсэсовцы уехали.

Такие кровавые представления повторялись часто. Как-то наш лагерь посетил убийца миллионов Эйхман и просмотрел «представление» до конца.

В РИГУ

В Рижском гетто тоже имелась небольшая швейная мастерская, а механика там не было. Работало уже несколько швейных машин, и Краузе поручил Никкелю отправить меня в Ригу. На следующее утро прибыл шофер Юрьян на грузовике, доставлявшем в лагерь продукты. Я сложил свои инструменты и запасные части в маленький чемоданчик и забрался

в машину. При мне была справка, адресованная комендатуре гетто. Первыми людьми, которых я там встретил, были три девушки, возвращавшиеся с работы. На звонком чешском языке они спросили, откуда я прибыл. Когда я произнес слово «Саласпилс», они были удивлены, ибо в гетто шли слухи, что лагерь ликвидирован и все его узники уничтожены. Слухи эти возникли потому, что в гетто пришло несколько грузовиков с наваленной на них одеждой. По всей вероятности, ее привезли с какого-нибудь эшелона, который был остановлен и уничтожен в лесу.

Меня отвели в швейную мастерскую, находившуюся неподалеку от улицы Ерсикас. Она была маленькой, темной и, по сравнению с нашей, очень жалкой. Стульев там не было, женщины сидели на ящиках. Всего в мастерской работало двенадцать человек. Они латали старую одежду и обмундирование полиции безопасности, а также шили дождевики и белые маскировочные халаты для солдат.

Я сразу же взялся за работу. По моим расчетам, я пробуду в гетто дня три. Об этом я сообщил и в комендатуру. Мне велели поселиться и получить питание в «Пражском доме» на улице Ерсикас, что меня очень обрадовало. Хотелось все разузнать о матери, и это мне удалось.

Однажды, это было в начале марта 1942 года, комендатура зарегистрировала всех лиц старше 60 лет. 14 марта утром на проверке зачитали список с фамилиями этих людей. Они, мол, поедут в рыбацкий поселок, что в устье Даугавы, чинить рыболовные сети. Среди тех, кто утром 15 марта отправился в путь, была и моя мать. Старикам разрешалось брать с собой все, что они желали. Всего было вывезено около 600 человек. Моя мать сбежала и вернулась в помещение, но один эсэсовец заметил это и последовал за ней. Мать спряталась за печь. Эсэсовец нашел ее, выволок за волосы и втолкнул в переполненную грузовую машину. Во второй половине дня машины вернулись, нагруженные обувью и одеждой.

Было ясно — весь транспорт уничтожен. Боль сдавила сердце, но делать было нечего.

В гетто тоже жилось не сладко. Краузе лютовал, как зверь. Мне рассказали такой случай. Краузе дал работницам швейной мастерской починить свои кожаные перчатки. Одна из девушек по неопытности сожгла одну перчатку. Как только Краузе узнал об этом, он велел отвести девушку на кладбище, поставить на край вырытой могилы и расстрелять.

На третий день утром, когда швейные машины были налажены, Юрьян отвез меня обратно в Саласпилсский лагерь.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ТЮРЬМУ

В комендатуре стали поговаривать о необходимости перевести меня в Рижскую Центральную тюрьму. Так желал Никкель. Там тоже была большая швейная мастерская и нужен был механик. Краузе противился этому, но уже на следующий день Юрьян отвез меня в Ригу. В лесу у станции Румбула пылали костры, от которых валил густой дым.

Я спросил, что там жгут, но Юрьян не ответил. Приехав в Ригу, остановились. Юрьян вошел в какой-то дом. Я остался на открытой грузовой машине совершенно один. Беги, беги, пока есть время! — сверлила мысль. Но куда, к кому? В этом городе у меня не было знакомых. Вернулся Юрьян. Мы поехали в Центральную тюрьму. Заехали во двор, шофер повел меня в канцелярию и подал работнику документы, полученные от Никкеля. Тот занес в большую книгу мою фамилию и причину прибытия. После тщательного обыска меня через большой двор отвели в швейную мастерскую, которая находилась на третьем этаже одного из зданий. В помещении примерно 25 метров длиной стояло 60 швейных машин. Женщины были погружены в работу. Сразу же приступил к работе и я. К ве-

черу большая часть машин была исправлена. В тот же день Юрьян отвез меня обратно в Саласпилсский лагерь.

Такие поездки в дальнейшем повторялись довольно часто. Мне они совсем не нравились, лучше было работать в лагере среди друзей и товарищей.

В лесу около станции Румбула все еще пылали костры. Один латыш рассказывал, что там сжигают трупы из массовых могил.

В лагере у меня было очень много работы. Швейные машины, пишущие машинки, различные часы, очки, зажигалки и радиоприемники, которые меня интересовали больше всего. Последние известия придавали новую уверенность в счастливом будущем. Немцы отступали! Четырнадцать дней у меня находился приемник, который брал многие радиостанции. О слышанном я информировал товарищей по бараку — они в свою очередь передавали сведения дальше.

Положение в лагере все еще оставалось ужасным. Люди умирали от разных болезней и голода. Репрессии продолжались. Людей мучили и вешали ни за что.

Сюда по-прежнему прибывали чемоданы. Это неопровержимо доказывало, что немцы привозят в Латвию новые жертвы, но сами люди лагеря не достигали. Их уничтожали еще в дороге.

ПЛАЧУЩИЙ ЭСЭСОВЕЦ

Один шофер СС, немец, часто привозил из Риги на ремонт различные часы, зажигалки — вообще все, чем спекулировали эсэсовцы. Но он вел себя иначе, чем остальные. Почти всегда он привозил хлеб и колбасу, иногда даже печенье и сигареты. А когда у него ничего не было, он дарил мне хоть пачку махорки. Часто выражал недовольство фашистским режимом. Сам он, мол, социал-демократ. Во время войны зачислен шофером в части СС и одет в форму с черепом.

Однажды этот эсэсовец, ожидая, пока я почию его часы, стал рассказывать о тяжелой жизни в фашистском «тылу». «Прочтите это письмо, тогда лучше всего поймете, каково положение у нас в Германии», — сказал он, протягивая мне письмо от своей жены Эллы. Я прочел: «За последние три месяца перебралась уже в четвертое место. Все дома, в которых жила, за короткое время разбомбили, и я снова и снова вынуждена была искать крышу над головой. У меня осталось лишь то, что было на мне и что иногда выделяет Зимняя помощь. Наша маленькая доченька все время болеет. У нее течет из ушей, и я не знаю, как мы все это переживем! Это нас бог наказал. В настоящее время живем в сарае, в 6 километрах от Ганновера. В самом городе не осталось камня на камне. Ежедневно налет за налетом. В Ганновере больше нечего есть».

С двойственным чувством читал я это письмо жены эсэсовца. Вспомнил сказанные когда-то Гитлером хвастливые слова: «Дайте мне десять лет времени, и вы увидите, как я преобразую Германию!» Это обещание понемногу сбывалось. Я вернул письмо эсэсовцу, который сидел на стуле и хныкал: «Ах, Элла, моя Элла!»

ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕРКА

Однажды над Саласпилским лагерем совсем низко сделал широкий вираж советский истребитель. Мы отчетливо видели красную звезду. Это было хорошим предзнаменованием! Его мы восприняли с глубоким волнением. Неужели фронт так близко?

Эйнштейн звал на поверку. Это была последняя поверка в еврейских бараках. На сей раз Эйнштейн сообщил решение комендатуры: иностранцы будут эвакуированы!

Я уже укладывал свои вещи, когда в мастерскую зашел Теккемейер и сообщил, что я остаюсь, так как остается

и швейная мастерская. Через час началась эвакуация. Печально было смотреть на жалкие создания, заполнившие машины. Здоровые стояли на ногах, больные лежали. В лагере из евреев остались дантисты Герман и Шлотшовер, Пауль Фельдгейм, Иозеф Фогель, Эмиль Зейдеман и я. Фогеля и Зейдемана выпросил у Никкеля Фельдгейм.

Теккемейер ежедневно приходил в мастерскую, долго стоял за моей спиной и наблюдал, как работаю. Ежедневно он приносил старые часы, ибо на них, очевидно, хорошо зарабатывал.

К Фельдгейму все еще приезжали эсэсовцы и «приобретали» для себя и своих размалеванных подруг вещи убитых евреев. Один эсэсовец заверял, что «фюрер» обещал обязательно победить.

ФРОНТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!

Медленно, но неудержимо приближался фронт. Об этом передавала Москва, сообщал и Лондон. Немецкие самолеты еще совершали налеты на СССР, но все реже и реже.

Однажды в воскресенье, когда в лагере царил тишина, откуда-то издали донесся гул. Что это могло быть? Временами гул утихал, затем раздавался снова. То не был гром. Некоторые товарищи думали, что это, возможно, артиллерийские учения.

Вечером я слушал радио. Советские войска одерживали все новые победы.

Местные радиостанции — Рига, Кулдига, Мадона и Лиепая еще передавали популярные песни нацистов «Лили Марлен» и «В поход на Англию». Судя по эфиру, дела у немцев еще шли хорошо. Но в тот вечер радио сообщило о прорыве Восточного фронта и стремительном продвижении Советской Армии на запад. Меня лихорадило у радиоприемника.

Сообщил товарищам: «Ребята, приближаются спасители!»

Но тут же вкралась мысль: как спастись? Останется ли здесь вообще кто-либо в живых? Что предпримут фашисты? А они пока вели себя так, будто ничего не случилось. Только артиллерийская канонада с каждым днем слышалась все отчетливее.

На следующий день в лагерь приехал Ланге и расстрелял двух заключенных, которые в тот момент выпрямили согнутые на работе спины. Ланге орал: «Саботаж!»

Ежедневно я ходил в швейную мастерскую, мы там толковали об ожидаемых переменах. Женщины спрашивали, куда я подамся, как только выйду на волю. Я этого еще не знал, да и не был еще свободен. Чувствовалось приближение свободы, но до этого еще многое предстояло выдержать.

СНОВА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ТЮРЬМУ!

Как-то Никкель вызвал меня в комендатуру. Он сказал: «Завтра поедешь в Центральную тюрьму, в этот раз на более продолжительный срок». Для меня это было большой неожиданностью, ибо я надеялся остаться в лагере до его освобождения. Центральная тюрьма была опасным местом для каждого заключенного, и особенно для еврея.

Пришлось сразу же собираться. Инструменты свои я сложил в большие ящики, и к вечеру все было готово. Прощаясь с друзьями, я надеялся, что еще когда-нибудь увижу их. Мне было тогда невдомек, что вижу своих друзей в последний раз, что ни одному из них не суждено будет выйти из лагеря смерти. Назавтра после обеда грузовая автомашина отвезла меня в Центральную тюрьму. В день отъезда сильная канонада слышалась особенно отчетливо, казалось, что фронт совсем близко. Участились и налеты.

Рига походила на военный лагерь — всюду войска и эсэсовцы. Проехали через город и остановились у ворот Центральной тюрьмы. Я был удручен. Пришлось долго ждать,

пока меня не позвал какой-то охранник. Обыскали меня с ног до головы, потом заключили в одну из камер среднего блока. Никто со мной не разговаривал, никто ничего не спрашивал. Вечером получил уже хорошо знакомый черный кофе и кусок хлеба. Утром снова черный кофе и хлеб, а в обед суп из рыбьих голов, как в Саласпилсе.

Так я прожил больше недели. Однажды лязгнул ключ в замке и в камеру вошел охранник. Он спросил, я ли механик Саласпилсского лагеря. Когда я подтвердил это, он повел меня в швейную мастерскую.

ГЕСТАПО

Несколько дней спустя незадолго до обеда ко мне подошли два суровых на вид эсэсовца. Один строго спросил, не я ли часовой мастер из Саласпилса. Я подтвердил. Они стали по обе стороны меня, и так мы поспешно вышли. Женщины испуганно посмотрели нам вслед, ибо мои провожатые выглядели очень свирепо.

Во дворе стояла легковая автомашина. По знаку, поданному эсэсовцами, я забрался в нее. Скоро мы остановились у большого здания рядом с парком. Это было гестапо. Меня ввели в канцелярию. Нас встретил совсем молодой эсэсовец — гаупт-шарфюрер Палхубер. Он коротко сказал, что тут много неисправных часов, которые надо отремонтировать. У меня будто камень с плеч свалился. Однако у меня не было с собой инструментов, а без них я ничего не мог сделать. Эсэсовцы нашли выход. Каждое утро они вели меня в какую-то мастерскую к старому часовщику, где я весь день пользовался его инструментами.

Советская Армия приближалась, все явственнее слышался грохот орудий, налеты следовали один за другим. Однажды ночью на горизонте появилось зарево пожара. Из Саласпилса привезли нескольких женщин. Они рассказали, что лагерь эвакуирован. Значит, Саласпилский лагерь смерти больше не существует! Ожидалась и эвакуация тюрьмы. Как и куда?

В один из последующих дней, когда орудия били совсем близко, пришел приказ об эвакуации. Заключенных построили на большом тюремном дворе, начался отбор. Что с нами будет, никто не знал. Появилась банда эсэсовцев во главе с Матлом и Эйгелем. Заключенных вызывали по фамилии и разбивали на две группы. Одна группа была численно значительно больше другой, в нее определили всех женщин. Во второй группе было примерно 60 мужчин, среди них четыре цыгана. Мне велели стать туда.

Вскоре грузовые машины первую группу увезли. Мы остались во дворе, с ужасом ожидая дальнейших событий. Нас отвели в средний блок. Рядом со мной шел совсем молоденький латыш. Он был приговорен к смертной казни за поджог и спросил, что я сделал. Мне не хотелось говорить, во рту пересохло, я только махнул рукой и тихо произнес: «Что будет, то будет...» Невооруженный человек в руках профессиональных убийц, что он мог сделать? Меня заключили в камеру на первом этаже. В здании скоро воцарилась тишина. Только в коридорах раздавались шаги тюремщиков: стук-стук, стук-стук... Я лежал на жесткой полке и ждал, что будет дальше. В голове бродили разные мысли. Советская Армия уже так близко, и именно сейчас — конец?.. Меня бросало то в жар, то в холод. Слышалось только биение собственного сердца. Заметил прикрепленные к стене железные кольца — два для рук и два для ног, а вокруг коричневые и черные пятна, вероятно, кровь замученных.

От усталости и голода я наконец задремал. В этот момент кто-то громко постучал в дверь, открыл оконце и крикнул: «Не спи, собака!» Дверь распахнулась, и в камеру ввалились пьяные Матл и Эйгель. «Оставь в покое эту собаку, — сказал Матл, — через час ему все равно конец», — и, наклонившись ко мне, рявкнул: «Через час тебя расстреляют!» Меня это особенно не удивило, я был готов ко всему.

На следующее утро в камеру вошел эсэсовец Палхубер. Он спокойно сказал: «Собери самые необходимые инструменты, через час уезжаем». Я быстро собрался, и вскоре маленькая грузовая машина одним из последних увезла меня из Рижской Центральной тюрьмы. В машине находились хлеб, искусственный мед, маргарин и другие продукты. Снова я почувствовал страшный голод. Жизнь требовала своего! Отрезал хлеба, помазал искусственным медом и стал есть.

На рижских улицах было мало народу. Выстрелы раздавались совсем близко — на окраине уже шли бои. Грохотали орудия, лязгали гусеницы тяжелых танков. Над головой кружились самолеты. Теперь бы бежать! Но меня охраняли. Переехали мост через Даугаву и завернули во двор какого-то завода.

За боем наблюдали со второго берега. Временами гранаты разрывались совсем близко. Когда стемнело, поехали дальше. В городе пылали пожары. Миновали здание, горевшее, как факел, и присоединились к бесконечному потоку машин. Немцы отступали. Проехали Тукум и к утру достигли Лиепая. Въехали во двор гестапо. Меня заключили в погреб, где я просидел три дня. На четвертый день меня поселили в небольшую пристройку во дворе гестапо, которая находилась рядом с эсэсовской комендатурой. Там я был один. Из еврейского лагеря, находившегося в Риге на фабрике «Лента» и теперь переправленного в Лиепая, привезли двух мастеровых. Это были Отто Шульц и некий паренек Макс, оба из Германии. Шульц был электромонтером, Макс — слесарем и электросварщиком.

Вскоре мы оборудовали настоящую мастерскую и ремонтировали все, что попадалось. Отто Шульц исправлял и радиоприемники. Мы снова знали, что происходит в мире. Известия были хорошими. Героическая Советская Армия неудержимо продвигалась вперед. Мы же находились в «Курляндском котле». Уехать отсюда можно было только морем.

Заключенных с фабрики «Лента» разместили на одном заводе близ порта, их комендантом стал эсэсовец Брауер. Это был настоящий садист. Он приказал тюремному надзирателю, по профессии шорнику, изготовить несколько плетей и вплести туда проволоку. Показывая их нам, Брауер говорил: «Ими я буду дрессировать заключенных!»

Заключенным жилось очень тяжело. Они работали на самых тяжелых работах в порту, подгоняемые кнутом и руганью. Многих Брауер в прямом смысле слова забивал до смерти.

СВОБОДА

Час победы близился, но фашистские звери не отпускали своих жертв. Заключенных перевезли в новое место страданий, в лагерь Штутхов, где большинство умерло от заразных болезней и голода. Рабочие нашей маленькой мастерской оставались в Лиэпае до последней минуты. От часового мы знали, что эсэсовцы нас не оставят в живых, поэтому только и ждали удобного момента, чтобы бежать. Налеты не прекращались ни днем, ни ночью. Последнюю ночь мы провели не раздеваясь. Лиэпая ждала своего освобождения. Неужели и мы доживем до этой счастливой минуты? Это был сложный вопрос.

Пришел последний день заключения. Эсэсовцы спешно готовились бежать. Мы помогли им укладывать вещи. Ежеминутно я поглядывал через решетку на пустую Республиканскую улицу. Быть или не быть! Вдруг на противоположной стороне улицы заметил какую-то женщину. Это была Тереза

Давис, бывшая заключенная, швея из Рижской Центральной тюрьмы. Окликнул ее. Она тоже узнала меня и подбежала к окну. Вкратце пояснил ей наше положение. Сказал, что думаю бежать, но не знаю, где можно спрятаться до прихода Советской Армии. Тереза Давис сразу же обещала спрятать меня и моих друзей в квартире Алмы Зейме по Республиканской 18. За разговором нас застал немецкий офицер. Он грубо напал на Терезу Давис и хотел ее задержать, но она изловчилась и убежала.

Я тут же все рассказал товарищам, но они уже договорились с латышом-охранником, который сам предложил спрятать их в своей квартире.

Около 11 часов утра во двор гестапо вкатила легковая машина. Вылезли два эсэсовских офицера и вытащили связанного мужчину в форме СС. Силой они отвели его в сарай в противоположном конце двора. Офицеры вернулись к машине и поспешно уехали.

Эсэсовцы Офер, Брауер и Нейман были взволнованы случившимся и поспешили в сарай. Надо было использовать возможность. Мы схватили свои пожитки и выбежали на улицу. Часовой-латыш был немало удивлен, но позволил нам уйти.

Я торопился на Республиканскую улицу, а мои друзья — к охраннику-латышу. Улицы были пустыми. Я вбежал в дом № 18. Алма Зейме жила на первом этаже. Не успел я постучать, как дверь открылась и меня встретила Тереза Давис. Алма Зейме сердечно поздоровалась и накормила меня. Я был в безопасности.

Следующей ночью мы приветствовали приход Советской Армии в Лиепаяу. Фашистская Германия капитулировала. Радости не было конца. С тех пор я видал свирепых и надменных гитлеровцев лишь как военнопленных.

В Лиепаяе благоухала весна — весна победы 1945 года. Несколько дней мы отдыхали. Бродили по дюнам, дышали морским воздухом и радовались, как дети. Свобода! Свобода!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Появилось распоряжение о регистрации всех вывезенных лиц. Я сразу же записался. Нам велели быть в любой день готовыми к отъезду. И скоро этот день настал. Я попрощался со своими латышскими друзьями и получил железнодорожный билет до Елгавы, где собирались все отъезжающие домой. Нас принял советский военный врач, который тщательно осматривал каждого и выдавал справку о состоянии здоровья. Утром следующего дня я выехал на родину.

В ТЕНЕТАХ КОРИЧНЕВОЙ ПАУТИНЫ

Михаил Зеленский



ДОРОГА СТРАДАНИЙ

не шел двадцать второй год, когда гитлеровские полчища вероломно напали на Советскую страну. Я служил во флоте. Война застала меня в Эстонии, в городе Куресаре, откуда мы перебазировались на остров Сарема. Более трех месяцев мы защищали этот небольшой клочок земли от превосходящих сил противника и оставили его лишь ночью с четвертого на пятое октября.

Мне и еще шестерым морякам посчастливилось найти на берегу небольшую рыбацкую лодку. Сели в нее и отчалили. Противник нас заметил, когда мы уже были далеко. Начался обстрел. В ту ночь на море бушевала буря. Огромные валы, временами поднимавшиеся как крутые горы, закрывали нашу лодочку от гитлеровцев. Ни один из нас не был ранен.

Через несколько часов мы приблизились к латвийскому берегу. Что ожидает нас там? Уже издали было видно, что на берегу выстроилась цепь вооруженных фашистов.

Коротко посоветовались, что делать, как действовать? Единодушно решили: «Не сдадимся. Будем драться!»

Каждый из нас имел винтовку и несколько ручных гранат. Надо пробиваться.

Едва нос лодки коснулся мели, мы открыли огонь из винтовок, пустили в ход ручные гранаты.

Немцы этого не ожидали. Их цепь поредела. Отстреливаясь, мы вбежали в лес.

Три дня и три ночи мы провели в чащобах Дундагского леса. Днем зарывались в мох и спали, ночью двигались вперед.

Один из наших товарищей был ранен. Поочередно несли его. У меня тоже была рана на голове.

Небольшой запас продуктов, что несли в карманах, иссяк. Питались ягодами, орехами и грибами.

К вечеру четвертого дня мы достигли небольшой поляны и увидели домик. Спрятались под густой елью и стали наблюдать, кто там живет. Вдруг послышались шаги. К нам приближался мужчина средних лет с корзиночкой в руке. Он ходил в лес по грибы. Молча, как тени, встали мы на его пути. Он вздрогнул, стал нас испытующе рассматривать и сразу понял, с кем имеет дело.

— Где немцы, дяденька? — спросили мы.

— Не видел, — ответил он.

Попросили хлеба, сказали, что уже трое суток не ели. Мужчина кивнул головой в сторону дома.

— Пойдемте. Постараемся что-нибудь наскрести.

Это был дом лесничего. Хозяин угостил нас ужином, принес на кухню несколько охапок сена и уложил спать. Вскоре мы уснули крепким сном.

Нас разбудил шум. Кто-то кричал:

— Руки вверх! Кто будет сопротивляться, получит пулю в лоб!

Проклятый сон? Бред? Я приподнялся, открыл глаза. Нет — действительность! Кругом вооруженные люди. На нас направлены стволы автоматов. Сопротивление означает смерть. Надо сдаваться... Обозвав бандитами, они связали нам тонкой, но крепкой веревкой руки. Потом вывели из дому.

Нас захватили вооруженные фашистские приспешники.

Откуда они взялись здесь, в лесу? Не гостеприимный ли лесничий предал нас? Это загадка, которую не могу разгадать до сих пор.

Нас погнали обратно, к тому самому берегу, где несколько дней тому назад мы вырвались из немецкого окружения. Заперли в конюшню, где уже находилось около двухсот советских военнослужащих.

На следующий день нас посадили в грузовик и под вооруженной охраной повезли в Дундагу, загнали в тамошнюю церковь, которая на скорую руку была превращена в филиал тюрьмы. В шутку мы говорили, что попали ближе к богу, ибо понимали, что с таким питанием, какое давали военнопленным, мы долго не протянем. На день мы получали сухарик и кружечку черного наvara, который назывался здесь кофе.

На допрос никого не вызывали. Только время от времени в церковь заглядывали гитлеровцы, с сознанием превосходства осматривали нас, обругивали и избивали. В мрачной неизвестности за будущее, сидя на цементном полу, мы проводили часы, дни, недели.

Однажды утром нас отвели на станцию и загнали в вагоны, каждый вагон охранял немец и три шуцмана. Начался путь в лагерь военнопленных.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Мы в Риге. Нас выгоняют из вагонов и строят в колонны. Под усиленной охраной немцев и шуцманов мы плетемся по шоссе Рига—Даугавпилс. Нас примерно 600 военнопленных. На восемнадцатом километре сворачиваем с шоссе налево. По заросшему травой, давно неезженному проселку нас ведут в старый парк, где на осеннем ветру сурово шумят могучие дубы и липы. Но почему у деревьев белые стволы? Разве могли мы догадаться, что кору с голоду обгрызли люди!

Нашу колонну остановили на площади за парком.

— На колени! Стать на колени! — на ломаном русском языке кричал очкастый немец.

Команду мы не понимали. Не знали, что делать.

— Молитесь богу, черти такие! Как в церкви. Вот так! — Немец преклонился и протянул руки к небу.

— Коммунисты в церковь не ходят. Они молиться не умеют, — смеялся маленький, толстый фельдфебель с выупленными глазами.

— Ничего, научим... Выдрессируем.

Четыре часа стояли мы на коленях и мерзли. Встать не смели, пошевелиться тоже. Так гитлеровцы хотели нас унижить, показать свою власть.

Стоя на коленях, я заметил, что костлявая лошадка везет сюда телегу с бочкой. Телега остановилась недалеко от нас. Вокруг нее моментально стали собираться люди. Оборванные, грязные, обросшие, некоторые даже босиком. Откуда они взялись? Поблизости ведь нет ни одной постройки.

Оборванцы вылезали из-под земли. Да, да. Из-под земли! Люди здесь жили, правильней сказать — умирали в норах. Это были наши товарищи — попавшие в плен бойцы Советской Армии. Месяц назад их согнали сюда под открытое небо. Спасаясь от холода и дождей, люди зарывались в землю, с голоду обгрызали стволы старых лип на высоту человеческого роста.

Костлявая лошадка привезла военнопленным обед. Каждый заключенный получал черпак вонючей жидкости.

После обеда на шоссе напротив парка остановился черный лимузин. Стража засуетилась. Второпях приводили в порядок мундиры, травой очищали забрызганные сапоги. Из автомашины вылезли и шли к нам гитлеровский офицер и переводчик.

— Встать! — заорал фельдфебель.



В лагере для военнопленных.
Линогравюра К. Буша

У нас онемели ноги, мы не могли стоять. Строй у фельдфебеля получился довольно шаткий.

— Коммунисты и евреи — два шага вперед, марш! — повторил переводчик команду офицера.

Роковых шагов никто не сделал.

Гитлеровец повторил команду.

Никто не пошевелился. Казалось, все приросли к земле.

Тогда фашисты сами стали выбирать жертвы. По лицу. Кто им не нравился — вон из строя. Так отобрали около ста человек и увели. Их никогда больше не видели.

Остальных под вечер отвели в Саласпилский лагерь военнопленных, который находился по ту сторону шоссе, на берегу Даугавы.

На следующее утро надо было построиться на первую поверку. Во дворе лагеря горело несколько костров. Возле них лежали трупы, которые за ночь вынесли из бараков. Похоронная команда, выполняя приказ, стаскивала с трупов одежду и складывала в кучу.

Дальнейшее тоже происходило по строгому распорядку и приказу: мертвым на одну ногу набрасывали петлю и вытаскивали труп за ограду из колючей проволоки. Там тела сбрасывали в кучу, точно так же как и снятую с них одежду.

Нас ознакомили с внутренним распорядком в лагере. Пояснили, что рабочий день здесь не ограничен.

В первый день нас заставили носить доски с лесопилки, которая была оборудована на берегу Даугавы. Настилали нары в бараках для военнопленных. Коричневый спрут ждал новых жертв.

Затем нас гоняли рубить кусты по ту сторону шоссе. На расчищенной площадке начали строить бараки и дом для охранников. Здесь создавался лагерь, где коричневый паук позднее высасывал кровь из гражданского населения. Это был Саласпилский лагерь смерти.

Силы таяли не по дням, а по часам. Пища становилась все хуже, а работать приходилось все тяжелее и дольше. После работы, когда надо было возвращаться в лагерь, многие еле волочили ноги.

Один из нашей группы пытался бежать. Он добрался только до Даугавы. Там свалился от бессилия. Его схватили и убили.

За людей нас не считали. Никто не спрашивал, как нас зовут. Даже номеров не пришили к одежде. На работу и с работы гнали, как стадо скота. Фашисты знали, что мы обречены на смерть, и, стало быть, незачем зря тратить время и нитки.

Охранники лагеря были настоящими зверьми. Казалось, они постоянно жаждут человеческой крови. Утром, когда мы шли строить бараки в Саласпилский лагерь, и вечером, когда возвращались назад, каждого, кто отставал или падал, настигала пуля в спину или в голову.

Я тоже однажды чуть не свалился эсэсовцу под ноги. Одно счастье, что товарищ вовремя подхватил и поддержал меня за плечи.

Мы помогали друг другу, как только могли и умели. Но не всегда удавалось спасти товарищей. Еще сегодня у меня болит сердце, когда вспоминаю случай с одним советским моряком. Я вместе с ним сражался в окопах на острове Сарема, вместе на рыбацкой лодке переправился на латвийский берег. Вместе нас арестовали шуцманы, вместе мы попали в Саласпилский лагерь.

Рыжих — так звали моего товарища — был евреем. Его отец до войны работал в Ленинграде часовым мастером.

Рыжих был приятный парень, интеллигентный, умный. В тот день, когда среди заключенных искали евреев, ему повезло. Шуцман, которому был поручен отбор, его не заметил. Но это не означало, что опасность миновала.

Как спасти товарища?

Вечером в бараке все вместе посоветовались.

— Послушай, Рыжих! Твои документы у немцев? — спросил кто-то.

— Нет. Уничтожил, — звучал ответ.

— Великолепно! В таком случае ты Бадридзе.

— Правильно! — поддержали другие. — Он и похож на кавказца.

Лицо Рыжих озарилось улыбкой. Он понял наш замысел.

— Значит, договорились? — заключил кто-то из моряков. — Впредь мы будем звать тебя Бадридзе. И почаще, чтобы все слышали.

Однажды, недели через две, когда начали возводить первые бараки для Саласпилсского лагеря смерти, шуцман крикнул Рыжих:

— Эй, черный, принеси головешку с костра.

Рыжих направился за головешкой.

— Бегом! Что ползешь, как вошь!

Взяв головешку и прикурив, шуцман внимательно посмотрел на парня.

— Как тебя, дружок мой, звать? — спросил он, лукаво прищуря глаз.

— Бадридзе.

— Ба-адридзе? — шуцман пригладил усы. — Значит, еврей.

— Грузин.

— А не врешь?

За Рыжих ответили товарищи. Все как один заверяли, что Бадридзе говорит правду.

— Так, так... — Шуцман о чем-то размышлял. — Тогда ты можешь спеть мне ту грузинскую песенку... Ту, ту...

— «Сулико!» — подсказал другой шуцман.

— Правильно! Давай. Только по-грузински.

На стройплощадке воцарилась тишина. Все смотрели на бедного Рыжих. Он глубоко вздохнул и, путая русские, еврейские и грузинские слова, начал петь.

Казалось, все кончится благополучно. Но подошел началь-

ник строительства Саласпилсского лагеря смерти Качеровский, который наблюдал за этой трагикомедией.

— Кончайте фокусы! — прервал он песню и, повернувшись к шущману, добавил: — Даже здесь они не могут обойтись без обмана. Чуть не надул вас, не так ли?

Потом он кивнул Рыжих:

— Ты пойдешь со мной.

Рыжих увели. На другое утро мы увидели его в лагере привязанным к дереву. После обеда его расстреляли.

Наступила зимняя стужа. У военнопленных не было теплой одежды. Холод стал тем бичом, который в первую очередь сеял смерть среди тех, кто жил в ямах в старом парке. За нашей оградой тоже поднимался штабель трупов. Когда штабель был достаточно большим, за лагерем вырыли яму. В нее ряд за рядом сваливали трупы и засыпали их землей.

Однажды утром в лагерь заехал грузовик. Группе военнопленных, в том числе и мне, не выдали завтрака. Поедем на работу в Ригу, там нас накормят.

В городе мы пилили и кололи дрова до вечера, но никому и в голову не приходило кормить нас.

В лагерь вернулись совершенно без сил. В тот момент, когда мы плелись мимо кухни комендатуры, какой-то эсэсовец вылил ведро с помоями — костью, картофельными очистками, корками хлеба. Изголодавшиеся пленные вмиг набросились на остатки пищи. Эсэсовец что-то крикнул, и сбежались охранники с дубинками. Пленных избили так сильно, что многие остались лежать на земле.

Через несколько дней, наблюдая за подобными сценами, я понял: эсэсовцы умышленно устраивают такие потехи. Остатки пищи они старались выбрасывать в тот момент, когда мимо проходили измученные голодом пленные. Пока один гитлеровец высыпал содержимое из ведра, другие уже поджидали за дверью с дубинками.



Вчера они отдали последние силы, чтобы выкопать большую яму, сегодня их самих бросают в нее

К весне не менее восьмидесяти процентов заключенных заболели сыпным тифом. Болезни способствовали грязь и вши, которые расплодились в огромном количестве.

Больных поместили в специальные бараки, которые находились в так называемой «запретной зоне». Я тоже пролежал там без сознания четырнадцать дней.

Вначале даже врача не присылали к нам. Но когда распространение болезни грозило уничтожением всей рабочей силы, немцы стали думать об ограничении тифа.

В первую очередь оборудовали баню. В ней выложили из кирпичей некое подобие ванны. «Ванну» эту заполняли водой, и в нее одновременно залезало мыться по десять человек. Когда вода становилась коричневой, как в болоте, ее меняли.

Барак тифозных больных стал посещать врач. Это был старый и седой немец в очках. Глядя на него, я начинал верить, что на свете есть и хорошие люди. Он никогда не ругал нас, никого не бил тростью, на которую опирался при ходьбе. Он даже приветливо улыбался, когда его приветствовали. Лагерное начальство и охранники никогда не отвечали на наши приветствия, хотя мы всегда должны были с ними здороваться. Вежливый доктор однажды даже ломоть хлеба сунул мне в руку.

После выздоровления я встретил этого добродушного немца на территории лагеря. Он спросил:

— Хочешь работать на кухне водоносом?

— С удовольствием, — ответил я.

— Хорошо. Я поговорю.

Я стал работать водоносом на кухне охранников. Это означало, что я вытянул в жизненной лотерее счастливейший билет — жизнь.

Весной в лагере искали трудоспособных военнопленных для полевых работ. Я тоже записался. Так я стал батраком

в хозяйстве балтийского немца лесничего Пауля Фриденберга, недалеко от Балдоне.

Отправляясь в деревню, я лелеял двойкую надежду: отъехать на деревенских харчах и податься к партизанам. Однако это, казалось, никогда не осуществится, ибо Пауль Фриденберг был невообразимо скуп. С жадностью скареда он считал каждый кусок в полном смысле этого слова. Вечером я неизменно получал тоненький ломтик черного хлеба и пол-литра обрата.

Как светлое и теплое солнышко, вспоминаю работницу лесничества Анну Рункулис, у которой было свое небольшое хозяйство. Она часто приглашала меня к столу и кормила досыта.

И я набрался сил.

По соседству работали и другие военнопленные Саласпилского лагеря. Осенью, когда началась молотьба, мы собирались и стали думать о побеге в Латгалию к партизанам. Был уже выработан конкретный план действий, который мы хотели осуществить в ближайшие дни. Но, к сожалению, он расстроился, потому что один из наших все выболтал своей подружке, а та, не желая терять дружка, раскрыла наш замысел хозяину. В конце концов все дошло и до Фриденберга. Молотить меня больше не пускали, а на ночь запирали в комнату.

Однако Фриденберг недолго возился со мной. Он боялся, что я убегу.

Итак, в один прекрасный день Фриденберг уступил меня хозяйке хутора «Оши» Отилии Клявинице. Она оказалась порядочным человеком, хорошо кормила, разрешала встречаться с товарищами. И снова разрабатывался план побега к партизанам. Но и он расстроился. Неожиданно меня и других военнопленных, работавших в окрестностях Балдоне, отправили обратно в Саласпилс. Так свобода осталась за проволочной оградой.

РЕШАЮЩИЙ ЧАС НАСТУПАЕТ

Летом 1944 года исход второй мировой войны был ясен и самим гитлеровцам. Фронт стремительно продвигался на запад, все ближе и ближе к фашистскому логову — Берлину. Мы, пленные, с каждым днем становились бодрее, а наши мучители — мрачнее. По-видимому, они боялись, что придется ответить за все зверства.

В середине лета меня вместе с другими увезли из Саласпилса на работу в Рижский порт. Его гитлеровцы содержали в образцовом порядке, чтобы в случае необходимости можно было беспрепятственно бежать в «фатерланд».

Работать здесь приходилось больше, чем в Саласпилсе, зато нас одели в какие-то старые лохмотья и выдали обувь — деревянные туфли. Нас всех тщательно сосчитали и каждому нашили на одежду номер.

Ночью мы спали в бараках, построенных в районе порта. Кроме нас здесь ютились еще небольшие группы заключенных, они были тоже из Саласпилсского концентрационного лагеря и работали на городской скотобойне. Иногда они тайком приносили в бараки коровьи ноги. Это было рискованно, ибо при входе в порт каждого тщательно обыскивали. Если что находили, виновного избивали. Но люди рисковали. Мясо они обычно резали на мелкие кусочки и прятали на груди. Добытое таким путем дополнительное питание заметно улучшило наш вид и здоровье.

В конце июля меня перевели на работу в конюшни транспортно-портной части вермахта, находившиеся по улице Дунтес. Там уже работал военнопленный Адам Сухарко. Мы быстро поружились.

Как-то вечером, во время уборки стойла, Адам нагнулся к моему уху:

— Москву послушать хочешь?

От неожиданности я вытаращил глаза.

— Умеешь держать язык за зубами? — задал Адам другой вопрос и, не дождавшись ответа, сказал:

— Ладно, жди вечера.

Вечером, когда лошади были накормлены, Адам повел меня за конюшню. Он раздвинул две доски в высоком деревянном заборе, и мы пролезли в соседний двор.

— Там живет знакомая женщина. — Адам указал на трехэтажный деревянный дом. — Пойдем.

— Она не выдаст нас?

— Что ты! — отмахнулся Адам. — Ее отец и старший брат погибли в гражданскую войну, они боролись за Советскую власть. Младший брат коммунист. Сама она ненавидит немцев.

Мы поднялись на второй этаж. Адам три раза постучал и дважды нажал кнопку звонка. Дверь открыла молодая темноволосая женщина. Увидев меня в оборванной одежде, она вздрогнула.

— Не бойся, Вилма. Это мой друг Миша, — познакомил нас Адам.

Вилма Мачевская ввела нас в свою квартиру. Проверив, плотно ли закрыты окна, она зажгла свет. Сели. Вилма поставила на стол чайник и хлеб с маслом.

Когда мы перекусили, хозяйка включила радио. Говорила Москва! С невыразимой радостью и волнением слушал я голос Родины. Советское Информационное бюро сообщало, что продолжается освобождение нашей страны, что советские войска уже вошли в Латвию.

Трудно выразить словами то чувство, с каким я вернулся в тот вечер в конюшню. Радовался победам Советской Армии, радовался, что на свете есть хорошие и преданные люди — такие, как Вилма Мачевская.

Мы нарочно остались в конюшне, чтобы охранники стали нас искать. Так и произошло. Чтобы проверить, что мы так долго делаем, дежурный открыл дверь конюшни, но, увидев

нас с вилами в руках, ушел, насвистывая. По-видимому, он был доволен, что мы так старательно работаем.

Однажды сентябрьским утром гитлеровцы отвели нас на картофельное поле недалеко от конюшни. Надо было срочно убрать урожай и доставить в порт. Когда картофель был ссыпан в мешки и его увезли, немцы начали пьянствовать. Один пожилой немец, по имени Фриц, заметно захмелев, расхаживал с бутылкой красного вина в руках. Он стал болтать и, разоткровенничавшись, рассказал, что русские уже недалеко от Риги.

С опаской оглянувшись вокруг, не подслушивает ли кто-нибудь, Фриц проговорился, что скоро начнется эвакуация и всех военнопленных сгонят на суда и увезут.

Мы серьезно обдумали его слова и решили: надо бежать.

Вечером открыли свои замыслы Вилме.

— Сколько вас? — спросила она.

— Четверо.

— Я знаю небольшой погребок на улице Казармас. Его хозяйка уехала в деревню, а ключи оставила мне, — сказала она. — Двое там могли бы спрятаться. Остальных отведу в другое место. Там есть надежные люди.

Около полуночи к Вилме явились четверо военнопленных — Иван Коломеец, Николай Руденко, Ефим Зенцов и я. Через час, когда все были укрыты в надежном месте, мы больше не считали себя военнопленными.

Фриц не врал. Скоро в Риге началась эвакуация. Гитлеровцы хватали людей на улицах, сгоняли на пароходы и увозили в Германию. Участились налеты советской авиации на Ригу. От артиллерийской канонады уже содрогался пригород.

В погребе мы просидели несколько недель. Все это время Вилма регулярно приносила нам еду.

Пришло утро 13 октября 1944 года. Через небольшое оконце к нам просачивались бледные лучи света. На улице стояла мертвая тишина. Внимательно осматриваясь вокруг, мы вышли

на улицу. Полной грудью вдохнули осенний воздух. Кто-то шел... Женщина.

— Эй, милые! — увидев нас, крикнула она. — Встречайте своих. Наши танки уже по эту сторону моста.

Мы обнялись и утирали слезы радости.

Вскоре я явился в военкомат, надел военную форму и отправился на Курземский фронт.

День Победы — 9 мая 1945 года — встречал в Дундаге. Около той самой церкви, в которую в 1941 году меня заключили гитлеровцы. Только на этот раз мы поменялись ролями.

Поникшие «завоеватели» сидели на весеннем солнышке, а я их охранял. Мы строго соблюдали международные законы о военнопленных и обходились с ними по-человечески.

В начале августа воинская часть, в которой я служил, должна была покинуть Советскую Латвию. Эта весть заставила меня на кое-что решиться. Затем я пошел к командиру полка и попросил предоставить мне два дня отпуска по важным, неотложным семейным делам.

Когда после отпуска я вернулся в свою часть, в кармане у меня был документ, гласивший, что «Вилма Мачевская и Михаил Зеленский 13 августа 1945 года зарегистрированы в рижском городском ЗАГСе».

После демобилизации я вернулся в Ригу. Живем мы на улице Дунтес, в том самом доме и в той же квартире, где летом 1944 года я слушал голос свободной Москвы.

У нас растет дочурка Инара. От всего сердца желаю, чтобы ей никогда не пришлось пережить те ужасы, которые выпали на нашу долю.

Облака войны никогда больше не должны затмить наше ясное небо. За это должны бороться все. Мир, труд, свобода, равенство, братство, счастье должны быть сохранены.

КРОВАВЫЙ ПИР НА БЕРЕГУ ДАУГАВЫ

Станислав Розанов



Прошли последние дни июня 1941 года. Продолжалась эвакуация государственных учреждений и предприятий. Разгоралась борьба против саботажников и диверсантов. Нацистская «пятая колонна» все чаще совершала террористические акты. Не имея возможности выступать открыто, она тайком старалась сеять панику среди населения.

Со дня организации рабочей гвардии я был начальником отделения охраны 10-го батальона. В нашу задачу входила охрана заводов «Сарканайс квадратс», «Везувс», веревочной фабрики и других предприятий Московского района. Требовалась особая бдительность.

Вскоре пришла весть, что фашистские захватчики находятся уже у городских границ и концентрируют большие силы для форсирования Даугавы напротив острова Долес. Получили последнее распоряжение — в критический момент отойти к Валке. Однако сделать это мы не успели, путь к отступлению был отрезан.

После четырех дней я снова появился в Риге. Оказалось, что меня уже искали, поэтому я не остался в своей квартире,

а поселился у знакомого. Установил связь с одним старым членом партии, который хорошо знал положение на фронте. Мы понимали, что надо выбираться из Риги, ибо для проверки все чаще оцепляются целые кварталы города.

В Московском районе между железнодорожным полотном и улицей Латгалес было создано еврейское гетто. Утром и вечером евреев гнали на работу. На груди и на спине у них были желтые звезды. На аэродроме Спилве работали военнопленные. Немецкая охрана безжалостно расправлялась с каждым, кто из-за слабости не мог выполнить задание. Тех, кто пытался подать военнопленным кусок хлеба, арестовывали и заключали в тюрьму.

Однажды я встретил на улице своего сослуживца. Он рассказал о положении на заводе «Сарканайс квадратс». Там у меня было несколько хороших знакомых, поэтому я набрался смелости и отправился на завод. Встретил всех, кого хотел. Вкратце переговорили о самом важном и решили в дальнейшем поддерживать более тесные связи. Но меня заметил бывший айзсарг Линкевич. Он поднял тревогу. Поблизости оказалось еще несколько шуцманов. Меня задержали и под конвоем отправили в 9-й полицейский участок, который находился по улице Даугавпилс.

В участке сидели и пьянствовали четверо мужчин, одетых в форму латвийской буржуазной армии, только без знаков различия. Лицом к стене в комнате стояло около двадцати арестованных.

Толкнув меня к пьяным, старший конвоя неестественно громким голосом доложил:

— Привел одного красного комиссара на исповедь, господин капитан.

Последний окинул меня осоловелым взглядом и крикнул:

— К стенке!

Потом проворчал:

— Этого мы сегодня же вечером отправим в сосны, — и протянул конвою стакан водки.

Опрокинув чарку, полицейский-доброволец крякнул, приложил руку к головному убору, четко повернулся и вышел.

Пьянка продолжалась. Все четверо хвастались своими кровавыми делами.

Прошло часа два. Двое пьяниц уже стали клевать носом. Остальные так заболтались, что даже забыли о нас. Я заметил, что время от времени кое-кто из арестованных исчезает в коридоре. Подвинулся и я ближе к выходу и в следующий миг с кажущимся спокойствием шагал по коридору.

У выходной двери стоял на посту безобидный на вид человек в форме айзсарга. Он посмотрел на меня и сказал:

— Вот видишь, не всех ведут в сосны. Проверяют, не сделал ли чего плохого, и отпускают.

Я кивнул головой и продолжал путь.

В последующие дни стал думать, что делать дальше. Решил пробраться в родные края — Латгалию. Я был уверен, что оттуда смогу попасть к партизанам.

По счастливой случайности я встретил своего знакомого Миронова, который работал на станции Шкиротава. Он обещал посадить меня в поезд вместе с рабочими дорожно-ремонтной колонны. Этот план вселял новые надежды.

В указанный день я долго бродил по кривым улочкам Шкиротава, пока наконец вышел на дорогу напротив станции, которая вела в вагонный парк. Вдруг, взглянув на сторожевую будку у переезда, я заметил на ограде кусок белой материи. Я застыл на месте — это был условный сигнал опасности.

Что случилось? Куда мне теперь податься? Не заметили ли меня?

Решил идти нижней дорогой. Перескакивал с одной стороны размокшей от дождя дороги на другую. Вскоре из вечерних сумерков вынырнул велосипедист. Это была девочка. Она внимательно посмотрела на меня и произнесла:

— Остерегайтесь патрулей!

Это предостережение меня встревожило еще больше. Спрятаться здесь было негде. Поблизости не было даже порядочного куста. Впереди показался небольшой сарайчик, за ним сад. Я, было, уже приготовился перепрыгнуть через канаву, как глаза ослепил свет карманного фонарика. Раздался суровый окрик:

— Руки вверх!

Подошли двое вооруженных мужчин, обыскали. За исключением паспорта, ничего не нашли.

— Пошли.

Меня толкнули вперед. За мной следовали конвоиры. Через некоторое время мы пришли в тот же самый 9-й полицейский участок.

На сей раз здесь порядок был другой. Мне велели сесть. В соседней комнате слышался разговор, из которого я понял, что в предыдущий день на станции Шкиротава взорван эшелон. Меня допрашивали недолго. По телефону связались с участком полиции, где я был прописан, и меня отвели в префектуру. Там я увидел такую же картину, как и в 9-м полицейском участке. Лицом к стене стояло несколько десятков арестованных, других допрашивали следователи.

Меня подвели к столу, за которым сидел рыжеволосый здоровяк. Он засыпал меня вопросами: что я искал в Шкиротава? Где скрывался два месяца?

— Ну, быстрее говори, быстрее! Или сначала с тебя надо шкуру спустить?

Он ударил меня ногой и вытолкнул в коридор. Там меня схватили двое и волоком потащили в погреб.

Звякнул замок. В помещении темно. Вскоре я услышал голоса. Говорили по-русски. Моими товарищами по несчастью оказались советские летчики, сбитые где-то в окрестностях Риги. Два коммуниста и один комсомолец. Свою партийную принадлежность они не скрывали. После неоднократных звер-

ских пыток их приговорили к смертной казни, которой они и ожидали. Значит, это камера смертников? Неужели и меня ждет то же самое? Возможно, уже этой ночью?

За две недели летчики многого натерпелись, но духовно не были сломлены. Об этом свидетельствовало их поведение. Вопреки многократным предупреждениям надзирателей они пели советские песни, с гордостью рассказывали о героизме наших бойцов на фронте. Казалось, они делали это ради меня, старались подбодрить.

— Советский человек всегда должен быть сильным! — говорил один из них. — Мы люди нового закала. Если один погибает, десятки и сотни становятся на его место.

Эти слова мне глубоко запали в память, и часто, когда мне приходилось трудно, они были моей путеводной звездой.

К утру летчикам надели наручники и увели.

На четвертый день меня отвели в Центральную тюрьму. Водили от одного корпуса к другому, пока наконец я не оказался в 21-й камере 3-го корпуса.

Был ясный сентябрьский день, а в камере стоял полумрак. Когда надзиратель запер за мною дверь, я ступил несколько шагов вперед и остановился в недоумении. Помещение было переполнено. Моя растерянность заметно развеселила заключенных.

— Не грусти, друг. Трудно первые десять лет. Мне указали свободное место на нарах.

— Несмотря на большой конкурс, попадают и здесь свободные места, — пошутил кто-то.

Но вскоре разговор стал серьезным. Все живо интересовались событиями на воле. И это понятно, ибо в тюрьме не было ни газет, ни писем.

Наступил обед. В камеру принесли суп. На каждом двух заключенных литровая миска похлебки. Моим напарником был Гелзис (схваченный за принадлежность к МОПРу). Каза-

лось, что суп приготовлен из силоса, который скармливается скоту. На дне каждой миски оставался песок.

Вечером состоялась поверка. В камере под потолком тускло горела пятнадцатисвечевая лампочка. По команде все стали в строй.

В сопровождении надзирателя вошел старший по корпусу Озол.

— Новенький пусть выйдет шаг вперед!

— Так. — Озол осмотрел меня с головы до ног. — Даже галстук повязал.

И, схватив меня за него, стал трясти.

— Ну погоди, скоро повяжем тебе конопляный. Он тебе лучше подойдет.

Таково было мое первое знакомство с убийцей Озолем, который во дворе тюрьмы вешал и расстреливал заключенных.

Камера была рассчитана на 40 человек, а нас было вдвое больше, поэтому спали по два. Вдвоем спать теплее. Зато повернуться с боку на бок было трудно. В тонких матрацах — почти в порошок стертая солома. В щелях гнездились клопы, блохи, вши, которые всю ночь не давали покоя.

Утром с нетерпением ожидали свою порцию хлеба. Голод с каждым днем давал себя все больше знать. Я насильно гнал мысли о еде, но они упорно возвращались, как ночью насекомые.

Тревожные минуты мы переживали, когда после вечерней поверки в камере появлялся помощник начальника тюрьмы, называл несколько фамилий и велел собираться «со всеми вещами». Мы знали, что люди эти приговорены к смерти и переводятся в четвертый корпус.

В нашей камере находились только политические. Коммунисту Лакше было около 60 лет. После восстановления Советской власти в Латвии он приехал сюда с Урала на партийную работу. О судьбе своей семьи ничего не знал. После допроса его принесли в камеру изуродованным до неузнавае-

мости: с выбитыми зубами, вырванными волосами. Два дня Лакше лежал без сознания, потом его унесли из камеры. Больше мы его не видели.

В камере становилось все больше людей, истощенных голодом и изуродованных во время допросов; они не могли подняться со своих нар, не могли даже отогнать вшей, которые ползали по лицу, не могли съесть даже наш ничтожный голодный паек — 200 граммов хлеба.

Наконец и меня вызвали на допрос. За столом сидел угрюмый немецкий офицер. Он говорил на ломаном латышском языке. Стало быть, прибалтийский немец.

Следователь перечислил целый ряд всевозможных преступлений, совершенных мною «против человечества». Говорил он медленно, спокойно, одновременно составляя протокол допроса. Закончив, он велел мне расписаться. Я отказался. Гитлеровца это очень удивило. Но когда я снова отказался, его лицо, как будто покрытое пергаментом, стало розовато-коричневым, зрачки глаз расширились. Он вскрикнул и ударил рукояткой пистолета по столу.

За спиной у меня вмиг встали два атлетически сложенных молодчика. Первый из них толкнул меня на второго, тот опять назад. Они били и толкали меня до тех пор, пока я без сознания не упал на пол. Когда очнулся, следователь еще раз предложил мне расписаться. Говорить я уже не мог, поэтому только покачал головой. Тогда мучители начали обрабатывать меня кулаками. Вторично я очнулся уже в камере.

Наступила ранняя зима 1941 года. Утром, как всегда, камеру проветривали, но отапливать и не думали. К голоду прибавился холод. Чтобы хоть немного согреться, приходилось постоянно двигаться по камере, но на это тратились и без того слабые силы.

В начале ноября в камеру вошел старший по корпусу Озол и приказал всем построиться. Проходя вдоль строя, он каждого долго и внимательно рассматривал.

Через несколько часов меня вызвали и отвели в 12-ю камеру. Там находилось 25 человек. Что с нами будет дальше? Мы терзались самыми различными догадками.

На следующий день нас ввели в раздевалку, отняли гражданское платье и выдали полосатую арестантскую одежду.

Первой мыслью было: мы приговорены к каторжным работам.

В неизвестности прожили почти неделю. Потом однажды утром всех вызвали в коридор, проверили по списку и вывели во двор. Там стояла грузовая машина и около десяти шуцманов.

Старший охранник приказал сесть в машину и в дороге не смотреть по сторонам, не разговаривать между собой, не меняться местами.

— Поняли, что сказал? — строго предупредил он. — За малейшее нарушение виновный будет расстрелян без предупреждения.

За воротами тюрьмы нас ожидали еще два грузовика с гестаповцами. На одном был установлен пулемет.

Вскоре подъехала легковая автомашина, и мы отправились в путь. Она возглавила колонну, за ней следовал грузовик с пулеметом, потом наш. За нами шла машина с вооруженной охраной.

Свернув на Московскую улицу, мы вскоре увидели необычную картину. Улица была полна народу, который двигался в сторону завода «Сарканайс квадратс». Мужчины, женщины, дети. Это были евреи из гетто. На тротуарах по обеим сторонам стояла цепь немцев и шуцманов.

Людей было так много, что машины не могли проехать. Поэтому мы продвигались вперед вместе с людским потоком.

За заводом «Сарканайс квадратс» еще одна колонна людей двигалась в сторону Саласпилса. Дорога для гражданских лиц была закрыта. По обочинам стояла стража. Колонны сопровождали гестаповцы на лошадях и овчарки.

Куда гнали этих узников гетто? Среди них было много пожилых и больных людей, которые не могли передвигаться без помощи других. Здоровые вели их под руки. Того, кто падал, гестаповцы оттаскивали в сторону и расстреливали.

Одна молодая женщина вышла из строя, чтобы поправить ребенку пеленки. Шудман вонзил ей в спину штык. Женщина упала, крепко прижав к груди ребенка. Шудман вырвал его из рук умирающей матери, отбросил дальше. Гестаповец стал натравливать на ребенка собаку. Та подбежала, понюхала, но не стала его трогать. Взбешенный немец хлестнул собаку плетью, затем вынул пистолет, прицелился и выстрелил в ребенка.

Мы приближались к Румбуле. Услышав пулеметные очереди, мы стали понимать, что здесь происходит, ощутили всю трагедию этих медленно движущихся людей.

Около Румбулы колонну направили в сторону леса, откуда раздавались выстрелы. Сквозь дробь пулеметов доносились крики отчаяния, вопли женщин, плач детей.

В метрах 20—30 от дороги с поднятыми руками стояли совершенно голые люди — мужчины и женщины. К ним прижимались дети, тоже совершенно раздетые. Стоял сильный мороз. Люди дрожали от страха и холода. Неподалеку возвышалась огромная куча одежды. Обреченные на смерть должны были там раздеваться. Некоторые бросали свою одежду убийцам в лицо. Другие отказывались добровольно раздеваться. Их фашисты раздевали силой. Как только подходило определенное количество несчастных, убийцы окружали их и гнали дальше, к месту расстрела.

Дорога впереди нас была свободна. Скоро мы очутились на берегу Даугавы. Там нас построили.

Из легковой машины вылезли два гестаповских офицера и высокого роста мужчина в гражданской одежде.

Эти трое подошли к нам и внимательно осмотрели каждого.

После короткого молчания первый офицер заговорил. Гражданский сразу же перевел.

Офицер сказал:

— Вы видели, какая судьба ждет противников нашей власти. Мы их уничтожаем, как вредные сорняки. Вам дана возможность искупить свое преступление честным трудом. За это вы должны благодарить нашего фюрера и правительство Германии. Тот, кто вздумает работать спустя рукава или не выполнять приказы начальства, будет расстрелян. А если кто-нибудь попытается бежать, будут расстреляны все остальные. Понятно?

Мы молчали.

Один из наших товарищей, по фамилии Хинер¹, попросил слова. Он сказал, что все мы хотим работать и будем работать так, как потребует начальство, пусть только нам создадут хоть сколько-нибудь нормальные условия жизни.

Гестаповец усмехнулся.

— Так, так.

Спросил, как зовут говорившего, и заметил:

— Каждому будут созданы соответствующие условия.

Гражданский засмеялся.

— Какие условия! Удобные жилища, приличную одежду, вкусную пищу. Ну что ж, создадим...

Позднее мы узнали, что один из офицеров был начальник гестапо и СД в Латвии Ланге, другой — комендант будущего концентрационного лагеря Никкель, а гражданский — начальник строительства лагеря Качеровский.

Несколько дней спустя Ланге вызвал Хинера, отвел в сторону и расстрелял.

Первой нашей задачей было подготовить место для пилорамы. Уже на следующий день под усиленной охраной некоторых из нас послали в Рембатскую волость за пилорамой. Скоро привезли еще два агрегата.

Начальник строительства бегал как угорелый, обзывал нас вредителями, грозил сообщить Ланге, что мы работаем спустя рукава, даже на хлеб себе не зарабатываем. Свирепо ругался. Мы якобы растеряли по дороге какие-то части от пилорамы.

Работа действительно подвигалась медленно. Не помогли ни ругань, ни побои.

Прошло почти три недели, пока пилорамы начали работать. Нас заставили их обслуживать.

Нужны были люди, чтобы вытаскивать бревна из Даугавы. На этих работах использовали военнопленных.

В Саласпилс прибыло уже несколько эшелонов военнопленных. Их здесь насчитывалось несколько тысяч. Вначале пленных разместили в бывших казармах, а позднее выгнали в открытое поле.

Эти несчастные полностью были отданы на милость природы. Им негде было укрыться ни от холодного осеннего ветра, ни от дождя и снега. Котелками, мисками пленные зарывались в землю, как звери, чтобы хоть как-нибудь спастись от холода. Над каждой норой оставлялось отверстие для выхода. На ночь его закрывали ветками или куском одежды, чтобы хоть немного сохранить тепло.

И так жили люди, которым приходилось вытаскивать бревна из ледяной воды!

Они скорее походили на тени — грязные, неделями не мытые, усыпанные вшами, обросшие волосами и бородой, без обуви, с обмотанными тряпьем ногами, в легкой летней одежде, большинство из них не имело шинелей и даже головных уборов.

Гонимые голодом, они на высоту человеческого роста обгрызли кору у всех деревьев в лагере. Вокруг не было ни одного уцелевшего куста, ни одного стебелька. Ежедневно насчитывалось сотни больных и умерших. За несколько месяцев здесь погибли десятки тысяч военнопленных.

После первого сильного мороза истощенные люди не в си-



В этих ямах и норах когда-то жили люди. Десятки тысяч советских военнопленных фашисты выгнали на открытое поле близ шоссе Рига—Даугавпилс, в 17—18 километрах от Риги. Спасаясь от зимнего холода, люди зарывались в землю

лах были зарывать трупы. Их выносили за ограду и складывали в штабеля.

Каждое утро на берег Даугавы выгонялось 600—700 военнопленных. Распоряжался этими людьми руководитель работ. Охрана загоняла пленных в ледяную воду за бревнами. Того, кто не мог достаточно ловко работать, хлестали обрезками кабеля. За бревно хваталось 15 и более человек, но оно не двигалось с места. По колено в холодной воде, без рукавиц, голодные, заколеченные, они с нечеловеческими усилиями вытаскивали бревна на берег. Другие катили их к пилораме. Если кто-нибудь падал без сил, его на месте расстреливали. Каждое бревно стоило нескольких человеческих жизней.

Бревна распиливались на планки и доски. Из них в первую очередь построили сарай для пилорамы, ремонтную мастерскую и склад инвентаря. Затем доски надо было нести за два километра к болоту, где военнопленные уже очистили от кустарника большую площадь.

Что там будут строить?

Ходили разные слухи. Говорили, что на новом месте будут воздвигнуты бараки для военнопленных, а пока что бесконечным потоком туда двигались группы пленных. Вчетвером, впятером несли одну доску.

По обеим сторонам дороги стояли охранники и подгоняли носильщиков. Кто хоть на миг останавливался, чтобы перевести дух, на того натравливали собак. Того, кто падал без сил, пристреливали. Каждая пядь земли здесь была пропитана кровью.

Обед пленным привозили из лагеря. Посуды для получения пищи у них не было. Отвратительно пахнущую жидкость повар наливал во что попало — одному в армейский котелок, другому — в жестяную банку, брезентовый мешочек, даже шапку или в подол гимнастерки. Полученную порцию надо было съесть за две минуты. Кто не успевал, у того «посуду» выбивали из рук.

В начале декабря мороз усилился. Многие военнопленные были так обессилены, что больше не могли работать. Их раздели догола и велели стать на лед. Там они стояли до тех пор, пока не падали и замерзали.

Около каждой пилорамы горел костер, на котором разогревали машинное масло для смазки механизмов. Пленным строго запрещалось подходить к костру. Непослушных безжалостно избивали, а то и пристреливали. Пользуясь случаем, когда эсэсовцев и руководителя работ не было поблизости, несколько военнопленных, гонимых холодом, подошли погреть окоченевшие руки. Тут охранники решили сыграть «шутку», подкрались сзади и пинками ног втокнули несчастных в костер.

— Теперь грейтесь!

Однажды шущман заметил, что пленный грызет мерзлую свеклу. За это его раздели, поставили на пригорок и застрелили. Издеваться над людьми нравилось и начальнику строительства Качеровскому. Увидев как-то, что двое пленных жуют кусочек хлеба, полученный от гражданских рабочих, он строго спросил, где они взяли хлеб. Когда пленные не ответили, Качеровский передал их эсэсовцам «за нарушение трудовой дисциплины». Пленных на месте расстреляли.

В середине декабря пилорамы больше простаивали, чем работали. Не помогали ни побои, ни расстрелы. Пленные больше не могли работать, они еле-еле шевелились. Расстрелянных раздевали и там же на берегу сваливали в кучу. После работы появлялась «скорая помощь» — сколоченные из досок огромные сани, в которые впрягались 40—50 наиболее крепких военнопленных. Начальник охраны считывал трупы, затем разрешал везти их на «кладбище». Так назывался большой штабель трупов там же за оградой лагеря.

Часто заявлялся к нам и Ланге. Каждый раз его с большим почтением встречал начальник строительства. Чтобы показать свое усердие, Качеровский в таких случаях особенно лютовал.

Заметив, что кто-то из военнопленных старается вытащить близлежащие бревна, не залезая в реку, он подбежал к нему и стал бить концом кабеля по голове, лицу — куда попало.

Не было случая, чтобы Ланге перед отъездом не застрелил пять-шесть военнопленных. Все время он не выпускал пистолета из рук.

Но скоро эсэсовцам было не в кого стрелять. Пленные умирали в своих норах. Лагерь превращался в кладбище.

Чтобы работы не приостановились совсем, были мобилизованы окрестные жители. Они работали вместе с нами, политзаключенными. Это немного облегчило наш режим. Гражданские были очень отзывчивыми, и они нам немного помогали питанием. Мы узнали также, что планы фашистских захватчиков взять Москву и до холодов дойти до Урала — рухнули.

Приближался Новый год. После двух месяцев непрерывной работы «высокое начальство» разрешило этот день праздновать.

В Рижскую Центральную тюрьму нас вечерами отвозили только первые две недели. Потом мы поселились в домике за колючей проволокой, на самом берегу Даугавы. Он, очевидно, был рассчитан на небольшую семью, так как состоял из двух комнатушек. Теперь в нем жили и готовили себе пищу 25 человек.

Мы тоже готовились к Новому году. Гражданские принесли нам немного картофеля, несколько селедок и даже кусочек баранины.

Работу окончили раньше обычного. Наш товарищ по комнате Боле таинственно заметил:

— Если все удастся, как задумано, то и после Нового года мы несколько дней отдохнем.

Боле работал точильщиком пил. Они портились довольно часто из-за осколков, застрявших в бревнах. Что это были за осколки, разумеется, знали немногие. Качеровский лез из кожи

вон, крича, что это саботаж. Доказать было трудно, ибо бревна проходили через десятки рук.

Боле был также хорошим электриком. Что он замышлял, мы тогда еще не знали. Подробнее он рассказал нам об этом, когда в сарае, где стояла пилорама, все было подготовлено к аварии.

Шуцманы и эсэсовцы в тот вечер начали пить довольно рано. Сарай особо не охранялся, он находился в зоне общей охраны. Вскоре из помещения охраны стали доноситься песни и крики. Время от времени как бы в предупреждение раздавались выстрелы.

Приближалась полночь, когда из сарая вырвались клубы черного дыма. Вскоре показалось и пламя. Прошло немного времени, как запылало все сооружение. Шуцманы и эсэсовцы, схватив винтовки, кричали:

— Бунт! Бунт!

Не встретив на улице ни одного бунтовщика, они ворвались к нам в домик. Приказали всем встать, пересчитали. Все были на своих местах.

Тогда они выгнали нас тушить пожар. Но тушить было уже нечего. Оказалось, что досчатый сарай уже сторел. Пламя спало, торчала лишь обгоревшая пилорама.

Второго января прибыла комиссия гестапо и Качеровский. Как обычно, явились и рабочие строительной конторы. Нас в то утро из дома не выпускали. После пожара лесопилку охранял специальный наряд. До прибытия комиссии к ней никого не подпускали.

Сначала лесопилку со всех сторон сфотографировали. Потом принесли из ближайших домов багры и лопаты. Нам велели тщательно проверить обломки и кучу пепла. Возле каждого из нас стоял гестаповец. Когда все было проверено вдоль и поперек и ничего особенного не найдено, гестаповцы уехали. Рабочих тоже отпустили домой.

Лесопилку пришлось строить заново. Пилорамы сильно обгорели. Из Риги привезли некоторые запасные части, новые инструменты. Но восстановить все три пилорамы не удалось. К 10 января работу возобновил лишь один агрегат. В первые дни бревна вытаскивали из воды, подносили и распиливали только люди нашей группы.

Бывали дни, когда начальник строительства лагеря появлялся лишь на короткое время, как бы мимоходом, а иногда не приходил совсем. Мы уже думали, что работы до весны будут вообще прерваны. На таком морозе, какой стоял в начале 1942 года, работать было невероятно трудно.

Однако дальнейшие события развивались иначе.

В середине января сюда пригнали несколько сот евреев. Все они были хорошо одеты, выглядели здоровыми. На спине и груди у них виднелись желтые звезды. Они были из Чехословакии.

Вновь прибывших разместили в бараке, где уже жили евреи из Германии. Там начал создаваться Саласпилский лагерь. Теперь евреи вытаскивали бревна из воды, доставляли их к пилораме и носили готовый материал к месту будущего лагеря. Они были сильнее измученных голодом военнопленных, поэтому работа шла немного лучше.

Боясь оставить свои ценности в бараках, евреи брали их с собой. В последующие дни охранники стали приносить с собой разную поношенную одежду. Заметив еврея своего роста, они приказывали ему раздеться и одеть тряпье. Так они забирали одежду со всеми ценностями. Того, кто сопротивлялся, расстреливали. Трупы тут же на месте раздевали, обыскивали карманы, забирали часы, портсигары, изо рта выламывали золотые зубы.

Прибыл Ланге. Его, как всегда, сопровождали комендант и начальник строительства.

В это время вытаскивал бревно из воды еврей невысокого роста, у которого из верхней одежды сохранился лишь жи-

лет — он был в одном белье. Увидев приезжего, он оставил своих товарищей по работе и подошел к Ланге.

Высказав свои претензии о самоуправствах охраны, проситель вытащил из кармана жилета лист бумаги и хотел подать его Ланге. Раздался выстрел, и несчастный упал к ногам убийцы.

В тот день Ланге застрелил шесть евреев.

Так чехословацкие евреи познакомились с порядком «новой Европы». Кое-кто из них еще надеялся пополнить свой гардероб вещами, которые должны были прибыть с багажом. Но скоро и эти надежды рухнули.

Однажды нас, политзаключенных, отвели к железной дороге. На путях стояло несколько товарных вагонов. Там уже орудовали Ланге, комендант, Качеровский и несколько гестаповцев и эсэсовцев.

Вагоны были забиты чемоданами, дорожными сумками, корзинами, пакетами. Была даже кое-какая мелкая мебель. На каждом предмете на чешском и немецком языках была написана фамилия владельца, его прежний адрес.

Все прибывшие вещи нам приказали доставить на склад создаваемого лагеря. Затем под наблюдением эсэсовцев мы все распаковали и рассортировали. Верхнюю одежду складывали в одно место, белье — в другое, отрезки тканей — в третье. Отдельно сложили ценности: золотые и серебряные изделия, хрустальную посуду.

Потом Ланге указал, что сложить обратно в чемоданы. Это, разумеется, были самые ценные вещи. Позднее чемоданы погрузили на машины и увезли.

Так же поступали с вещами, которые прибывали вслед за еврейскими эшелонами из Германии, Польши, Австрии, Франции, Бельгии, Румынии, Голландии и других стран. Разгружать и сортировать эти вещи заставляли и самих иностранцев.

На территории лагеря скапливались огромные горы одежды. Ни начальство, ни охранники вначале ею не интересова-

лись, ибо в первую очередь они старались прибрать к рукам ценные вещи. Но когда убийства в Румбуле закончились, охранники стали рыться и в этих ворохах одежды и обуви.

Вскоре на берегу Даугавы началась «лихорадка» — охота за золотыми зубами. Как только новая группа евреев прибывала на работу, начиналась «проверка». Несчастны были те, у кого находили золотые зубы. Отдельные золотые зубы эсэсовцы выламывали просто так, а у кого их было больше, тех расстреливали и уже у трупов отбирали золото.

Все это делалось без всякого стеснения — на глазах у всех. Эсэсовцы знали, что их действия начальство не считает нарушением, что Саласпилский лагерь предназначен для уничтожения людей, а работа, на которой заняты заключенные, — лишь средство для достижения этой цели.

Не прошло и месяца, как евреи настолько ослабли, что едва волочили ноги. У них уже не было сил носить доски от лесопилки до центра строящегося лагеря смерти. А уже за это грозила смерть.

Евреям, как и военнопленным, лагерное начальство назначило старост групп. Они должны были присматривать за людьми своей группы, следить за тем, чтобы группа выполняла лагерный распорядок, аккуратно выходила на работы. Сами старосты освобождались от физической работы. О проделанной группой работе ежедневно докладывалось руководству лагеря. В недельных рапортах надо было докладывать отдельно о каждом человеке, как он выполнял свое задание. Общие правила были таковы: тому, кто работал очень хорошо, один раз в неделю разрешалось закончить работу на два часа раньше; тот, кто работал хорошо, получал один свободный час. За удовлетворительную работу раз в неделю наказывали десятью ударами по голой спине, за плохую — десятью ударами ежедневно. Оценка «очень плохо» означала смерть через повешение.

Пока еще люди не были слишком истощенными, редко бы-

вали даже телесные наказания. Понемногу положение менялось. Тяжелая работа, сильные морозы, плохая одежда, голод делали свое. Скоро многие заключенные едва держались на ногах, шли на работу шатаясь. Вытаскивая бревна из воды, люди падали и там же оставались. Их безжалостно пристреливали.

Каждая группа должна была выполнять свое дневное задание. Если группа не выполняла его, искали виновных. Охранники, угождая начальству и стараясь заработать премию, внесли в донесения старост свои коррективы. Оценка старосты группы, что кое-кто работал удовлетворительно или плохо, переделывалась на «очень плохо».

Для телесного наказания имелись специальные скамьи. Работавших плохо и удовлетворительно раздевали догола и клали на скамейку. Один эсэсовец садился на голову наказуемого, другой — на ноги, третий бил (концом кабеля).

После телесного наказания приводились в исполнение смертные приговоры.

Экзекуция обычно производилась в присутствии всех заключенных, которых полукругом выстраивали около места казни.

За очень плохую работу 20 февраля должны были быть повешены шесть евреев. Все же вечером их не предали смерти. Назавтра их отправили вместе с другими на работу. К концу дня прибыл Ланге. Он обошел весь берег, но никого не застрелил.

— Начальство в хорошем настроении, — рассуждали все.

После сигнала об окончании работы всех построили лицом к Даугаве.

Перед строем появились Ланге, Никкель, Качеровский. Из строя вызвали тех, кто плохо работал, и поставили на лед.

Подожли шуцманы с автоматами.

Прозвучал приказ раздеться. Пока осужденные раздевались, со склада инструментов принесли ведра. Охранники стали черпать из реки ледяную воду и подавать ведро по цепи

вперед. За первым ведром следовало второе, третье... Ведра переходили из рук в руки, пока не доходили до раздетых людей. Там воду выливали на головы осужденных.

Дул пронизывающий северный ветер. Мороз достигал 25 градусов. Тишина. Слышен только всплеск воды. пытки продолжались до тех пор, пока несчастные не заоченели в своей ледяной одежде.

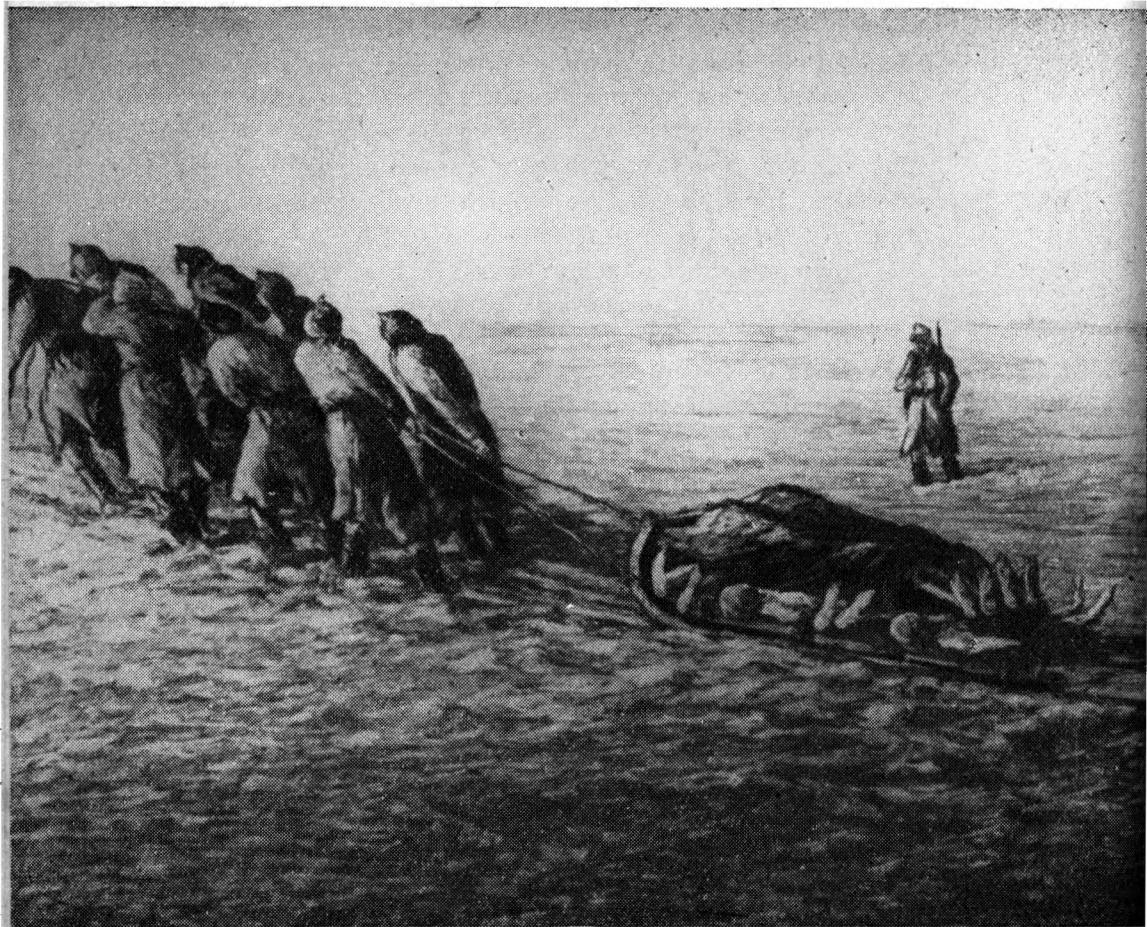
Смерть через повешение казалась садистам слишком обычной, они изыскивали новые приемы казни, более впечатляющие. В жертвах недостатка никогда не было. Чтобы быстрее покончить с муками, присланные на чужбину люди сами просили старших групп написать, что они плохо работают.

Были также совершенно неожиданные инциденты. Однажды вечером, когда эсэсовец хотел облить водой осужденных, один молодой еврей вырвал из его рук ведро, обрушил его на голову эсэсовца, потом бросился в прорубь и исчез в пучине Даугавы.

На миг охранники растерялись. Их поразило мужество юноши. Опомившись, эсэсовцы еще ожесточеннее стали обливаться свои жертвы.

Однажды в воскресенье не явились на работу рабочие стройконторы братья Харалд и Хуго Линдберг. На следующий день начальник строительства отправил их в Ригу, но вскоре обоих братьев привезли из подвала гестапо жестоко избитыми. Одеты они были в полосатую арестантскую одежду. С тех пор они считались политзаключенными. Поселили их с нами в домике на берегу. Теперь нас было двадцать семь.

Рабочие условия у нас были не лучше, чем у евреев. Разница состояла лишь в том, что мы получали не только тюремную норму — 200 граммов хлеба, но дополнительно еще 100 граммов и вечером несколько картофелин или 50 граммов крупы. Кое-чем помогали нам и наемные рабочие. Так мы хотя и не были сытыми, но слишком острого голода не ощущали.



В яму.

Рисунок А. Грибулса

До прихода братьев Линдберг ежедневно выходили на работу 24 человека. Один из нас оставался дома готовить обед. Качеровский считал нас сильнее измученных евреев, поэтому назначил одного из них в нашу кухню. Это был 15-летний еврейский мальчик Йозеф, который от тяжелой работы был совершенно обессилен. Он должен был доставлять топливо и воду, утром варить кофе из поджаренной свеклы, в обед приготавливать суп из силоса и мерзлого картофеля, вечером кипятить воду.

В новых условиях мальчуган стал заметно поправляться. Во-первых, он находился в тепле, во-вторых, был более сыт. Скоро исчезла его удрученность. За работой Йозеф что-то тихо напевал.

Как-то днем, идя на обед, мы увидели около нашего домика Ланге. Он, как обычно, держал в руках пистолет и к чему-то прислушивался. Подняв дуло пистолета, Ланге велел нам остановиться. Мы тоже стали слушать. На кухне раздавалась песня. Это был Интернационал.

Когда песня затихла, Ланге велел открыть дверь на кухню. На чурбане у топки сидел мальчик и мешал угли. Увидев Ланге, он вскочил на ноги. Убийца вызвал мальчугана на улицу и заставил спеть песню еще раз. Хотя у Йозефа на этот раз песня не звучала так отчетливо, он старался спеть ее с улыбкой на губах. Окончив, поклонился Ланге, как будто благодаря за оказанное внимание.

Ланге велел мальчику продолжать работу. Пистолет он сунул в карман. Мы облегченно вздохнули.

Мальчик в замешательстве вбежал в кухню, схватил ведро и помчался к Даугаве по воду. Ланге провожал его взглядом, все еще стоя на том же месте.

Йозеф зачерпнул воду в проруби и поспешно направился назад.

Вдруг Ланге выхватил пистолет и выстрелил. Йозеф упал. Нам Ланге сердито крикнул:

— Сейчас же на работу!

Возвращаясь вечером домой, мы увидели, что мальчуган все еще лежит рядом с ведром. Он был мертв.

Йозеф был сиротой. Его родителей за принадлежность к какой-то левой партии фашисты расстреляли еще в Чехословакии, в первые дни оккупации. Йозеф пел в хоре мальчиков, неоднократно участвовал в концертах за рубежом своей родины.

На кухне мы снова работали сами.

Однажды на территории Саласпилсского лагеря в еврейских бараках поднялся переполох. Исчезли три человека. Всех выгнали из бараков и построили. Считали и пересчитывали еще и еще. Но троих все равно недоставало — значит сбежали. Комендант послал шуцманов на поиски. Через несколько часов те вернулись одни.

Приехал Ланге. Всех евреев согнали в бараки. Нам приказали отправляться в свой домик на берегу Даугавы.

На следующий день тоже никого не пускали на работу. После обеда к нам явились шуцманы и приказали немедленно отправляться в Саласпилсский лагерь.

На так называемой площади виселиц мы увидели согнанных евреев из обоих бараков. Нас гнали туда же.

Недалеко от виселицы стояла крытая грузовая машина, с винтовками в руках выстроились шуцманы.

Мы поняли — беглецы пойманы.

Комендант Никкель дал знак, и из машины вывели трех беглецов со связанными руками. Лица их были в крови. Несчастных подвели к виселице, где в строю стояли все старосты групп.

Никкель громким голосом зачитал смертный приговор. Начальник охраны перевел его на латышский, чтобы и мы поняли.

Беглецов подвели к месту казни, раздели догола и привязали к столбу виселицы.

Тогда Никкель стал читать новый приказ руководства ге-стапо: за то, что староста группы, из которой бежали беглецы, своевременно не заметил подготовку к побегу, он приговаривается к смертной казни через повешение.

За этим приказом следовал другой: для того чтобы старосты впредь всегда бдительно выполняли свои обязанности, каждый третий из них приговаривается к расстрелу.

Комендант подошел к строю старост и вытолкнул вперед каждого третьего. Затем заставил их встать на четвереньки. После этого Ланге подходил к каждому и выпускал ему пулю в затылок.

В дальнейшем старосты групп в вечернем рапорте начальнику строительства докладывали, что все заключенные работали старательно.

Коменданта удивила новая тактика старост групп. Он и ругал, и избивал, и приказывал охранникам колотить их. Но старосты по-прежнему докладывали, что в их группах все работали хорошо. Исключением был, если не ошибаюсь, некий Мандель, который с недоверием относился к своим соотечественникам и больше всего боялся, чтобы его не отстранили от обязанностей старосты и не заставили работать наравне со всеми.

Как-то на вечерний рапорт прибыл Ланге. Когда староста первой группы, как обычно, сообщил, что в его группе все работали хорошо, Ланге его застрелил. Второй староста доложил то же самое. Ланге застрелил его тоже. Следующий бесстрашно повторил то же самое, что и двое первых. Ланге изо всей силы пнул его ногой. Затем стал о чем-то совещаться с Никкелем.

К Ланге с листком бумаги подбежал Мандель и сообщил, что в его группе двое работали очень плохо. Ланге иронически усмехнулся, вынул из кармана пачку сигарет и бросил ее усердному старосте. Мандель низко-низко поклонился.

В тот вечер в лагере повесили обоих плохо работавших из

группы Манделя. Вешать заставили самого Манделя, табуретку из-под ног осужденных выбивал охранник.

Утром Мандель уже не вывел свою группу на работу. Его нашли повешенным. Его подлость уже давно не знала границ, и предатель получил по заслугам.

В начале марта число политзаключенных на берегу Даугавы увеличилось еще на одного человека. Вновь прибывший был одет в потрепанную одежду. Он рассказал, что два месяца его продержали в подвале на улице Реймерса. Фашисты пронюхали, что он поддерживает связь с подпольщиками. Его неоднократно подвергали пыткам, но своих товарищей он не выдал. Он беспрерывно ругал фашистов и их приспешников-щуцманов. Перед арестом новичок якобы работал на лесопильном заводе Брауна. Чтобы вредить фашистам, часто загонял в бревна гвозди.

Когда мы слушали его слишком откровенное разглаговольствование, у нас невольно возникало сомнение. Уж слишком много он болтал.

Говорит, что работал на лесопильном заводе, а почти ничего не понимает в пилораме. Отсидел два месяца в подвале гестапо, а нет на нем ни царапинки, и он не истощен. Тут что-то не в порядке, рассуждали мы.

Как-то заключенных снова погнали выгружать вагоны с еврейским добром. В домике остался только дежурный — я и новичок. Товарищи поручили мне выяснить, что это за птица.

В разговоре с ним я заметил, что он слишком часто и неосторожно высказывается о фашистах; своим легкомыслием он может погубить и себя и остальных. Это, можно было заметить, смутило новичка, он признался, что действительно вел себя слишком неосторожно. Все это, видите ли, потому, что нервы его совершенно распатаны. Видя зверства фашистов, он не может владеть собой.

21 марта был сильный мороз. Я работал у пилорамы, а но-



В Саласпилсе ежедневно расстреливали и морили голодом сотни военнопленных. Их трупы оставались лежать неделями, месяцами

вичок пошел к берегу реки. Там он о чем-то начал разговаривать с Качеровским.

Вскоре Качеровский прибежал к пилораме, велел мне взять лом и лопату и отправиться на стройплощадку Саласпилсского лагеря.

Я шел впереди, Качеровский за мной.

Когда мы пришли на территорию лагеря, Качеровский приказал остановиться, отмерил площадь в пять шагов длиной и пять шириной, посмотрел на часы и сказал:

— Здесь выкопаешь яму глубиной два метра. Даю три часа времени. Не выкопаешь, самого здесь зарюют.

Подозвал шуцмана и приказал:

— Следите, чтобы работал. Будет бежать — стреляйте без предупреждения.

Я стал долбить ломом мерзлую землю. Лом отскакивал, как от железа. Было ясно, что за три часа ямы мне не выкопать.

Обдумав это неожиданное для меня поведение Качеровского, я пришел к выводу, что новый передал наш разговор Качеровскому, а тот придумал, как изолировать меня от товарищей, убрать меня. Все равно обратно в домик на берегу не вернуться.

Много разных мыслей мелькало в голове. Почти механически я долбил мерзлую землю. Время шло, а работа почти не двигалась. Вскоре я заметил, что евреи уже собираются на обед. Значит, кончилось данное мне время. Стало жарко. Неужели уже настал последний час?

Подошла грузовая автомашина. Мне приказали садиться. В кабине шофера я увидел Качеровского. Тронулись в сторону Даугавы. У поворота Качеровский вылез и махнул рукой. Машина тронулась по шоссе в сторону Риги. Меня повезли обратно в Центральную тюрьму.

ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Карлис Сауснитис



ПЕРВЫЕ

ора цвести первым весенним цветам, а оба берега Даугавы выглядят мрачно — их еще лижут грязные паводковые воды. Не видно и солнца. Черные облака, как мешки сажу, плывут так низко над шоссе Рига—Даугавпилс, что кажется, они вот-вот заденут макушки столетних лип Саласпилского лагеря военнопленных, под которыми ползают истощенные люди и зубами впиваются в каждый пробившийся росток.

Тяжело, очень тяжело жилось в фашистском плену измученным голодом воинам Советской Армии. Многие из них уже лежат на спине, уставившись застывшими глазами в темное небо. Покойники. Некому даже стащить их в яму. Все более крепкие товарищи на работе. Под охраной вооруженных конвоиров они вместе с евреями носят доски с пиlorамы, находящейся рядом с лагерем на самом берегу Даугавы. Человеческая цепь длиной с километр тянется через шоссе и сворачивает в лес. Там, на песках за железнодорожным полотном, строится особый городок с низкими бараками, которые как клопы жаждут теплой крови. В четырех бараках уже живут евреи, а один новый еще пустует. Скоро будут готовы и дру-

гие — рабочие начальника строительства лагеря Качеровского уже поднимают стропила. С работами спешат. Из лагеря выгнаны все, кто только может двигаться. В доску пошире вцепилось пять-шесть человек, и все же они еле-еле поднимают ее. Стоит сильнее подуть ветру, как люди падают вместе со своей ношей и не могут больше подняться. Длинная доска, из которой, словно слезы, выступают капли смолы, давит на руки и ноги носильщиков и кажется тяжелее цементной глыбы. Люди пыhtят и стонут, ползут и валяются в грязи, пока, ругаясь, не подбегают гестаповец и начинает стрелять. Тогда и полуживые поднимаются на ноги и, пошатываясь, плетутся дальше.

— Правее! Взять правее! — из уст в уста передают команду конвоиры. Живая цепь, как змея, прижимается к кустарнику, чтобы пропустить пять крытых брезентом грузовиков, которые, тяжело покачиваясь, движутся по ухабистой лесной дороге в сторону нового лагеря. Через дыры, проколотые и прогрызенные в грязном брезенте, мрачно и с опаской смотрят широко раскрытые глаза.

Кого там везут? Кто они такие?

Это были мы — двести заключенных, которые первыми из Латвии прибыли в Саласпилский лагерь смерти.

Это произошло 7 мая 1942 года.

Нас высадили из машин и построили на песчаном бугре посреди поросшего вереском болота. Впервые мы улыбнулись друг другу.

Да, улыбнулись, ибо груз неизвестности свалился! Короткое и резкое сообщение надзирателя в Рижской Центральной тюрьме: «Приготовиться! Завтра в десять часов сдать все тюремные вещи!» — теперь нас больше не пугало. А прошлую ночь мы не спали. Ворочались с открытыми глазами на голых железных нарах и молча гадали: что нас ждет — жизнь или смерть? Ведь тюремные вещи — глиняную мисочку, алюминиевую ложку и похожее на портянку полотенце отнимали

лишь перед расстрелом или освобождением, что случалось очень редко. Да и разве отпустят всю камеру разом домой...

Тревожные мысли этой тюремной ночи на короткое время нарушил мангальский рыбак Фриц Фельд-Мильберг. Под утро он вскочил со своего места и открыл окно камеры. Потом забрался на стол и стал размахивать руками. Мы уже встревожились: неужели у Фрица нервы... Но нет — вокруг маленькой синей лампочки, которая горела в камере над столом днем и ночью, трепетала маленькая серая бабочка. Фриц хотел выпустить ее на свободу, но бабочка не расставалась с синей приманкой.

— Пойдите, Фриц, — сказал кто-то, — вот так надо — полотенцем.

Оба заключенных осторожно намотали вокруг лампочки полотенце, чтобы бабочка опустилась на него. Потом можно будет вытрясти полотенце через оконную решетку, во двор тюрьмы.

Но бабочка не понимала добра. Она еще отчаяннее держалась около синей лампочки. Были слышны тихие удары крыльев, на стену падали большие беспокойные тени.

— Эй, вы там, осторожнее! Не раздавите! Пусть лезет на стол тот, у кого ловкие руки!

Но не помогали ни советы, ни предупреждения заключенных, обступивших стол. Бабочку поймать не удалось. В конце концов она исчезла.

Воцарилась тягостная тишина. Казалось, в эту минуту решается судьба узников. Молчание нарушил старый портной Янис Ансис, добравшийся до стола на своих распухших ногах. Он воскликнул:

— Ведите меня к окну, к окну! Насекомое в волосах!

Услужливые руки тянули Ансиса к окну, а он командовал:

— Ртом! Сдувайте ртом!

Горячая волна взволнованного дыхания оторвала бабочку

от волос Ансиса, и через железную решетку она пропала в утренних сумерках.

— Улетела! Молодчина! — Портной еще долго радовался выпущенной на свободу бабочке. Своей же свободе Ансису радоваться не пришлось: через три месяца он умер.

Через несколько часов, так же быстро и неожиданно, как бабочку, выгнали из тюрьмы заключенных. Однако нас не выпустили на свободу, а посадили в автомашины и повезли по шоссе Рига—Даугавпилс. Миновав зловещие Румбульские сосны, машины на семнадцатом километре свернули в лес. Здесь мы и стояли теперь в ожидании своей дальнейшей судьбы.

Саласпилс нуждался в нас. Находящиеся здесь умирающие с голоду военнопленные и привезенные сюда евреи из Чехословакии, Польши, Австрии и других оккупированных немцами стран были слишком слабы, чтобы работать. А рабочие руки рабов требовались. Надо было строить бараки, ограждать колючей проволокой себя и других, прокладывать большую кольцевую дорогу, которая, подобно петле виселицы, сжимала центр лагеря. А каменоломни, торфяные болота, известковые и цементные фабрики...

Сегодня мы стояли еще без работы, и вокруг нас толпились конвоиры, сопровождавшие нас сюда. Нас проверяли и пересчитывали уже который раз, а число 200 никак не получалось — то меньше, то больше. А в это время немецкие фашисты ходили вокруг комендатуры, словно разъяренные тигры в зоологическом саду в ожидании, пока им подадут пищу.

Поодаль от других, опершись на толстую палку и дымя трубкой, стоял и смотрел на нас гестаповец с гладким, невыразительным лицом. Казалось, что кожа на костях его щек натянута или отшлифована — не было видно ни морщинки, ни одной человеческой черты. Это был один из самых безжалостных убийц лагеря — ротенфюрер Теккемейер. Позднее он всегда стоял в этой позе на лагерной площади или перед

комендатурой. Казалось, что он в глубоком раздумье ничего не видит и не слышит. Но стоило заключенному хоть в самом отдаленном углу лагеря положить лопату и присесть, как Теккемейер, пронзительно улюлюкая и размахивая палкой, бросался туда. Тяжело избив или даже убив измученного непосильной работой узника, палач утирал пот, набивал трубку табаком и снова принимал прежнюю позу.

И на сей раз Теккемейер зашевелился лишь тогда, когда к нему подошел охранник и доложил, что доставленные из тюрьмы заключенные сосчитаны и построены.

Ротенфюрер сделал несколько шагов в нашу сторону и загудел:

— Шапки снять!

Спокойным шагом, будто прогуливаясь, к нам приближался комендант Саласпилсского лагеря обершарфюрер Рихард Никкель — высокого роста берлинец, с большим, похожим на грушу носом. Казалось, он даже улыбался. Позже мы часто видели улыбку этого чудовища. С этой улыбкой он приговаривал к смертной казни, выцарапывая на бумаге, как Наполеон, только букву С. С этой же улыбкой на лице он вешал и расстреливал людей, хлестал их собачьей плетью. Бросив безразличный взгляд на колонну узников, Никкель вынул из кармана отобранный у евреев золотой портсигар, закурил папиросу и низким басом прорычал:

— Гей, обер-лейтенант!

Опираясь на косяк двери комендатуры, на костылях вышел во двор и приковылял старший лейтенант Бруно Тоне. Этот приспешник гитлеровцев суровой зимой 1941/1942 года, отправившись с латышскими добровольцами на восточный фронт, отморозил ноги и за это хотел мстить всему миру, особенно нам, заключенным. Будучи не в состоянии сам обойти территорию лагеря, он приказал носить себя на специальных носилках, над которыми из отнятой у евреев цветастой ткани было сооружено что-то наподобие балдахина. «Мопс, поди



Работа в лагере.
Линогравюра К. Буша

сюда!» — так Тоне подзывал по одному человеку из каждой рабочей группы и огревал их палкой по голове. С заключенными он вел себя, как жестокий восточный владыка, зато перед Никкелем, хотя тот был ниже по званию, юлил, как щенок. Обершарфюреру Никкелю стоило только поманить пальцем, и Тоне, загребая костылями, спешил на зов, оставляя за собой в песке две борозды от искалеченных ног.

В этот раз комендант использовал обер-лейтенанта в качестве переводчика.

— Кто знает немецкий язык, шаг вперед — марш! — командовал Тоне.

Выскочил вперед только один человек, по национальности немец, — Пауль Шиллинг, хотя из двухсот человек, как позднее выяснилось, немецкий язык знали многие.

— Так точно — знаю! — Шиллинг вытянул руки по швам. Его назначили старостой барака.

— У кого высшее и среднее образование — два шага вперед — марш!

Из этих людей назначили старших групп.

Когда были зарегистрированы плотники, столяры, сапожники, портные и другие специалисты, назначены рабочие на кухню и уборщики барака, заключенных распределили по группам. Затем Никкель махнул рукой, и из бараков иностранцев сюда устремилась толпа мужчин с чемоданами и простынями. Это были парикмахеры и портные. Они должны были привести нас в порядок, ибо с нами, как сообщил Тоне, еще будет говорить сам начальник гестапо и СД Латвии господин доктор Ланге.

Когда парикмахеры начали нас стричь, казалось, что они хотят вырвать волосы вместе с корнями. Мы уже думали, что это особые пытки в Саласпилсе, но мастера шептались:

— Потерпите, пожалуйста. Мы совсем не парикмахеры!..

Стригли нас, оказывается, жестянщики, скрипачи, инженеры, киноактеры. Чтобы хоть на день освободиться от тяже-

лой, изнурительной работы, измученные люди выдали себя за брадобреев.

— Наиболее подходящим для парикмахерского ремесла являюсь я, — еще не утратив чувства юмора, заметил некий владелец антиквариата из Брно. — Я двадцать лет «стриг» покупателей.

— А почему все делается бегом?

— Таков приказ коменданта, — пояснил кто-то. — Когда гитлеровец зовет, еврей должен бежать. Кто не слушается, того вешают.

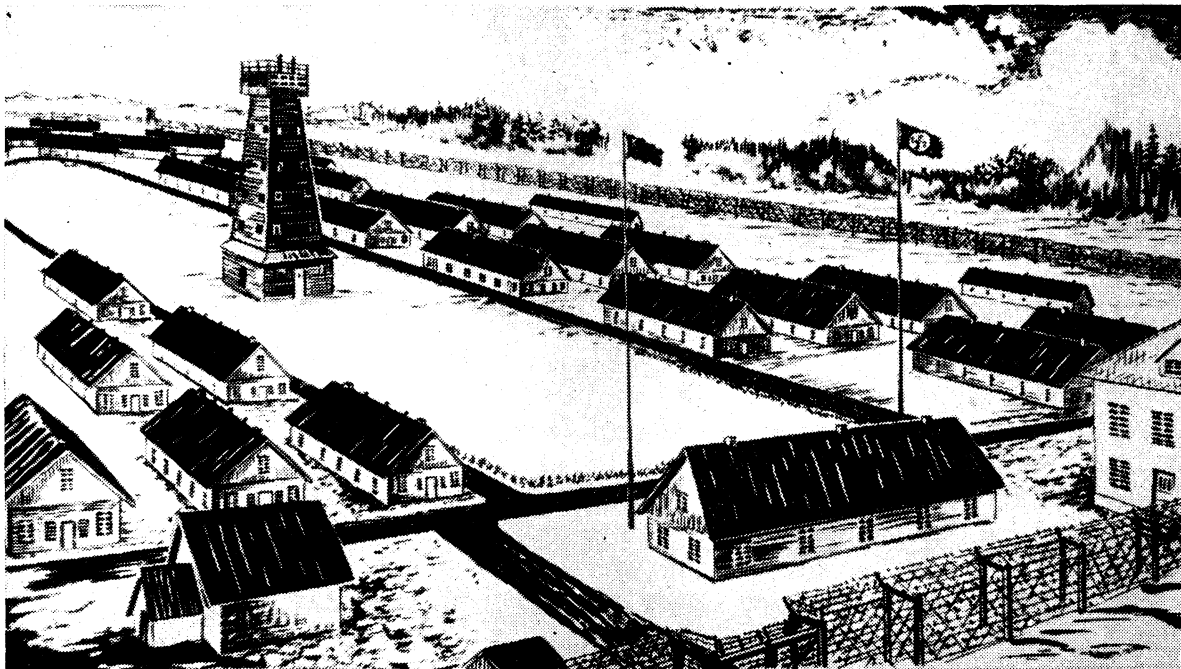
Из еврейских барачков доносились крики ужаса и отчаяния. Туда, короткая время, забрел Теккемейер. В данный момент он кого-то избивал палкой. Когда несчастный остался лежать на земле, ротенфюрер, дымя трубкой, пошел назад.

«Портные» из простыней умерших вырезали и нашили нам на спину и грудь белые ленты, шириной около восьми и длиной 30 сантиметров. Они с любопытством спрашивали, не знак ли это нашей веры...

Тоне пригрозил пальцем и сказал, как будто расслышал вопрос:

— Запомните, белый знак — хорошая цель для конвоиров, если вздумаете бежать или улизнуть с места работы!

Наконец нас привели в порядок — остригли и нарядили в одежду из мешковины. Мы снова построились. Все было готово к встрече высокого начальства. Но в этот момент мимо нас проехала похожая на полевую кухню двуколка с котлом. Ее тащили восемь человек. Они везли обед заключенным, занятым на переноске досок или ремонте дороги. Было видно, что эти люди едва волочат ноги. Они были совершенно истощены, с распухшими от голода глазами. Один из них, увидев Теккемейера, упал со страха. «Прочь! Прочь!» — кричал Теккемейер, избивая тащивших двуколку дубинкой. Люди рванулись, как лошади, получившие неожиданный удар кнутом, и резко двинули тележку вперед. Чтобы не быть раздавленным,



Так выглядел Саласпилский лагерь смерти. Этот общий вид по памяти нарисовал Карлис Буш. Двухэтажное здание (справа) — лагерная комендатура. Слева от нее караульное помещение. На площади между комендатурой и караульным помещением заключенным объявляли о наложении телесных наказаний. Порка производилась в конюшне — гараже, расположенном за комендатурой. В бараках, построенных вокруг кольцевой дороги, ютились заключенные, там же находились столярная, сапожная, швейная и другие мастерские. В самом центре лагеря — сторожевая вышка с пулеметом. Отсюда можно было обстрелять любую точку лагеря на случай бунта заключенных

упавший попытался ухватиться за двуколку. Но это ему не удалось. Рука попала в колесо и с треском сломалась. Видя, что случившееся задержит высокого гостя, Теккемейер еще яростнее стал колотить палкой. Собрав последние силы, возчики уволокли тележку за угол вместе с пострадавшим.

Перед нами уже стоял доктор Ланге, имя которого бесчисленное количество раз с ужасом упоминалось в Рижской Центральной тюрьме. Мы думали, что увидим настоящее исчадие ада с рогами и когтями, но ошиблись. Нас внимательно рассматривал статный мужчина с шрамом от рапиры на лице. На его безукоризненно сшитом кителе не было ни складочки, ни соринки. Лакированные сапоги сверкали, как зеркало. Ветер донес к нам давно забытый нежный аромат парфюмерии. Полной противоположностью внешнему виду были дела и совесть этого человека.

Ланге заговорил с нами, гордо закинув голову, вслушиваясь в свой голос и любуясь им. Он посоветовал никогда не забывать о большом доверии, оказанном нам немецкой полицией безопасности, пославшей нас сюда на работу. «Мы все забыли, — подчеркнул он, — поэтому будьте трудолюбивыми и послушными. Иначе будете сурово наказаны. Смотрите, вон виселица. На ней будет висеть всякий, кто не захочет работать и слушаться или тайком принесет в лагерь хлеб, как это сделал тот повешенный!»

Мы инстинктивно повернулись в указанную сторону. Действительно, недалеко от кухни стоял вкопанный в землю столб с перекладной. На ней, тихо покачиваемый ветром, висел человек.

В свой барак мы должны были идти мимо повешенного. У него руки были связаны за спиной и ладони как-то странно повернуты вверх. Казалось, он еще хочет тайком получить от кого-то кусок хлеба.

Ночь. Первая ночь в Саласпилсском лагере. Приземистый без потолка барак набит людьми до самой крыши. Низкие четырехэтажные нары похожи на складские полки, забитые одним-единственным товаром — униженными, замученными, бесправными людьми.

А люди ворочаются в своих деревянных гробах и с возмущением вспоминают как бы из жалости сказанные начальником гестапо и СД Ланге слова:

«Мы все забыли...»

Какое издевательство! Нас арестовали, бросили в тюрьмы, пытали, изуродовали, десятки тысяч уничтожили, а теперь убийца «великодушно» заявляет: мы вас прощаем!

Но мы, заключенные, не забыли и никогда не забудем, что изверг сделал Человеку! У нас всех перед глазами, как в кинофильме, мелькает время, проведенное в фашистской тюрьме. Кажется, что все это началось и произошло только вчера...

Рига... Фашистские оккупанты, только что ворвавшиеся сюда, разгуливают, как нахохлившиеся петухи. Я приехал в столицу и остановился у знакомых на улице Суворова. Собрался уже обратно домой, но...

Однажды утром дверь задрожала от тяжелого удара.

— Откройте! Полиция!..

Ворвались два субъекта. У обоих на рукавах повязки. Полицаи-добровольцы. Один проверяет мой паспорт.

— Почему не прописан?

— Не успел. Только что приехал.

— А! Из красной Валмиеры сбежал. Наверное, там с патриотов ногти сдирал. Теперь у самого земля горит под ногами. Пошли!

...Полицейский участок. За столом сидит, подавшись всем корпусом вперед и вытянув руки до самой чернильницы, коренастый мужчина. Как кошка, приготовившаяся к прыжку.

— Красный? — бросает он.

Притворяюсь, что не понимаю вопроса.

— Советую не хитрить, а выкладывать все наружу. Нам уже многое известно. Вот...

Он сунул мне листок бумаги. Читаю:

«За стеной моей квартиры скрывается какой-то страшный человек, ибо он крутит радио и слушает русских. Прошу забрать этого коммуниста...»

— Соседка обозналась. Я беспартийный.

— Точно так же говорил комиссар, которого вчера поставили к стенке. — Хозяин полицейского участка махнул рукой и велел увести меня.

Я уже в префектуре. Меня вталкивают в подвал. В тесном помещении уже около сорока человек, а прибывают все новые и новые. Чтобы втиснуть больше людей в подвал, нам приказывают раздеться догола, встать рядом друг с другом. Начинаем задыхаться. Когда пытаемся приоткрыть дверь, часовые бьют прикладами по рукам и колют штыками.

«Недоразумение», — думаю я, вспоминая письмо соседки, и наивно верю, что скоро все выяснится и меня отсюда выпустят.

Но надежды рухнули. Держась за стенку, в подвал ввалился тяжело избитый человек. На лбу у него зияет глубокая рана, будто нанесенная ножом. Почему с ним так безжалостно обошлись?

— Не знаю. — Человек облизывает окровавленные губы. — Они тоже не знают. Даже не спросили, как меня звать.

— Ни за что так изуродовать человека, — встревожился я.

— Даже расстреливают ни за что, — спокойно отвечает кто-то из угла подвала. — Когда Советская Армия оставила Ригу и начали орудовать местные добровольцы, одна банда, в поисках жертв, ворвалась на Рижский вокзал. Около кабинета начальника станции стоял седой старик.

«Что ты тут делаешь?» — спросили налетчики.

«Что делаю? Отвечаю за порядок на вокзале».

Этого было достаточно. Старика вывели во двор как «советского деятеля» и убили.

В действительности он был уборщиком.

В разговорах с заключенными выяснилось, до чего самовольно и жестоко действовали фашисты в Риге. Достаточно было указать пальцем: коммунист, активист, сотрудник стеной газеты — и судьба человека была решена. Его сразу арестовывали, пытали и часто без всякой причины расстреливали.

На второй день нас построили в колонну по четыре во дворе префектуры. Подвалы префектуры забиты людьми. Чтобы освободить место для новых жертв, такие колонны ежедневно гнали через весь город в Центральную тюрьму, Бикерниекские сосны. Мы повернули в сторону тюрьмы...

Центральная тюрьма... Нас регистрируют и обыскивают. На деньги и другие ценности составляют акт. Мы облегченно вздыхаем, мол, самоуправство кончилось.

Трагизма ситуации не чувствует и некий заведующий обувной мастерской. Он протягивает регистраторам свою визитную карточку и говорит:

— Господа, я здесь по недоразумению. В моей мастерской ничего незаконного не происходит. Когда формальности окончатся, я каждому из вас сошью по паре ботинок.

«Господа» — совсем еще молокососы — переглядываются и ухмыляются. Осматривают визитную карточку и спрашивают:

— Много у тебя этой кожи?

— Для всех вас хватит.

— Тогда не беда. Сами возьмем.

Когда тюремные надзиратели повели заведующего обувной мастерской в камеру, регистраторы издевались:

— С этим надо формальности кончать быстрее. Он сам того желает.

Через неделю сапожник уже лежал в Бикерниекских соснах.

Регистрация еще не закончилась, как в соседней камере раздались крики и стоны. Значит, и здесь избивают...

Первым из нашей камеры вызвали на допрос комсомольца Озола. В камеру он вернулся с разорванной одеждой, полуживой. Его били собачьими плетями, резиновыми дубинками, перчатками для бокса. Один удар угодил в глаз. Из него текла кровь и прозрачная жидкость. После экзекуции жертва должна была слизать кровь с пола.

За что его так мучили и через неделю расстреляли?

Комсомолец на каком-то собрании выступил против войны, осудил политиков, которые развязывают эту ужасную бойню народов.

Вот «преступление», за которое фашисты так жестоко наказывали!

С этого момента людей из нашей камеры стали пытаться каждый день. Заключенного Ревеля, в квартире которого нашли милицейскую форму, убийцы поставили на колени и заставили молить бога, чтобы он раздобрил допрашивающих и они не убили бедного узника, а отпустили домой. Текст молитвы подсказывали сами мучители. Наконец двое сгребли Ревеля за шиворот и изо всей силы ударили об острый косяк двери. Заключенный вернулся в камеру с рассеченной щекой и бровью.

Как только у Ревеля зажили раны, его расстреляли.

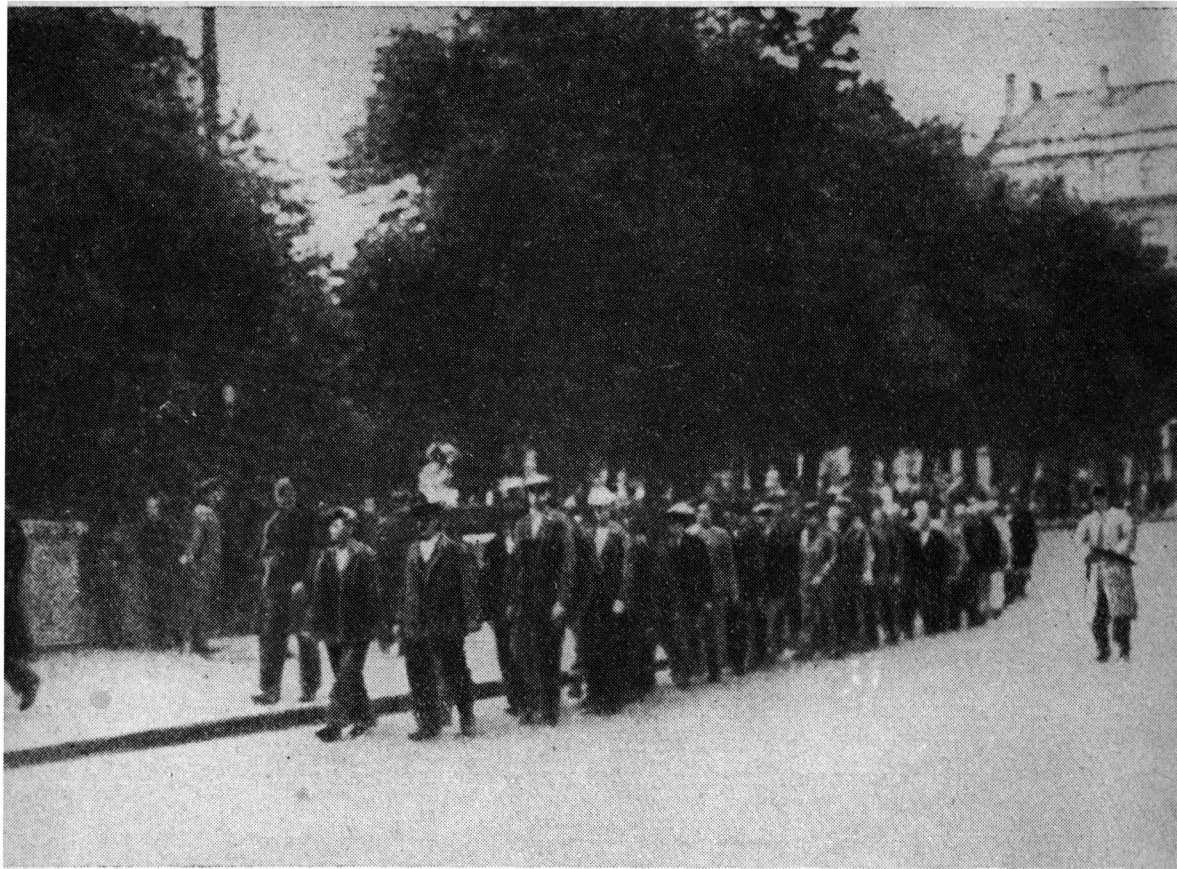
Когда извергам обычные приемы избиения надоедали, они старались придумать что-нибудь новое.

Так появился так называемый «допрос друга».

Увидев заключенного, допрашивающий притворялся удивленным и вежливо спрашивал:

— А как, дружок, ты здесь оказался?

Заключенный не знал допрашивающего, он думал, что произошло недоразумение. Но почему это недоразумение не



Тысячи мирных жителей гитлеровцы увели в тюрьмы, на расстрел. Этот фотоснимок, сделанный в Риге 2 июля 1941 года, свидетельствует о том, что кровавая расправа началась сразу же после оккупации Советской Латвии немецко-фашистскими войсками. Предатели латышского народа — добровольные полицейские еще ходят в штатском, чаще всего в одежде, отобранной у арестованных

использовать в своих интересах? И он пытался ответить столь же сердечно и вежливо: «Ну, так получилось» или тому подобное.

Допрашивающий после такого ответа вскакивал на ноги и орал:

— Что? Ты, свинья, осмеливаешься называть меня другом? Ну тогда отпразднуем эту дружбу!

В тот же миг распахивалась дверь соседней комнаты и четыре гестаповца набрасывались на заключенного. А допрашивающий причитал жалким голосом и старался уговорить гестаповцев, чтобы не забили до смерти его лучшего друга...

На следующий день из камеры, где находился одуроченный заключенный, вызывали на допрос другого. За столом сидел тот же следователь и снова начинал с «шутки»:

— А как, дружок, ты здесь оказался?

Заключенный уже знает ловушку, в камере об этом все предупреждены. Он спокойно отвечает:

— Извините, вы обознались. Я вас не знаю.

— Ах, не знаешь! — «Друг» подмигивает. — Ну тогда познакомимся.

Опять врываются убийцы из соседней комнаты, и на несчастного сыплются удары со всех сторон.

Подобные провокации происходили и при «угощении папироской».

Когда заключенный заходил к следователю, тот вежливо улыбался, кивал головой:

— Пожалуйста, закурите!

На столе в открытом металлическом портсигаре ряд соблазнительных папирос. Такая вежливость необычна и подозрительна, но какой курильщик откажется от приятного дымка? Дрожащая рука тянется за папиросой, пальцы уже прикасаются к белому мундштуку, как крышка портсигара механически захлопывается и острые края ее сдирают кожу вместе с мясом на руке, которую узник пытался отдернуть.

Следователь хохочет от удовольствия:

— Ну, значит закурил. Теперь можешь и выпить, — и заставляет несчастного выпить содержимое плевательницы.

Убийцы имеют сильных союзников: им помогают уничтожать людей и издеваться над ними голод, вши, болезни.

Уже с самого начала в тюрьме царил голод. Живя месяцами без бани, умывания, чистой одежды, люди обовшивели. Вши распространили тиф. Тифозной вши на помощь пришла дизентерия, которую влекли за собой «новый порядок» или «зеленый ужас», — так мы называли баланду из полугнилых капустных листьев, собранных весной на огородах. Этими отходами, в которых мы нередко находили и пустые ржавые консервные банки и старые подметки, нас кормили несколько месяцев подряд. У людей с голоду отекали ноги, опухали глаза, пропадал слух.

В тюрьме начался карантин. Надзиратели и санитары больше у нас не показывались. Их пугали тифозные вши, которые ползали повсюду, переходили от мертвых к живым. Их пугал невыносимый запах. Чтобы мы могли попасть в уборную, двери камер открыли, загородив только коридор, в конце которого через решетки вталкивали ящик со скудным хлебным пайком. Мы были предоставлены на милость природы. Камеры превратились в настоящие места пыток. На грязных спальных местах рядом с мертвецами стонали больные. Смерть шагала из камеры в камеру. Как призрачные тени, тянулись вокруг пустого стола живые, поднявшиеся с больничных нар. Они разговаривали сами с собой, просили хлеба у покойников. Если кто-нибудь умирал с хлебом в руках, другие подходили к нему и силой выворачивали у мертвеца пальцы. Людям хотелось есть.

...Камера интеллигентов... Так называли корпус мастерских, куда согнали из других камер и заключили писателей, художников, журналистов, инженеров, юристов, учителей, общественных работников, студентов и других представителей ин-

теллигенции. Делалось это отнюдь не для того, чтобы улучшить их условия жизни, а чтобы легче их было уничтожить. Фашисты замечали, что в тюрьме не иссякает дух сопротивления. Были случаи, когда заключенный не давал себя истязать и, схватив тюремную скамью, перед смертью расправлялся со своими убийцами. С тех пор тюремные скамьи и стулья были привинчены к полу и советскую интеллигенцию стали изолировать от остальных заключенных.

Художник Янис Айжен, работавший при Советской власти декоратором Государственного театра оперы и балета, в тюрьме был тихим и замкнутым. Вечерами, когда крыши Риги золотили лучи заката, он становился беспокойным. Вместо хлеба он просил палитру и кисти. Но не было ни хлеба, ни красок. Его продолговатое лицо становилось все бледнее. Он начал кашлять. С последнего допроса Айжен вернулся заметно повеселев. Следователи обещали его скоро отпустить домой. Через две недели художника вместе с другими отвели в лес и расстреляли.

Подобная судьба постигла и учителя Роберта Лукса, который был и литератором. Его повели на так называемый увеселительный допрос. Это случилось около двенадцати ночи, когда допрашивающие обычно возвращались с попок в рижских кабаках, прихватив с собой собутыльников. На развлечения вызывали 20—30 заключенных. Под звуки радио начинались избиения и унижения людей.

Лукса привели в камеру с рассеченной губой. Из одного уха тоже текла кровь. Прислонившись спиной к стене камеры, он отнял от губы окровавленный носовой платок и с иронией сказал:

— Господа пригрозили меня убить, если оставлю в их комнате хоть каплю своей красной крови. Наверное, потому, что крови там уже было более чем достаточно — пол залило, как на бойне.

Через несколько дней Лукса ночью вызвали вторично. Это была его последняя ночь.

Не склонив своей седой головы перед насильниками, умер известный историк и общественный деятель, депутат Верховного Совета Латвийской ССР Лиекнис. До последнего вздоха он читал нам в тюрьме лекции по истории. Однажды в полночь, когда мы снова собрались вокруг его постели, историк раскрыл мрачайшую страницу в истории латышского народа — стал рассказывать о вторжении в нашу страну немецких псов-рыцарей. В эту ночь проскрежетал замок тюремной двери и вошел надзиратель со списком. В нем значилась и фамилия Лиекниса.

— Товарищи, — спокойно сказал историк, — как видно, это мой последний урок истории. Но верьте, последний час фашистов — последователей псов-рыцарей — тоже недалек.

Не дождался пули физически хрупкий поэт-баснописец Фриц Стурис, талант, расцветший в тюрьме. Его учил известный историк-литератор, писатель и критик Рудольф Эгле, человек, который не терял бодрости духа и работоспособности даже в тюрьме. Тем, кто интересовался литературой и хотел слышать его мнение, надо было высоко забираться: Эгле лежал в сколоченной из досок нише под самым потолком. Молодые тюремные поэты несли ему править свои стихи, написанные тайком на бумажных лентах. Писатель никому не отказывал в помощи³.

Однажды Стурис продекламировал одно из своих стихотворений, где были такие строки:

Пусть бы костер подо мной разжигали —
Я вынес бы это;
И пусть бы штыками меня протыкали —
Не дрогнуло б сердце поэта.

Посмотрев своими добродушно прищуренными глазами на истощенного юношу, который походил на оципанного кор-

шуном цыпенка, писатель громко высказал ему свое одобрение:

— По внешнему виду ты хилый мальчик, а внутри у тебя, кажется, бродит сила богатыря.

Богатырской силе не суждено было расцвести. От голода Фриц Стурис становился все слабее, и тогда старший тюремный надзиратель Микельсон безжалостно избил его. Друзья отнесли юношу на постель. Он больше не поднялся.

Так фашисты в застенках префектуры, гестапо и тюрем обходились с советскими людьми. Так унижали, мучили и убивали они нашу интеллигенцию, рабочих, молодежь.

Разве мы можем это забыть?

Нет! Этого забыть нельзя!

Мы этого никогда не забудем!

...Что, уже рассвет? А кто там стучит в дверь? Допрос?

Нет, это охранник открывает ногой дверь Саласпилсского барака. Раздается команда:

— Подъем!

Через десять минут мы должны встать в строй и идти в Сауриешские каменоломни. Там нас ждет новое место работы — наполненные талой водой, холодные и мрачные ямы. Мы из них будем доставать камни.

НИКОГДА

Из барака в барак, задыхаясь, бегут вестовые. Со стороны комендатуры доносится хриплый голос, отдающий короткими обрывочными приказами. Перед бараками, стуча деревянными башмаками, выстраиваются заключенные.

— Вперед! Шагом марш!

Тысячеголовая серая масса зашевелилась, начинает плестись в сторону комендатуры. Сквозь поднятое деревянными башмаками облако пыли из уст в уста передается весть: всем

построиться у комендатуры. Значит, снова публичное наказание — повешение или расстрел.

На этот раз повешение... Там, на площади, как предостерегающий перст, уже поднялась перекладина виселицы. Наказывать будут парикмахера комендатуры Язепа Канепе. Он пытался бежать, но его поймали. Теперь его повесят в назидание другим.

Когда заключенные полукругом стали около виселицы, лагерную тишину словно ножом разрезал длинный и пронзительный гудок автомашины. Часовой его знает. Он выбегает из своей будки и открывает широкие, овитые колючей проволокой ворота. В Саласпилский лагерь смерти вкатывает автомобиль коменданта Курта Краузе. Размахивая руками, как крыльями, ему навстречу спешит староста лагеря Альберт Видуж. Как только машина останавливается, он открывает дверцу, вытягивается струной и, выкатив от натуги глаза, на исковерканном немецком языке начинает давно вбитый в голову доклад:

— Господин комендант! В ваше отсутствие в Саласпилском трудовом и воспитательном лагере было все в порядке. На работах — 2360 человек, больных — 212, в карцере — 7, умерших — 38, из них 36 детей...

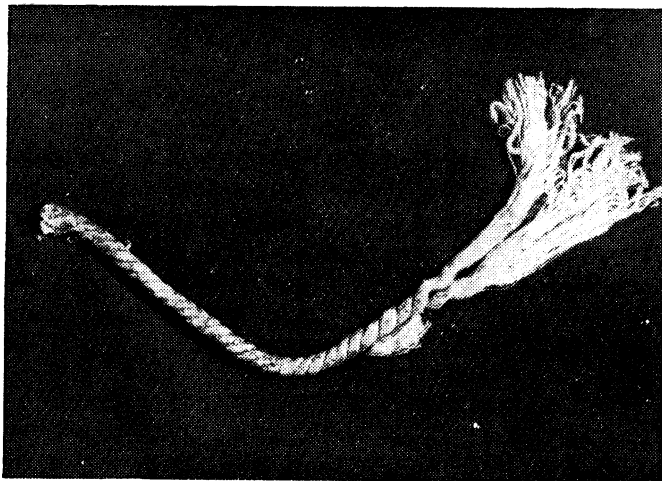
Курт Краузе поднимает руку. Это значит, что староста лагеря должен замолчать.

— Сегодня детскому бараку выдать из еврейских вещей белые простыни, — распоряжается комендант. — После обеда сюда прибудет кинорежиссер Лапениек. Он снимает фильм «Забота о детях». После этого простыни сдать обратно на склад. Продолжайте.

Видуж выпрямляет плечи и заканчивает доклад:

— Господин комендант! По вашему приказанию специальная виселица построена. Для исполнения смертного приговора все готово. Особых происшествий нет.

— Сколько сегодня будет повешено? — как будто мимохо-



Этот кусок веревки — петля с виселицы лагеря смерти, лишившая жизни многих заключенных. Этот страшный кусок веревки, сплетенный из 360 хлопчатобумажных ниток и покрытый парафином, хранится теперь в Музее революции Латвийской ССР. В 1942 году один смелый узник, проходя рано утром на работу мимо виселицы (для устрашения виселица стояла у самой дороги), выбежал из строя и ножом отрезал кусок от петли. В тот же год веревку вынес из Саласпилского лагеря техник В. Мелькис, работавший по вольному найму в строительной конторе лагеря

дом спрашивает Краузе, поправляя ошейник своему любимому Ральфу, который, выскочив из машины, зевает и потягивается.

— Один. — Видуж делает глотательное движение и, опустив глаза, ждет разноса.

Разноса не следует. Комендант поднимается по ступенькам в свою канцелярию. Староста лагеря облегченно вздыхает. Но только на короткий миг. Около двери канцелярии комендант поворачивает голову и как топором отрубает два слова:

— Парикмахера! Немедленно!

Видуж выглядит так, будто на него навалили тяжелую ношу. Он сгибается в три погибели и высказывает глубокое сожаление, что господин комендант еще не соизволили подобрать нового парикмахера.

Пухлые, как у озорного мальчишки, щеки Краузе надуваются.

— Вы болван, Видуж! Почему об этом вчера не напомнили?

— Так точно, не напомнил. Виноват... Болван. — Видуж готов провалиться сквозь землю.

Унижение и покорность успокаивают Краузе. Немного подумав, он спрашивает:

— Ну, а как со старым парикмахером?

— Все в порядке! — Видуж просиял и щелкнул каблуками. — Как уже говорил, виселица готова, ждем только вашего приказа.

— Дурак... — Комендант сморщился. — Я спрашиваю, где сейчас старый парикмахер?

— В карцере, господин комендант.

— В сознании?

— Так точно — в сознании! — бойко отвечает староста лагеря, а сам ежится. А если парикмахер ночью умер? Вчера ведь его основательно обработали. Голова пробита, один глаз вытек. А когда ротенфюрер Теккемейер вскочил ногами ему на грудь, как будто что-то хрустнуло...

— Привести! — Краузе махнул рукой. — Пускай сначала побреет меня. Потом можно и повесить.

— Но, господин комендант!.. Неужели вы?.. Я боюсь...

— Чего?

— Убийце дать бритву...

— А я не боюсь. — Краузе усмехнулся. — Он меня побреет, как никогда. Руки его будут легкие и нежные, как пушинки, бритва острая, как... — Комендант ищет подходящее

сравнение, но, не найдя его, открывает тайну: — Я же вначале скажу, что дарю ему жизнь. Понимаешь?

— Понимаю, господин комендант!

— Так привести! Марш!

Комендант взмахнул плетью, Видуж подпрыгнул, как кукла, и, сверкая желтой кожей верховых брюк, помчался в карцер.

Парикмахера комендатуры комсомольца Язепа Канепе в кабинет Краузе втащили двое охранников. Окровавленного, измученного и изуродованного, его прислонили к стене напротив мягкого кресла коменданта. Краузе сам не участвовал в экзекуции парикмахера. Он только отдал распоряжение. Теперь он мог притворяться ягненком.

— Видуж! — осмотрев изуродованного парикмахера, воскликнул комендант. — Что вы сделали с моим парикмахером?

— Он, господин комендант, не назвал соучастников побега, — оправдывался Видуж. — Я хотел обойтись поркой в конюшне, но где там. Сто ударов — и хоть бы что. Вы знаете, какая тяжелая рука у господина ротенфюрера Теккемейера, но и это не помогло. Не выдает. Молчит.

— Пойдите, пойдите, как вы сказали: не выдает соучастников побега? — переспросил комендант. — А разве он бежал? Мой парикмахер бежал! Не может быть! Бегут только от плохого господина.

— Бежал и еще взял с собой одиннадцать заключенных, — разоткровенничался Видуж. — Может быть, они уже у партизан. Нападают на наших.

Парикмахер ожил. Поднял голову. В здоровом глазу, кажется, что-то сверкнуло. Значит, остальные не пойманы. Они на свободе!

— Какая неблагодарность. — Комендант качает головой. — А я так доверял ему. Каждое утро допускал с бритвой к своему горлу. Разрешал душиться своим одеколоном. Он мог свободно ходить по всему лагерю, носить чистую одежду, белый

халат. И еще было плохо! Бежал!!! Чем это наказывается, Видуж?

— Виселицей.

— Видуж, вы с ума сошли! — Краузе начинает входить в роль. — Вы хотите, чтобы комендант выполнял служебные обязанности небритым, ненадушенным! Не хотите ли вы сравнить меня с латышским мужиком? Нет, нет, парикмахера мы не будем вешать. Он мне нужен. Он сейчас же умоется, надушится и начнет свое дело. Ну, что ты на это скажешь, парикмахер?

Но парикмахер не отвечает.

Комендант в восторге от предстоящего редкого приключения. Нет, такой шутке сам штурмбаннфюрер позавидует. Подумать только! Преступник сходит с виселицы, старательно бреет своего господина и только после этого лезет в петлю. Исключительный, неповторимый номер!

Парикмахер молчит.

— Может, у тебя нет сил? Видуж, налейте коньяку. Будешь пить?

Парикмахер качает головой.

— Не вырвали ли вы ему язык, Видуж? — встревожился комендант.

— Нет, господин комендант. — Староста лагеря извивается, как червь. — Мы только так — по голове...

Язеп Канепе приоткрыл рот и, собравшись с силами, выплюнул в сторону коменданта сгусток крови:

— Прок-ля-ты-е!

Комендант вскочил на ноги, сжал кулаки, собака тоже оскалила зубы. Но оба сдерживаются. Не хотят запачкаться. Парикмахер весь в крови и грязный.

— Увести!

Когда беглеца поставили под виселицей, на карательной площади, хлопая плетью по блестящему голенищу, появился комендант лагеря. Согнанные сюда заключенные по приказу

сняли шапки, опустили руки по швам. На расстоянии от коменданта держится староста лагеря с деревянной доской под мышкой. Комендант взмахнул плетью. Видуж подбежал к жертве и повесил ему на шею доску с надписью: «Каждого, кто попытается бежать, ждет смерть».

— Господин комендант, для наказания все готово, — доложил Видуж.

Комендант обводит взглядом зеленые мундиры охранников, проверяет, все ли пуговицы застегнуты, осматривает колонну заключенных, все ли сняли шапки. Затем он подходит к обреченному, приподнимает кнутовищем его опущенную голову, стараясь взглянуть в единственный глаз.

— Ну, дружок, разве не поспешил? Разве не сожалеешь теперь сам?

— Сожалею, господин комендант. — Комсомолец так вздохнул, что в груди что-то захрипело. — Очень сожалею.

— Вот видишь! — Комендант развел руками. — Но теперь уже поздно. Жизнь больше не вернуть.

— Не о жизни я думаю.

— Так о чем же?

— Очень сожалею, что нет сил. Я бы перерезал вам горло. Коменданта передернуло, как от удара саблей.

— Повесить! — крикнул он так громко, что даже Ральф испугался.

С ловкостью циркового артиста, который заранее знает каждое движение, Видуж втаскивает беглеца на опрокинутый ящик из-под консервов, заранее подставленный под виселицу. Подпрыгнув, он накидывает на жертву петлю и ловко выбивает ящик из-под ног.

— Палачи! — бросает комсомолец последнее слово своим убийцам.

Заключенные не успели отвести затаенное от ужаса дыхание, как изувеченное и окровавленное лицо Язепы Канепе задергалось в предсмертной агонии. Видуж слабо натянул

веревку, и ноги повешенного временами касаются земли, и он, опираясь на носки, начинает подпрыгивать, как мяч.

Белорусские колхозницы, пригнанные в Саласпилс за поддержку партизан, вскрикнули, стали всхлипывать.

— Не смотри, сынок. — Мать прижимает голову восьмилетнего сына к своему подолу, стараясь закрыть глаза мальчика ладонями.

— Не смотри, нехорошо, Васька...

Но в эту минуту к уху Васьки прикасается колючая небритая борода деда, беззубый рот, глотая слова, встревоженно шепчет:

— Открой глаза, парень! Смотри, что они с нами... Запомни...

Исхудалые, но сильные руки старика вырывают Ваську из объятий матери и приподнимают выше, чтобы он видел через головы людей.

— Запомни, запомни все, сынок! И не забудь!..

Не дыша, с раскрытым ртом Васька смотрит на сцену казни, чтобы никогда не забыть ее.

Никогда!

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Комендатура гудела, как растревоженное осиное гнездо. Oberшарфюрер Никкель басом выкрикивал приказы, подгоняя эсэсовцев. Поставив в угол толстую палку и развалившись в кресле, ротенфюрер Теккемейер нашатырным спиртом стирал с мундира пятна крови — результат его утренней прогулки по лагерю. Заставить заключенных почистить одежду у него не было времени. Только что получено известие, что сюда выехал начальник гестапо и СД Латвии — штурмбаннфюрер Ланге. И еще с гостями — дамами.

Со строительства барака отозвали двенадцать заключенных.

Они подобрали перед комендатурой каждую соринку, граблями выровняли дорожку до самых ворот лагеря.

С винтовкой на плече в барак вошел эсэсовец, взял трех заключенных и отправился в лес.

— Будет представление, — проворчал он.

— Представление? — не понимали мы, ибо нас привезли сюда из Рижской Центральной тюрьмы всего две недели назад. — Что это за представление?

Из леса заключенные вернулись с березками. Их натыкали на площади около виселицы, образовав что-то похожее на беседку. Из комендатуры принесли кресла.

На представление приказали явиться всем заключенным. Нас поставили тесным полукольцом вокруг беседки и виселицы. Вскоре появились штурмбаннфюрер Ланге, его помощник Кауфман и увешанные драгоценностями три говорливые дамы. Смеясь и шутя, гости расселись под березками, где в тот солнечный день было прохладно и приятно.

Началось представление, организованное фашистами себе на радость, нам — на устрашение.

Из иностранных бараков (так называли бараки, где содержались евреи из Чехословакии, Австрии, Польши и других государств) охранники пригнали группу бледных, измученных людей. Поставив их под виселицей, начальник охраны подбежал к гостям и доложил, что преступники доставлены.

Преступники!

Из беседки, раздвинув березки, высунулся бывший шофер такси — теперешний комендант Саласпилсского лагеря Никель. Он развернул лист бумаги и зачитал обвинение. Так вот что, оказывается, совершили «преступники»: один в рабочее время лодырничал, другой торговал вне лагеря, третий не поприветствовал коменданта, курил... Наказание для всех одно — смерть.

Засуетился палач, здоровенный детина, выбранный фашистами из самих иностранцев! У него тряслись колени, но не

выполнить распоряжения означало самому идти на виселицу. Этот трус стал убийцей своих соотечественников.

Первым повесили сторбленного годами мужчину — за лодырничество. Неся доски с пилорамы к новостройке, он в бессилии упал и с минуту лежал на земле. Когда палач надевал на шею опухшего от голода старика петлю, тот повернул голову в сторону беседки, крикнул высоким ломающимся голосом непонятные нам слова и прижал руки к груди. Так он и умер — с открытыми глазами, полными презрения к своим палачам.

Гости взвизгнули:

— Господин доктор, сядьте впереди нас... Этот человек так страшно смотрит...

— Что вы. — Ланге пожал плечами. — Разве это человек!

Величаемый доктором господин говорил так громко, чтобы каждое его слово слышали и заключенные, стоявшие близ беседки. Он давал им понять, что здесь, в лагере, заключенных не считали и не будут считать за людей. Затем Ланге отодвинулся дальше от дам и обломал свисавшую ветку березы, чтобы лучше видеть место казни.

Людей убивали по испытанному на практике фашистскому методу. Когда первый повешенный был снят и его труп уложен на траву, эсэсовец скомандовал живым, которые один за другим стояли около виселицы:

— Шаг вперед — марш!

Обреченные делают еще один шаг по направлению к смерти. Для стоящего впереди это последний шаг, остальным остается один, два, три — как кому.

Под петлю становится человек, наказываемый за запрещенную торговлю. На набережной Даугавы он выменял у рабочих пилорамы на последнюю рубашку кусок хлеба. Сегодня у него пиджак надет на голое тело. Он покупал жизнь, а купил смерть.

И снова звучит команда:

— Шаг вперед — марш!

Третьего, известного во всей Европе австрийского музыканта, повесили за неприветствие. Он вовремя не снял шапку перед бывшим мясником, теперешним помощником коменданта лагеря ротенфюрером Теккемейером.

Колонна осужденных становится все короче, а число снятых с петли растет. Однако доктор не удовлетворен: мало крови, мало предсмертных криков. Караемых так замучил Саласпилсский лагерь смерти, что им все стало безразличным. Им больше ничего не жаль. Даже жизни. Виселица их не пугает, не волнует. Кажется, они желают скорее уйти из этой грязной атмосферы. Вот обреченный на смерть залезает на скамью, поднимает голову и сам набрасывает себе петлю на шею. Ни одного крика испуга, ни одного нервного движения.

Но Ланге нравятся человеческие слезы, боль, страдания. Он жаждет крови. Прибыв в лагерь, он всегда направляется на охоту. Недавно он около пилорамы пустил пулю в голову чешскому юристу, присевшему на доски отдохнуть. Такая же участь постигла профессора Пражского университета, который, спрятавшись в вереске, варил картофель, тайком раздобытый у сочувствующих людей. Даже накануне своей свадьбы — это уже было к осени — Ланге приехал сюда, в лагерь, и стал вешать и расстреливать людей.

Доктор Ланге жаждал крови и в тот день.

— Прекратить! — раздается его команда из беседки, и палачи поспешно снимают петлю с шеи очередной жертвы.

Господа совещаются. Дамы сидят, от острых переживаний стиснув голову руками, и молчат. В караульное помещение мчится вестовой. Спрятав трубку в карман, поднимается Теккемейер и расстегивает кобуру пистолета. Он направляется к повешенным, сложенным на земле и, как обычно, каждому вгоняет пулю в ухо. Вернувшись к дамам, он поясняет:

— Иначе нельзя, уважаемые. Люди большие симулянты

и жулики. В лагере был случай, когда повешенный ожил, но, притворившись мертвым, добрался живым и здоровым до кладбища! С того времени меня не проведешь...⁴

Из караульного помещения уже явились шестеро молодчиков, заспанных, угрюмых, наверное поднятых со сна. Не казенных еще «преступников» перестраивают. Их ставят спиной к охранникам на значительном расстоянии друг от друга. Лязгают затворы винтовок. На сей раз жизнь будет измеряться не шагами, а секундами. Только несколькими секундами. Командир — светловолосый юнец старается принять торжественную позу. Залп. Видно, как от пуль подергиваются туловища. Один падает ничком, другой только покачнулся. Третий подпрыгивает в воздухе, будто нечаянно наступил на раскаленное железо. Кто-то валится набок, вытягивает ногу и руку, и, как бы в шутку, дергает ими...

— Смотрите, смотрите, как странно и по-разному реагируют на ранение нервные центры! — в восторге восклицает Ланге, припоминая другие совершенно непостижимые случаи.

Однажды в Юмправмуйже он застиг заключенного, который тайком пек на костре лягушку. Преступник так испугался его, что с ним случился нервный паралич! Он совсем не почувствовал вонзающуюся в ухо пулю, стал извиняться и оправдываться. «Простите, господин штурмбаннфюрер, это не мясо...»

Первый залп скосил не всех, еще стоит смуглый мужчина. Красные пятна, расплывающиеся на рубашке, свидетельствуют о том, что в его спину вошло несколько пуль. Но он не падает. Он резко поворачивается к стреляющим молодчикам, идет к ним навстречу и протягивает руку для приветствия.

Залп. Все убиты. Представление окончено. Господа и дамы встают.

— У вас крепкие нервы, господин доктор. — Одна из дам спешит накрасить губы.

— У меня? Вешал ведь еврей, стреляли латыши, — наиг-

ранно удивлялся Ланге, пожимая плечами и оставляя дам на попечение Кауфмана. Он с Теккемейером должен еще проверить расстрелянных. Не остался ли кто в живых.

Вечером около кухни комендатуры собрались охранники, которые приводили приговор в исполнение. Штурмбаннфюрер приказал выдать им дополнительно по сто граммов мармелада.

КОНЕЦ КАНГАРА*

Настоящее его имя было Кандер, но мы звали его Кангар. В Саласпилсе он делал то же самое, что семьсот лет назад его тезка — предавал свой народ.

Этот мрачный, всегда насупленный, малоразговорчивый садист выполнял в лагере роль чиновника по особым поручениям. Он расследовал нарушения, совершаемые заключенными: например, усталый узник присел на работе или пытался тайком отправить письмо родным. За малейшее нарушение комендант по предложению Кандера присуждал до ста ударов и затем зачислял избитых еще в штрафную группу. Фактически человек приговаривался к смерти.

Неизвестно, какими методами Кандер принуждал даже невиновных людей признаваться. Из его кабинета заключенный выходил с выпяченными от ужаса глазами и дрожащими руками. Если у него спрашивали, что Кандер сделал, тот не отвечал, а только хватался за голову.

— Ужас... Не спрашивай... Нельзя говорить...

Есть ли сегодня среди живых хоть один человек, кто по инициативе Кандера получил сто тяжелых ударов и выдержал затем штрафную группу? Он мог бы открыть страшную тайну, связанную с кабинетом Кандера. Сам Кандер не может этого

* Кангар — имя предателя из латышского фольклора, ставшее нарицательным. (Прим. ред.)

сделать. Его больше нет. Его настигла смерть у его же инквизиционного стола летом 1943 года.

...Однажды во второй половине дня (об этом рассказали заключенные, дежурившие в комендатуре вестовыми-бегунами) после короткого телефонного разговора заведующий канцелярией Бергер подошел к коменданту Никкелю и встревоженно доложил, что близ станции Саласпилс шатаются трое подозрительных людей. Человек, который сообщил об этом, полагает, что это парашютисты, и просит коменданта срочно вмешаться.

— Будем действовать, конечно, — проворчал Никкель и уже подпоясал ремень с пистолетом, но, дойдя до двери, остановился в раздумье.

— Парашютисты? Но у них ведь оружие! Выделите сильную охрану и...

— Будет сделано! — Бергер незаметно ускользнул, боясь, что комендант назовет его имя.

Через час охрана привела в лагерь трех мужчин. Один из них — высокого атлетического роста был спокоен, казалось, даже усмехался. Двое пониже, в спортивных куртках, были явно взволнованы. Ну что это за парашютисты!

— Обыскать! — приказал Никкель конвоирам.

Наклонившись, охранники обыскивают задержанных с головы до ног. Потом ведут в комендатуру и передают в распоряжение чиновника по особым поручениям Кандера.

Самому коменданту Никкелю и заведующему канцелярией Бергеру сейчас некогда заниматься бродягами. Пусть Кандер проделает черную работу — выяснит, что это за птицы. Никкеля и Бергера ждут более приятные дела. Сначала надо их уладить...

Со всех барачков уже гонят в сторону комендатуры по два, по три узника. Их выстраивают на площади перед комендатурой. Пришел час очередного объявления и исполнения приговоров. Кандер снова поработал на славу: в двух рядах



Перед экзекуцией.
Рисунок А. Грибулиса

сорок человек. Каждый из них получит по 25, 50 или даже 100 ударов.

Теккемейер уже прохаживается по дорожке, размахивая плетью. Что за чудесная штука, если на стальную плеть натянуть тонкую резину! Серая потрепанная одежда заключенных рассекается от одного удара. От трех ударов уже брызжет кровь. Тот, кто получил десять, пятнадцать, тот уже умолкает и теряет сознание. Больше двадцати пяти ударов никто не выдерживает. Поэтому после этого числа экзекуцию прерывают. Те, кому присуждено больше ударов, должны приходиться в конюшню и ложиться на скамью для порки еще один, два, а то и три раза... Разумеется, когда заживут раны.

Орудия порки — резиновые дубинки держат в руках также Никкель и Бергер. Они также с нетерпением ждут, когда можно будет пойти в конюшню. Порка людей — это же единственное физическое занятие и спорт лагерного начальства. К тому же довольно тяжелое. Поэтому тренировки всегда назначаются после сытного обеда и дневного отдыха.

Никкель сует свою дубинку под мышку, вынимает из нагрудного кармана пиджака составленный Кандером приказ и читает:

«Комендант Саласпилского трудового и воспитательного лагеря...»

Он останавливается. Что такое? В комендатуре раздался выстрел? Что он, Кандер, с ума сошел! Это уже слишком. Второй выстрел. Фашисты в недоумении оборачиваются в сторону комендатуры.

На лестнице комендатуры с пистолетом в руке появляется задержанный мужчина атлетического сложения. Он наводит пистолет на палачей... Но почему нет выстрела? Оружие отказало! С напряженным лицом мужчина целится то в одного, то в другого фашиста, но пистолет не стреляет. Именно теперь, когда час мщения настал!

Саласпилские палачи так перепугались, что даже не шеве-

льнулись! Прошло немало времени, пока они опомнились и схватились за пистолеты.

Видя, что оружие не действует, храбрец крякнул, будто поднимая тяжелую ношу, схватил пистолет за ствол и размахнулся.

Поздно. Несколько пуль впиваются в него. Как подкошенный, он падает.

На лестницу комендатуры выбежали и остальные двое задержанных. Фашисты направляют пистолеты на них. Но стрелять нет необходимости. Оба стоят с поднятыми руками.

Испуг переходит в злость. Фашисты раздевают обоих парней догола, перед тем засыпав им в глаза песок. Потом связывают им руки за спиной и начинают избивать камнями, ручьями пистолетов, ногами.

— Где оружие? Сдать оружие!

Никто не заметил, как атлетический мужчина зашевелился, уперся руками в песок и встал. Кто придал ему нечеловеческие силы вырваться из оков смерти? Ответ был написан на его лице: неугасимая ненависть к поработителям и убийцам народа. Смертельно раненый человек бросился на фашистов с кулаками, и они остались крепко сжатыми, когда его вторично свалили пули.

В тот день комендант издал особый приказ, в котором выразил сожаление по поводу того, что при исполнении служебных обязанностей погибли чиновник по особым поручениям Кандер и обершарфюрер Дзенис. Комендант подчеркивал и одновременно предупреждал: если бы пал хоть один немец, в лагере был бы расстрелян каждый третий заключенный.

Гитлеровцы ценили себя очень высоко. Они несколько не смущались, что такой приказ унижает их латышских приспешников. Подобные случаи в лагере повторялись часто. Когда Саласпилсскую комендатуру принял Курт Краузе, староста лагеря Видуж, всегда и везде лебезивший перед господами,

побежал открыть дверь новому начальнику. Однако Краузе эту услужливость истолковал иначе. Ему показалось, что Видуж хочет первым войти в комендатуру. Он пнул его ногой и рявкнул:

— Свинья! Как ты осмеливаешься лезть вперед коменданта! Видуж отскочил, как ужаленный, и вытянулся:

— Так точно, господин комендант! Виноват!

Все это происходило на глазах у других работников комендатуры и охраны. Этот оскорбительный пинок видели и многие заключенные, которые работали вблизи комендатуры. Видуж потом отомстил за это. До полуночи гонял он их по кольцевой дороге, напрасно стараясь смыть свой позор.

Ежедневно подвергались унижениям фашистов и молча сносили их латышские добровольцы, которые несли службу охраны. Однажды, явившись в лагерь, Ланге, как обычно, вышел на «охоту». Стреляя какому-то еврею в упор в ухо, он забрызгал кровью свою белую замшевую перчатку. Ланге подзвал пальцем конвоира, оказавшегося поблизости. Не подпустив его к себе, он издалека бросил ему перчатку. Конвоир не поймал перчатку, и она упала в песок. Ланге поднял ее сам и стал бить ею конвоира по обеим щекам.

Эту сцену также видели многие заключенные.

— Если у охранника было бы хоть немного собственного достоинства... — смотрели мы, затаив дыхание.

Униженный, вымазанный в кровь, стоял доброволец, как ягненок, вытянув руки по швам. У него не было ни собственного достоинства, ни совести. На другой день стоило Ланге кивнуть головой, и он, задыхаясь, бежал мучить и убивать своих соотечественников. Это был отщепенец латышского народа...

Но что же произошло в комендатуре?

По всей вероятности, Кандер, как обычно, начал допрос с пыток. Но на сей раз ему попался вооруженный, отважный, полный собственного достоинства человек. Да, вооруженный.

Никому не удалось догадаться, где он спрятал свое оружие. Но оно вдруг оказалось в его руках. Он выстрелил Кандеру прямо в сердце. Палач успел написать только два слова: «Протокол допроса...»

Услышав выстрел, в комнату Кандера вбежал эсэсовец Дзенис, который в коридоре комендатуры охранял остальных двух задержанных. Ему тоже хватило одной пули.

Если бы задержанные воспользовались оружием обоих застреленных фашистов и напали на охрану, они могли уничтожить ее и выйти из лагеря невредимыми. Почему они этого не сделали? Видимо, оба юноши в спортивных куртках с парашютистом (так мы называем убитого по сей день, хотя не знаем, кем он был в действительности) встретились случайно. Поэтому они и не вмешались в трагический конфликт. Они надеялись остаться в живых и подняли руки.

Продырявленного шестью пулями парашютиста бросили под досчатый навес и оставили там на ночь. Как только эсэсовцы ушли, у его ног появилась охапка вереска — единственных цветов в Саласпилсе.

В ту ночь Саласпилский лагерь был встревожен и таинственен. Казалось, вокруг бродят тени. Пренебрегая опасностью, узники тайком вылезали через окна бараков и ползли к досчатому навесу. Все хотели видеть смельчака, лежавшего там со сжатыми от ненависти кулаками. Он как бы наказывал заключенным: «Держитесь! Борьба еще не закончена!»

ДРАГОЦЕННОСТЬ САЛАСПИЛСА

Он уже давно стоял в конце кухни. Его приподнятая голова с едва приоткрытыми губами и прищуренными глазами слегка дрожала. Временами он напоминал человека, который дегустирует редкое вино или слушает чудесную музыку.

Мы сидели вдоль кухонной стены с замотанными в тряпье

ногами и кололи камни. В лагере строили большую кольцевую дорогу. Двенадцать мужчин, впряженные, как лошади, тащили дорожный каток.

— Эй, что ты там делаешь? — окликнул кто-то из нас стоявшего.

Человек встрепенулся, будто пробужденный от сна.

— Он ведь не понимает. Или не видишь: желтая звезда на спине. Иностранец. Ребята, кто знает немецкий?

Кто-то знал.

Испуганно озираясь, иностранец подошел ближе. Нам не разрешалось встречаться, разговаривать, брататься. За это грозила даже смерть.

— Я пью, — ответил он.

— Пьешь! Но что?

— Запахи.

Мы переглянулись. Ну и плетет...

Склад полон силоса «новая Европа», вчера туда вкатили еще десять бочек с гнилыми головами салаки, только что сгрузили три тонны посиневших лошадиных ног, а ему — запахи. Кругом такая вонь стоит!

— О нет! — запротестовал чужак и издали как бы погладил рукой стену кухни. — Там, в том углу, хлебный склад. Разве вы не чувствуете? Я открыл его и прихожу сюда каждый день. Прихожу понаслаждаться, попробовать, точно как в рижской гостинице «Рим», — усмехнулся он.

— Вы из Риги? — удивился переводчик.

— Нет, я жил в Праге, Чехословакии. Но Ригу никогда не забуду. Точнее говоря, гостиницу «Рим». Останавливался я в ней только раз, а из памяти не выходит.

— Понравилось?

— Тут что-то совсем другое... Разрешите, я присяду около вас. Если тут долго стоять и разговаривать, увидит Теккемейер. Это чудовище утром уже переломило одному позвоночник палкой. Инженеру, умному человеку. Он в свое время обору-

довал автоматическую телефонную станцию во Франкфуртена-Майне.

Пододвинули здоровенный булыжник и пригласили гостя присесть. Выставили наблюдателей, чтобы не накрыли фашисты. Нарочно постукивали молотками.

Наш гость поднял с земли серый каменный осколок и некоторое время рассматривал его, будто там написано, о чем ему говорить.

— Я владелец бумажной фабрики, — начал он. — Миллионером не был, однако угостить всех вас великолепным ужином в ресторане «Рим» мог бы за деньги, которые обычно носил в кармане жилета. Между прочим у меня были торговые связи и с вашей Латвией. Если не ошибаюсь, в 1936 году я поставил вашему государству высшего качества бумагу для денежных знаков и вексельных бланков. Извините, я, возможно, допускаю бестактность, говоря «вашей Латвии, вашему государству»? Знаю, что прогрессивные люди в то время ее не считали своей... Одним словом, я приехал в Ригу заключать договор. Остановился в гостинице «Рим» и занял целый этаж.

— Что? Целый этаж? — заставили мы переводчика переспросить.

— Разумеется, — подтвердил рассказчик. — Мне же надо было принимать государственных чиновников, финансистов, руководителей хозяйственных организаций. Банкеты и обеды происходили каждый день. Помню, у вас очень ароматный лосось, сочные индюшки и нежное жаркое кусули...

— Кончай, кончай, — проворчал кто-то. — Начинает сводить живот...

— Что ваш товарищ сказал? — спросил рассказчик.

— Он говорит: такие лакомства нам теперь бы пригодились, — пошутил переводчик.

— Вы очень нетребовательны, — удивился пражанин. — Я хотел бы чего-нибудь получше, что тоже можно было



Строительство дороги.
Линогравюра К. Буша

получить в гостинице «Рим». В то время я пренебрег этим, зато теперь и думаю каждый день.

— Господин остается господином, — толкнул меня в бок дворник из Риги, попавший в Саласпилс за передачу хлеба военнопленным. — У самого глаза опухли от голода, а еще бракует жаркое. Тьфу!

Рассказчик не обратил внимания на реплику. Он продолжал:

— Это случилось вечером, накануне отъезда из Риги. Пришел я в гостиницу с банкета, который в честь меня давал министр финансов. Мой изысканный желудок, любивший все легкое, измельченное, взбитое, не был удовлетворен. Не осмелившись соревноваться с латышскими желудками в переваривании свинины, гусятины, миног и лососины, он остался полупустым, а сам я — нервным и раздражительным.

В полночь я велел позвать из ресторана официанта.

Притопал старый, седой мужчина, уже порядком сторбленный от частых поклонов.

«Ужин!»

«Как прикажете, господин!» — Официант, пятясь, исчез и через минуту положил передо мной меню и серебряную хлебницу, покрытую белой-пребелой салфеткой.

Прочитав меню до половины, я начал кричать. (Следует заметить, что от шампанского был изрядно навеселе.)

«Опять свиньи и гуси! Опять миноги, угри и лососи!» — Я, размахивая руками, сорвал белую салфетку с хлебницы. И что я увидел! Рядом с ломтиками белого лежал черный хлеб, который по совету врача я не ел уже семь лет. От злости я стал хрипеть.

«Грубый ржаной хлеб! Вы что, хотите меня убить? Хотите, чтобы я получил заворот кишок! Вон!»

Я скинул хлебницу со стола, и она покатилась по паркетному полу в сторону камина.

«Господин, что вы делаете, — официант так пронзительно

вскрикнул, что я даже испугался. — С хлебушком так нельзя! Он наша жизнь!»

Он опустился на колени и бережно подобрал каждый ломтик. Последний кусок он громко поцеловал и сунул в рот. Затем повернулся ко мне спиной и ушел. Он презирал меня.

Я уехал из Риги, не попробовав вашего ржаного хлеба. Я знаю: он был хорошим. Даже Федор Шаляпин ценил его. Когда он после гастролей в Риге уезжал в Париж, из гостиницы «Рим» ему две недели подряд самолетом посылали ржаной хлеб. Об этом писали все газеты Европы. А я этот самый хороший хлеб не оценил, охаял...

Рассказчик закрыл лицо руками:

— Я вижу его каждый день. Он валялся на паркетном полу. Вижу старого официанта, который стал на колени. Мне кажется, что он тогда молил хлеб простить меня. Теперь я это делаю каждый день. Жалкий и униженный прихожу сюда, чтобы склонить голову перед хлебом и вдохнуть его аромат.

Иностранец стал дрожать и всхлипывать. Голод и тяжелые переживания сломили его физически и духовно.

— Скоро ли обед? — рассеивая мрачное настроение, спросил переводчик.

Пражанин поднял голову, внимательно огляделся вокруг и завернул рукав левой руки. На высохшем локте мы увидели маленькие золотые часы с разукрашенной бриллиантами цепочкой. Часы показывали полдвенадцатого.

— Какая драгоценность! — воскликнули мы.

— Что вы! — возразил владелец часов. — Самое дорогое я ношу только за пазухой, около сердца.

Он вытащил из внутреннего кармана белый лоскуток и развернул кусочек грубого ржаного хлеба.

— Вот что самое дорогое, вот — наша жизнь. Его мне, как собаке, бросила на набережной Даугавы старая пастушка. Подать она не решилась: гитлеровцы за сочувствие строго наказывают. А это, — пражанин пренебрежительно спрятал доро-

гие часы в рукав, — смерть! Если гитлеровцы увидят — смерть! Вчера у венского фармацевта, который чистил Теккемейеру сапоги, выпало из грудного кармана золотое кольцо с камушком. Теккемейер поднял его и сунул в свой карман. «Ты, наверное, забыл приказ, что ценности надо сдать в комендатуру?» — угрожающе спросил он и, когда сапоги были почищены, выстрелил «преступнику» в голову. Нас вешают даже за два золотых зуба. Поэтому мы выламываем их изо рта сапожными щипцами. Выламываем и бросаем в уборную. Я знаю, в окрестных лесах спрятано много драгоценностей. Особенно, когда вокруг лагеря еще не было колючей проволоки. Тогда каждый день...

— Комендант! — шепнул прибежавший наблюдатель и сам втиснулся между каменотесами.

Мужчина с желтой звездой сунул лоскуток с саласпилской ценностью за пазуху и, сгорбившись, уполз вдоль кухонной стены.

Почти одновременно стали стучать молотки. Разбрызгивая искры, кололись камни.

В ТОМ ДВОРЕ СМЕХ НЕ РАЗДАВАЛСЯ

Акилина Лелис



не нравится присесть у окна и смотреть вниз во двор. Это обыкновенный двор; во многом он напоминает десятки других — штабели дров, цветы и... дети. Все равно, светит ли солнце, пасмурно ли или дует ветер, — в любую погоду наш двор полон жизни. Не умолкают звонкие, беззаботные детские голоса.

Детские...

Всегда, когда я слышу эти голоса, этот ликующий смех, у меня сердце сжимается от боли. Вспоминается другой двор — деревянные бараки, колючая проволока и... тоже дети. В том дворе смех не раздавался: дети были... живыми трупами.

Да, в Саласпилском лагере смерти находились тысячи детей, которые разучились там смеяться.

Помню, как их привезли.

Стояла суровая зима 1943 года. Гитлеровцы пригнали сюда простых советских людей из разных концов Белоруссии. Несчастные тогда еще не знали, что здесь будет их могила. У них отняли все — одежду, продовольствие и... детей.

Была, помню, ужасно холодная февральская ночь. Вдруг мы

услышали громкие голоса фашистов. Привезенных выгнали во двор и заставили раздеваться.

— В баню поведем! — сообщили им коротко.

— Голых?

— А вы как хотели? Может, в вечерних платьях из парчи и смокингах? — издевались над несчастными фашисты.

Они могли себе это позволить: в их руках были оружие, плети, смерть.

В баню гнали всех вместе: мужчин, женщин и детей. Делали большой крюк мимо лагерных бараков, чтобы дорога была длиннее. Февральский мороз захватывал дух. Мы слышали, как плакали дети, прижимаясь к матерям, чтобы согреться. Как спасти крошек от объятий ледяного ветра! Матери со слезами на глазах прижимали к себе малышей (там были и грудные дети), дышали на них, растирали и гладили голыми окоченевшими руками. Старшие (в возрасте от двух до девяти лет) кое-как топали сами. Они плакали и умоляли, чтобы мамы отвели их домой. Мороз жег их маленькие ножки, а дорога была длинной и смех эсэсовцев издевательский. Казалось, они не видят стянутые болью в гримасу личики, не слышат отчаянные голоса. От фашистов нельзя требовать человечности. Они не знали, что это такое.

Мы в ту ночь не спали — просто не могли, слыша стоны несчастных. Голыми они должны были пройти километр туда и обратно. Многие малыши не дожили и до утра. Кое-кто из младенцев замерз на обратном пути, и несчастные матери напрасно старались своим дыханием раздуть искорку уже угасшей жизни. У остальных детей ночью или на другой день начался жар. Через несколько дней угасли и они. А оставшихся в живых отняли у родителей. Мы слышали, с каким отчаянием упрашивали матери:

— Пожалейте! Оставьте наших детей! Пожалейте!

Гитлеровцы оставались глухими. Они ничего не слышали, ничего не чувствовали. Бессердечные, как камни, и безжалостные,

как варвары, — они спокойно вырывали детей из рук матерей и запирали их в отдельные бараки. Малыши прилипали к окнам, стучали и звали, просили и плакали...

В бараках, куда поместили малышей, не прекращался детский плач и стон.

— Мамочка, мамочка, не уходи!

— Мамочка, останься!

— Мамуличка!

Наш барак находился недалеко от детей, и мы все слышали. Слезы, стоны и отчаяние. Там находились дети до шести лет. Старших посадили на машины и увезли. Куда? Никто этого не знал. Никто из увезенных не вернулся. Потом увезли матерей. Они тоже не вернулись.

Около двадцати наиболее красивых девушек нарядили в одежду убитых евреек и тоже увезли. Их увезли в Ригу, в публичные дома для развлечения гитлеровских офицеров.

В лагере остались самые маленькие. Без матерей, без присмотра — на произвол судьбы.

— Надо помочь! — решили мы. Несколько женщин взялись ухаживать за детьми. Я в то время работала в швейной мастерской, и меня не хотели отпускать. Но кого-то надо было посылать в барак к заключенным детям — им нужен был уход. Малыши не так быстро умирали, как того желали фашисты.

Когда мы, несколько женщин, которым доверили уход за детьми, явились в барак, перед нами открылась страшная картина.

В бараке на голых нарах лежали полуголые дети разных возрастов. Некоторые из них умели только ползать, многие не могли даже сидеть. От ужасного запаха можно было задохнуться. Пятьсот детей в течение нескольких дней все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке. Грудные так перепачкались, что не видать было глаз.

Прежде всего требовалась теплая вода. Узники мужчины



К Буш

У матерей отнимают детей.
Линогравюра К. Буша

пришли на помощь, раздобыли посудину и нанесли воды. Прошло двенадцать часов, пока всех детей обмыли. Но как одеть, во что? Имевшаяся у одного-другого ребенка одежда была вся в грязи и вшах. Ее сожгли. Кое-что собрали в женских бараках, пошили пеленки и рубашечки. Наконец дети были прибраны. Но это было самое простое, чем мы могли помочь.

Младенцы жалобно плакали. Те, что были постарше, цеплялись за подол. Все просили одного и того же:

— Тетенька, хотим есть! Очень, очень хотим!

У нас ничего не было, мы сами получали тот же голодный паек, что и они: кусочек хлеба, кружечку черного кофе и тарелку вонючих щей. А грудным детям нужно молоко. Где же его взять?

— А что, если поговорить с Юрием? — предложила моя подруга по бараку.

— Действительно, Юрий Видже работает на кухне. Он мог бы помочь...

— А пойдет ли он на это?

— Захочет ли он рисковать своей жизнью?

Юрий Видже согласился. Ради детей. Ради чужих детей. Но разве мы были чужими? Нет! Мы были членами одной несчастной семьи. Вместе будем бороться, вместе умрем. Таков был наш девиз, давший нам силы выстоять.

Юрий тайком доставал молоко из кухни комендатуры. Мы разбавляли его кипяченой водой и давали младенцам и самым слабеньким. Но... их становилось все больше...

Самых маленьких и слабых мы разместили на первом ярусе нар — они требовали больше внимания. В бараке все больше и больше распространялись различные болезни: корь, дизентерия... Просили фашистского врача осмотреть детей, дать лекарства. Но он равнодушно махнул рукой:

— Одним больше или меньше...

Ежедневно умирали десятки детей. Трупы, как поленья, складывали в ящики и увозили.

Наконец из Риги прибыл фашистский врач и привез какие-то медикаменты, которые велел давать всем детям. От них малыши сразу умирали. Мы поняли, что здесь никого не беспокоит судьба несчастных детей. Наоборот, гитлеровцы хотят быстрее избавиться от них. Лишний балласт в лагере. И мы не искали больше этих гитлеровских «врачей». Поговорили со своими людьми. Среди нас тоже были врачи, например доктор Бдил и Олейников.

Лекарствами эсэсовских врачей Бдил был чрезвычайно возмущен:

— Негодяй! Это же умышленное убийство детей! Ни в коем случае больше не давайте их!

— А что делать с клизмой? Ее заставляют приготавливать из детской мочи...

— Чтобы быстрее освободиться от детей? — воскликнул доктор Бдил. — Нет, ни в коем случае!

Мы послушались своего товарища. Однако наши заботы мало помогали. С каждым днем детей становилось все меньше и меньше, все выше были нагруженные трупами возы, которые отправлялись на «кладбище»... Угасла и моя любимица Вероника.

Маленькая Вероника! Ей было только пять лет, а взглянешь в глаза — сердце сжимается от боли. Так смотрят лишь взрослые, прошедшие сквозь трясину жизни. До сих пор вижу, как она металась по своим нарам, обхватив головку слабыми ручонками.

— Моя бедная бабушка, — время от времени вспоминала она и всхлипывала.

Другие плакали, а она никогда. Поэтому, наверное, Веронике было намного тяжелее. Рано она повзрослела. Как-то взяла я ее на руки, поднесла к окну. Девочка снова вспомнила свою бабушку. В это время двор переходила какая-то сгорбившаяся женщина.



— Видишь, Вероника, вон твоя бабушка! — умышленно солгала я девочке.

— Не говорите так, тетя. — Она по-взрослому печально покачала головой. — Мою бабушку замучили гитлеровцы...

И потом я слышала об ужасной трагедии родных Вероники. Когда немцы узнали, что отец и мать девочки сражаются за свободу Родины, они подожгли родной дом Вероники, а деда и бабушку убили на глазах девочки.

Мне стало стыдно за свою ложь. Я старалась как-нибудь развеселить девочку, но мне это не удавалось. Однажды утром маленькую Веронику, как и многих других детей, вынесли из барака и бросили на телегу.

Она угасла тихо, как свеча, которую медленно пожирает пламя. Жизнь девочки унесли голод, боль и насилие.

В бараке снова показался фашистский врач:

— Какие дети здесь самые здоровые?

Вначале мы не поняли, что означает этот внезапный интерес. Мы показали. Но наша откровенность для многих детей оказалась роковой. Врач у этих самых «здоровых» взял кровь, и через несколько часов они уснули навеки.

Однажды нам сообщили: в лагере будет оборудована детская больница. Только теперь, после того, как болезнь скосила сотни детей! Какой она будет, эта гитлеровская больница! Какие приемы убийства там будут испытывать! Из моей группы туда поместили десять детей, вернулась только половина. Войдя в барак, они ласкались ко мне, плакали и просили:

— Милая тетенька, не посылай нас обратно в больницу. Пожалуйста, не посылай!

— Мы не хотим туда!

Как перепуганные птенцы, они забились в самые темные углы верхних нар. Что они вытерпели в больнице, мы узнали только позднее от заключенных, ухаживавших за ними.

Так, Думпе, работавшая в 12-м бараке (в нем размещалась больница), рассказывала, что больные дети спали по двое, по

трое в одной кровати. Все они получали лекарство от дизентерии, хотя у многих поноса не было. Положение больных с каждым днем становилось все хуже и хуже. Думпе прекратила давать им лекарство и, как приказал фашистский врач, ставить клизму из мочи самих больных. Когда через несколько дней врач снова появился в бараке, он был немало удивлен:

— Ну и живучи же эти азиаты!

Думпе действовала правильно, не выполняя распоряжений убийцы.

После этого санитарок стали контролировать. Эсэсовцы прямо спрашивали:

— Почему так мало умирают?

Санитарки в недоумении молчали. А эсэсовцы издевались:

— Лучше здесь протянуть ноги, чем висеть на столбе вверх ногами.

Сердце сжималось от такой жестокости.

Несмотря на наши старания, мы все же проиграли бой за этих несчастных детей, которые никому ничего плохого не сделали. Жестокость фашистов оказалась сильнее нашего упорства и любви. Никто из этих несчастных детей так и не дожил до сегодняшнего дня. Саласпилсский песок стал их последним приютом.

Прошли годы. Много забылось. Но всегда, когда я слышу смех, беззаботный детский смех, вижу сияющие личики детей, я думаю о тех тысячах, жизнь которых угасла в саласпилских бараках. Их смерть — грозный приговор фашизму и войне, предупреждение всем нам.

Будем бдительными, защитим жизнь наших детей! Пусть во всех дворах, на всех улицах, во всех садах всегда раздастся их звонкий смех!

ТРАГЕДИЯ БРАТСКИХ НАРОДОВ

Вилис Риекстинь

В

обнесенные колючей проволокой ворота Саласпилсского лагеря въехали несколько грузовиков, заполненных людьми. В лагерь смерти прибыли первые сотни граждан Белоруссии. В их регистрационных карточках была запись: «эвакуированные». Этих людей только подозревали в том, что они помогают партизанам. Те, кто хоть в какой-то мере были уличены в оказании помощи партизанам, были расстреляны на месте.

Среди прибывших было много детей, подростков, женщин и пожилых мужчин. Не было видно ни одного молодого сильного мужчины. Все они воевали в рядах Советской Армии или же как партизаны действовали в тылу немецко-фашистских войск.

Эвакуированных поместили отдельно. В бараки, в которых обычно ютилось 200—300 заключенных, было втиснуто от 700 до 800 эвакуированных. Прижатые друг к другу, они лежали на нарах, на полу, на единственном столе. Эвакуированные имели с собой продовольствие — муку, крупу, горох, мясо, мед и другие продукты, которые они успели вытащить из горящих домов. Все это у них отняли. Лучшее продовольствие попало на кухни коменданта и охраны.

В первые же дни от эвакуированных отделили всех работоспособных мужчин и женщин. Их направили на работу. У матерей отняли детей. Отнятых грудных детей и малышей поместили в так называемый детский барак. Старшими ребятами заполнили другой барак.

Самым маленьким, которые не могли еще назвать своего имени и фамилии, повесили на шею картонные жетоны, на которых было написано имя, фамилия и возраст. Однако малыши перепутали эти «удостоверения личности», и вскоре возникла такая путаница, что никто больше не мог установить настоящего имени и фамилии ребенка.

Вскоре в лагере начала свирепствовать корь. Ослабленные дети умирали один за другим. В то же время распространился сыпной тиф, разносимый вшами, которые водились у всех заключенных. Изможденные организмы не были способны сопротивляться болезни. Умирали и взрослые.

Чтобы ликвидировать эпидемию тифа, бараки поочередно дезинфицировали циклонным газом. Заключенные должны были по приказу раздеться догола и бегом отправляться в баню. После бани их сгоняли в пустой продезинфицированный барак, где на полу была разостлана солома. Здесь надо было оставаться до тех пор, пока дезинфекции подвергались другие бараки.

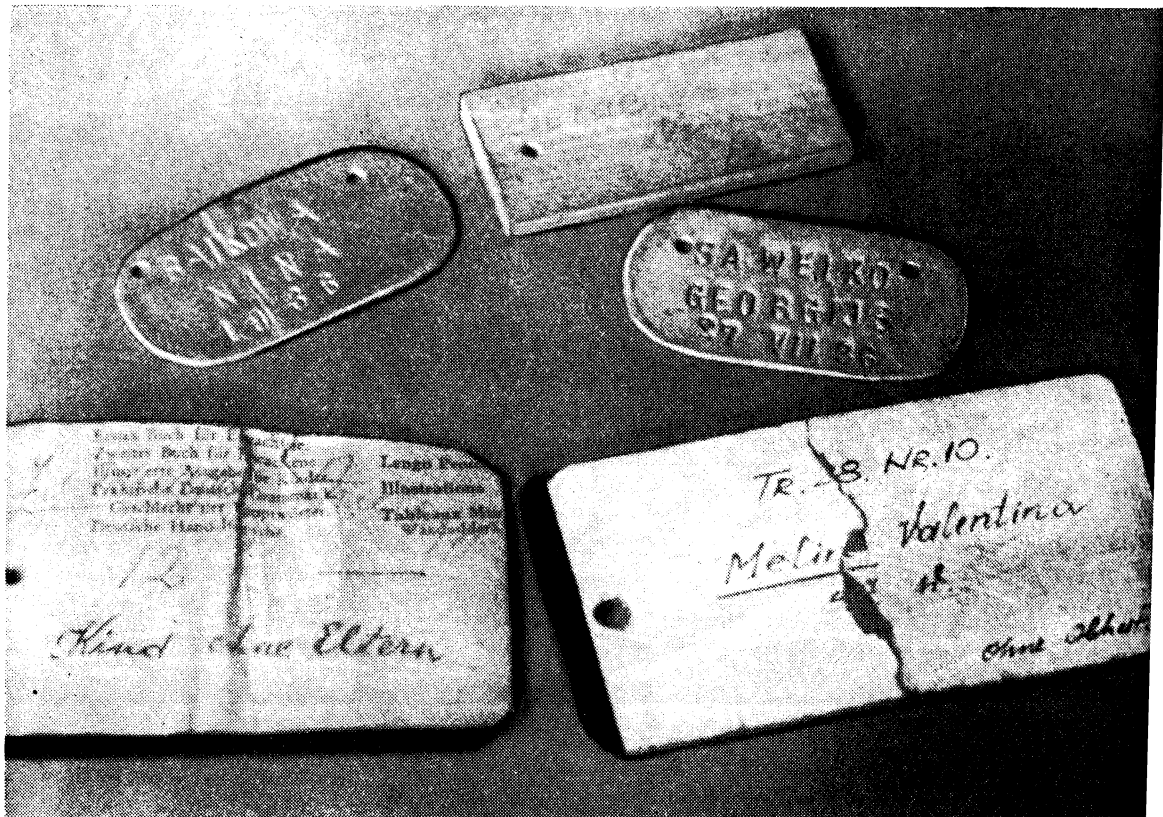
Нетрудоспособные — старики, больные и люди с физическими недостатками отбирались в особую группу. Эсэсовцы называли их «кандидатами». Что это означало, мы поняли только позднее.

Вспоминаю мужчину, у которого была одна нога. Он шутил: «Что же с нами, калеками, сделают, очевидно поведут в лес!» Была в этой группе и молодая девушка — Нина Быкова. Она хромала. В памяти осталась еще какая-то пожилая женщина, горбунья, мать двоих детей.

5 мая 1943 года был составлен список этой группы «кандидатов». Комендант сообщил, что их всех отправят в Лиенау.



Последний путь.
Линогравюра К. Буша



Детям, отнятым у родителей, навешивали на шею бумажные, деревянные или металлические бирки. На них указывались имя, фамилия и возраст ребенка. Малютки, играя бирками, перепутали их. Вскоре получилась такая путаница, что никто не знал, как настоящее имя того или иного ребенка

Туда должны будут поехать и заключенные еврейской национальности, которые еще не были уничтожены, — примерно 30 человек. Евреев из лагеря увели первыми — уже 5 мая после полудня. Позже мы узнали, что их утром 6 мая расстреляли в Бикерниекском лесу...

«Кандидаты» на ночь остались в бараке. Их увели 6 мая рано утром. Как это произошло, ни один из нас не видел, так как было еще темно. Только позднее заключенные, которых послали собрать имущество увезенных, рассказывали, что на деревянном полу барака были видны полосы. Это свидетельствовало о том, что несчастных силой волокли к машинам.

В середине лета 1943 года в лагерь вернулись те эвакуированные, которые были посланы на работы и там окончательно обессилели или заболели дизентерией. Они рассказывали, что были заняты на рытье окопов и строительстве оборонительных сооружений.

Возвратились и родители Нины Быковой и стали искать свою дочь, оставшуюся в лагере. Велико было их отчаяние, когда они узнали о трагической судьбе девушки...

Спустя некоторое время эту группу эвакуированных снова отправили на рабский труд, на сей раз в Германию.

Осенью 1943 года в лагерь привезли эвакуированных из Латгалии. Это были жители Резекненского, Лудзенского, Даугавпилсского и Абренского уездов. Немцы их тоже выгнали из домов, чтобы лишить партизан опоры. Среди этих людей я увидел жену депутата Верховного Совета Латвийской ССР Валию Анцан с годовалой дочерью.

Последних эвакуированных в Саласпилс пригнали из Гатчины Ленинградской области в конце 1943 года. Вместе с детьми их отправили в Германию.

КУДА ТЫ ИСЧЕЗЛА, ДОЧЕНЬКА?

Антонина Мишкutenок



рекрасна и богата ты, моя родина, земля Белоруссии! Осенью твои сады гнутся под тяжестью плодов, словно море колышутся твои золотистые нивы. А когда цветут поля льна, кажется, что сама мать-природа отрезала кусочек голубого неба и настлала между белыми березами. Повсюду видны плоды старательного труда.

В 1940 году мы жили в деревне Мотуки, которая с каждым годом становилась все краше и богаче. И тут и там блестели на солнце крыши новых домов колхозников, крытые белой дранкой. Строили домик и мы. В выходной день собрались на толоку соседи, мы закончили покрывать крышу, поставили печь. И вот уже сизый столб дыма поднялся высоко в небо.

— Скоро мы сможем перейти в большую комнату, — сказал мой муж Николай, и смолистые стружки обвилились вокруг его рубанка, длинными косами повисли до самого пола. Их ловили, ими шуршали наши дочурки Алла, Зина и Зоя, топая босыми ножками по белому, еще не крашенному дощатому полу.

Спокойной и хорошей была наша жизнь в колхозе «Серп и молот». Спокойна, как воды Свольни... И вдруг... Война!

Она вторглась в нашу жизнь, как злой смерч, выкорчевала сады, сорвала только что покрытые крыши, истоптала нивы. Война... Мы плакали уже при упоминании этого слова, плакали, провожая на фронт своих отцов, мужей и братьев. Мы плакали, ибо знали, что многих из них больше никогда не увидим.

* * *

На дворе еще сумерки. Я смотрю на белые доски потолка и прислушиваюсь, как дышат мои девочки. Младшей только минуло три годика. Зиночка вдвое старше. Осенью пойдет в школу Аллочка, которая будет учиться в третьем классе. Осенью!.. Тогда, возможно, вернется и Николай. Как долго может длиться война?

Я только задремала, как разбудил стук в окно. Это была Анна Дашкевич.

— Милая, приближаются немцы... Скот с фермы уже угнали... Для тебя письмо от Николая.

Торопливо развернула я маленький треугольничек с овальной печатью. Написанные химическим карандашом строчки местами расплылись.

— Ну, что же пишет?

— Завтра Коля уходит на передовую.

Сдерживая слезы, впиваюсь зубами в конец головного платка.

— Не плачь. — Анна кладет мне руку на плечо. — Свою землю надо защищать. Враг должен быть разбит. Победит, тогда вернется.

Около полудня пролетел первый вражеский самолет. По всей вероятности, разведчик. Затем появилась целая стая этих стервятников с черными крестами на крыльях. В воздухе что-то странно загрещало. Стреляют! Немцы стреляли в мирных жителей. Мы попрятались в погреба, ямы, ложились



Грабители отбирали все

вдоль каменных фундаментов зданий. К счастью, никого не ранило.

Под вечер появились немцы. На мотоциклах и броневиках они проехали через деревню и остановились на берегу Свольни. Вскоре там загорелись костры. Построилась небольшая группа немцев и в сопровождении офицера направилась в деревню.

Так вот они какие, эти гитлеровцы! Засученные рукава, изпод касок смотрят злые, безжалостные глаза. На шее висят автоматы.

Офицер разговаривал на ломаном русском языке.

— Ми из вермахт. Ми вам дадим новый порядок.

Мы молчали.

— Нам нужно провизион. Понимайт? Да? Как тебя звать, старик?

— Дашкевич.

— Показывай своя хлев. Свинья есть у тебя, да?

Офицер еще не закончил свою речь, а солдаты уже бегут к хлеву Дашкевича.

Там все ломают и рвут. На двор выбегают три вспугнутых поросенка.

— Не трогай! Это мои... — кричит Дашкевич. Напрасно. Автоматная очередь уже пришила свиней к земле, они корчатся и визжат, захлебываясь в крови.

Грабить деревню пришла и вторая группа фашистов. И вот у них в руках уже ведра с молоком, корзина с яйцами. Те, кто стрелял в поросят, снимают дверь хлева с петель, кладут на нее поросят, поднимают на плечи и уходят, горланя песню.

Вижу, как старый Дашкевич нервно хватается за колья забора. Кажется, он вот-вот схватит дубину потолще и бросится вслед грабителям. Нет. Он сдерживается. Лишь сердито роняет:

— Видели новый порядок? Порядок грабителей!

От мужа я больше вестей не получала. Вместе с фронтом он ушел на восток. Я с детьми осталась на оккупированной территории.

Оккупированная территория... Это означает, что нет больше ни сельсовета, ни правления колхоза. Нет ни газет, ни писем, нет известий от наших на фронте.

И все же...

Наступила уже осень. Целыми днями небо было покрыто серыми тучами. По ночам ветер завывал в трубе, в окно бил град.

В одну такую темную ночь кто-то постучал в окно. Я вытерла рукой стекло и всмотрелась в темноту ночи.

— Кто там?

— Свои. Впусти.

Я открываю дверь, и через порог переступают заросшие бородами мужчины. Вооруженные.

— Немцы есть в деревне? — тихо спрашивает кто-то.

— Нет. Уехали. — У меня от волнения дрожит голос. — Остались только их прихвостни — сельский староста и полицай.

— Не врешь?

— Ведь не чужим говорю. Я тоже с в о я.

Молодой парень с красивым открытым лицом наклонился к моему уху и, улыбаясь, спросил:

— А как с Егором Морозом — сельским старостой, который дезертировал из Советской Армии и добровольно нанялся к немцам, его ты тоже считаешь своим?

Егора я знаю. Тут же начинаю рассказывать, как этот прохвост делил колхозные посева. В первую очередь — самым отъявленным лентяям артели. А кто с Егором самогон пьет — тот тоже первый. Конечно, и себя он не забыл. То лучшие поля себе отрезал, то белого колхозного жеребца с новой телегой и санями присвоил.

Партизаны слушают. Они узнают и то, как Мороз облагает налогами, как людей заставляет выполнять гужевую повинность, чтобы отвезти награбленные продукты в местечко Волинцы. Немцы требуют мяса, масла, хлеба, и Егор старается все это доставить.

— Этого больше не будет, — строго заметил кто-то. — Впредь Волынценский район будем контролировать мы. Не фашистским прихвостням Егорам здесь хозяйничать...

Партизаны говорят, что делать. Надо подобрать смелых надежных людей — связистов и следить за каждым шагом врага.

— Скажи всем, что ни одного зернышка хлеба, ни охапки сена или кусочка мяса не должно попасть в руки немцев. Таков приказ партизанского штаба.

Рассказав о положении на фронте и закурив, мужчины исчезли в темноте. Вглядываюсь в темную ночь, которая поглощает фигуры смельчаков, и еще долго не могу опомниться — неужели здесь, за опушкой Свольненского леса, наши!

Вскоре мы услышали о деятельности партизанского подразделения. В Волынценском районе пущены под откос эшелоны с вооружением и солдатами... Пули мстителей скосили и кичливых завоевателей, и их прихвостней — предателей народа.

Староста Егор Мороз совсем нос повесил и притих. Порой еще пытается прикрикнуть и припугнуть, но ничего из этого не получается. Люди лишь посмеиваются и показывают в сторону леса:

— Егорка, гляди, какие могучие деревья растут в Белоруссии!

Партизаны были неуловимы. Немецкая карательная экспедиция, пытавшаяся их уничтожить, потерпела полный провал.

В зиму 1942/43 года выпало много снега. По дорогам было не проехать. Немцы задумали использовать это обстоятельство в своих целях и начали широкие операции не только против партизан, но и против мирных жителей. Утром 3 марта нас перепугал сильный пулеметный и минометный огонь, откры-

тый по деревне. Когда обстрел закончился, в деревню вошли немецкие солдаты и полицаи.

— Убирайтесь вон! Со всеми манатками! Марш!

Меня с детьми втокнули в сани, где уже сидела Анна Дашкевич со своими малышами. Полицай хлестнул кнутом, и близкие сердцу родные места остались позади.

Оглянулась. Какой ужас! Наш домишко уже горит, и из окон других изб поднимаются черные столбы дыма, вырываются огненно-красные языки. Из соседней хаты полицаи пытаются вытащить старушку. Я ее знаю, у нее больные ноги. Старушка еле передвигалась по комнате.

— Если не хочешь идти, тогда оставайся! — крикнул полицай и приложил ствол автомата к груди старушки. Раздались выстрелы. Старушка оторвала руки от косяка двери и упала в горящий дом.

Другую старушку пристрелили тут же посреди улицы. Она умоляла не увозить ее далеко от могилки единственного сына Ивана.

Языки пламени уже охватили всю деревню. То там, то тут проваливались крыши. Охваченные ужасом, стонут люди, плачут дети.

За поворотом уже не видно горящих домов. О них напоминает лишь огромный столб дыма, поднимающийся к небу, как преходящий памятник бывшей деревне Мотуки.

Однако не только на нашу деревню обрушилась эта трагедия. Там, где должна быть деревня Езудово, также стоит столб дыма. Куда ни глянешь — всюду одно и то же. Гитлеровцы жгут наши села, топчут нашу землю...

В местечке Дрисса нас размещают в пустых домах. Куда девались его жители — мы не знаем. С утра снова всех сгоняют вместе и строят по пять в ряд. Мы стали вчетвером: я и мои дети. Колонна получается такой длины, что даже конца не видать. Вдоль нее прохаживается немец в высокой



Они сжигали наши дома, хотели опустошить всю нашу страну

фуражке офицера. Он всех пылливо осматривает, то одного, то другого тычет палкой в грудь:

— Вон из ряда! Вон из ряда!

Вперед выступает полсотни человек. Среди них вижу свою тетю и одного паренька из Мотуков. Отобранных загоняют в дом, окна которого забиты досками.

— Что же с ними сделают? — шепчет рядом со мной какая-то женщина. Когда в дом вошли все, кого отобрали, полицаи заколотили дверь. Затем немецкий офицер вытаскивает из кармана листок бумаги и начинает читать. Так как все мы поддерживали партизан, эти люди в назидание другим приговариваются к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение у всех на глазах.

— Какой ужас!

И вот вокруг дома уже копошатся полицаи. Они обливают стены бензином. Через минуту дом уже полыхает, загнанные туда люди кричат и стонут. Кто-то, оторвав доску оконной рамы, пытается вырваться. Но напрасно, на подоконнике его настигает пуля из автомата. Тело соскользнуло обратно в пламя. Снаружи видны только руки, судорожно вцепившиеся в подоконник.

В товарных вагонах холодно. Едем уже много дней. Наш поезд мчится вдаль, в чужие, незнакомые края. Позади уже Даугавпилс, Крустпилс, Огре. Наконец поезд останавливается.

— Вылезать! Быстрей! Быстрей! — кричат гитлеровцы.

Кругом стоит темная ночь. Моросит холодный мелкий дождь.

Что это за станция? Где мы находимся?

Замерзших, измученных от голода и бессонницы людей гонят несколько километров по проселку, пока выходим на шоссе. Нам приказывают свернуть направо в лес. Вскоре перед нами поднимается забор из колючей проволоки и бараки. У ворот — охрана. Ворота открываются. Нас вталкивают в Саласпилсский концентрационный лагерь.

На другой день нам сообщают:

— В карантин.

Надо идти в баню. Прежде всего заставляют раздеться. Одежда будет дезинфицироваться. После так называемой бани нас сгоняют в барак. Здесь не на что сесть, не на что и лечь. На полу слой соломы. Посредине барак перегороден. В одну половину набиваются полуголые мужчины, в другую — женщины и дети. Людей много. Днем и ночью сидим и спим, прижавшись друг к другу. Дети мерзнут. К правому боку прижимаю Аллочку, к левому — Зинаиду. Маленькую Зоиньку держу у груди. Дети просят хлеба. У меня его нет.

В чем же мы провинились? За что нас наказывают?

Две недели изнывали мы в этом вонючем сарае. Наконец раздается команда:

— Строиться!

Нас ведут в другой барак. Там у стола сидят немцы с изображением черепа на рукавах мундира.

Один оглядел моих девочек и приказал им стать по росту. Другой записывает, как детей зовут, сколько им лет. Затем поднимается третий немец, берет со стола нанизанные на шнурок кусочки картона и вешает их девочкам на шею.

— Зачем это? — Я еще не понимаю, что происходит.

— Чтобы знать, как детей зовут, — отвечает переводчик. — Иначе их трудно будет найти.

Я подбегаю к маленькой Зоиньке, хватаю кусочек картона и читаю: «Зоя — 3 года».

— Что вы сделаете с моими детьми?

Немцы не отвечают. Из соседнего барака слышится ответ. Там какая-то женщина кричит:

— Не отдам! Умру, а не отдам! Без детей никуда не поеду!

Наконец я понимаю, что здесь происходит. У нас отнимают детей!

Предчувствуя что-то плохое, девочки начинают плакать.

— Не пицать! — Человек со злым лицом, которого здесь

величают старостой лагеря, стучит по столу. — Если мать будет хорошо работать, то она через год сможет вернуться.

Девочки понимают, что придется расстаться, и плачут все громче, подбегают ко мне, цепляются за юбку.

А минута разлуки уже близка. Подходят двое здоровых мужчин и силой отрывают девочек от меня.

— Алла, ты старшая, — кричу я, — будешь меньшим вместо матери!

Алла смотрит на меня большими печальными глазами. Не говорит ни слова, только глотает слезы. Затем она берет маленькую сестренку за руку и уходит.

Мои дети! Мои милые дети! Хоть видел бы все это ваш отец, Николай, хоть видел бы ты, как опустошали наши поля, как сжигали наши дома, знал бы ты — как болело сердце, когда отнимали наших девочек! Тогда бы ты отомстил там, на фронте! Отомстил бы за все!

* * *

Ночью мы не спим. Не спят двести загнанных в барак матерей, которых завтра увезут в Германию в рабство. Они слышат плач детей, который раздаётся рядом из соседнего барака, где помещены малыши. Каждой матери кажется, что громче всех кричит ее малютка и зовет свою мамочку...

Наступает утро. Еще заря занимается на востоке, а нас уже выгоняют на главную дорогу лагеря. Кругом охрана. Начинаем двигаться к воротам — все дальше и дальше от своих детей.

Рядом со мной снова оказалась Анна Дашкевич. Так же как тогда, когда, гонимые полицейскими, мы оставили село Мотуки. Будем держаться вместе! Будем бороться плечом к плечу. Иначе — погибнем.

* * *

Уже несколько дней у меня маковой росинки во рту не было. Мучает бессонница. Голова горит как в огне. Томит жажда.

— Поешь же чего-нибудь, — напоминает Анна.

Сколько километров пробежал уже наш поезд? Где мы теперь находимся и куда едем?

На каком-то полустанке стоим дольше, чем обычно. Стража отодвигает дверь. Приказывает вылезать.

Снова становимся по пять. Как много наших! Ряды людей длинные-предлинные. И какое множество вооруженной охраны! Очевидно, боятся нас.

После темного и затхлого вагона кружится голова. Яркое и теплое солнце слепит глаза. Скворцы, те веселые! Расселись на ветвях деревьев и знай себе свистят вовсю.

Но вскоре скворцов больше не замечаем. Наш путь заканчивается у низких барачных, обнесенных высокой оградой из колючей проволоки.

Мы на польской земле. Как много здесь людей, какое множество различных языков и народностей — французы, итальянцы, поляки, чехи, венгры... Что же мы все здесь будем делать?

— Умрем, — произносит кто-то мрачно.

Теперь я узнаю название нашего нового местожительства: Майданек. Это созданный немецкими фашистами лагерь уничтожения людей.

В этом лагере ежедневно умирало с голоду, расстреливалось и погибало на виселице такое множество людей, что трудно было их всех закопать. В углу лагеря по целым дням горели костры. Там сжигали трупы. Рядом с кострами была вырыта яма. В нее клали один ряд дров, другой — трупов. Когда яма заполнялась, ее обливали горячим. Так трупы сгорали быстрее.

Но этого было недостаточно. Там же рядом с ямой начали строить крематорий — массивное каменное здание с огромной трубой. Нас, привезенных из Саласпилса, включили в бригаду каменщиков. Работая здесь, я видела, как в горящую могилу бросили живого человека, женщину, еще совсем девочку. Ее

привели с завязанными руками, били и допрашивали на краю горячей ямы. Девочка не отвечала. Кусала губы и молчала. Тогда ее схватили за ноги, за длинные косы и...

Тринадцать месяцев я провела в этом аду. Затем нас погнали дальше. Нас переселяли в лагерь, где рабочие руки были больше нужны. Снова заколоченные теплушки, снова голод, жажда и тоска по свежему воздуху. Где на сей раз остановится наш эшелон смерти — в Освенциме, Бухенвальде?

На сей раз это был Равенсбрук.

Здесь действительно требовались рабочие руки. Здесь слишком много людей умирало. Прежде всего нас срочно рассортировали. Принцип был такой: ослабевших — в крематорий, более сильных — на работу.

— Держись! Выше голову! — Я сжала руку Анны Дашкевич.

— Мы еще должны жить, должны еще встретиться с детьми.

Мы подняли головы выше и — нам повезло. Нас зачислили в категорию рабов.

Труд... Нелегко упомянуть это возвышенное слово, вспоминая нашу работу. Мы ведь своими руками готовили боеприпасы для врага! Сыпали меркой порох в стальные оболочки и плакали, ибо знали, что этими снарядами фашисты будут стрелять в наших.

Среди заключенных были также смелые и сильные люди. Помню лишь ее имя — Жанна. Киевлянка.

— Сыпьте в заряды половину пороха. Остальное в водопровод. Хорошенько прополощите, — учила она, — чтобы не заметили.

Также бесстрашно Жанна обращалась со взрывчаткой. Делала так, чтобы она никогда не взрывалась. Может быть, кое-что из этого брака и спасло жизнь нашим. Жанна, однако, не спаслась. Ее уличили в саботаже и заморозили. Заперли в холодный карцер и заморозили.

Жанны больше не было, но смелость ее осталась. Мы продолжали вредить врагу. Вредили где и как только могли. Мастер фабрики, итальянец, мобилизованный на работу, хорошо понимал нас. В конторе он слушал радио и рассказывал, что происходит на фронте.

Какая радость — фронт приближался!

— Немцы — капут! Муссолини — капут!

— Капут! — повторяли мы, и это единственное немецкое слово звучало как прекрасная музыка.

Великий день, который мы ждали долго, ждали годами, терпя голод и унижение, приближался. Над городом кружат самолеты союзников, грохочут разрывы фугасных бомб, горят дома.

С запада приближаются американские и английские войска, с востока — наши. Фашисты, зажатые в тиски, еще бьются. Нас гоняют из лагеря в лагерь, с одного населенного пункта в другой. То вперед, то назад ползут колонны голодных оборванцев.

Что это? Однажды утром у сарая, где мы ночевали, не оказалось стражи. Удрали! Это — хорошая примета. Еще бы — там уже приближаются солдаты с красными звездочками на пилотках.

— Наши! Русские!

Мы обнимаем своих освободителей — мужей, братьев, сыновей и друзей.

— Милые! Дорогие!..

* * *

Мы уже на Родине!

Земля родная, что они с тобой сделали? Я смотрю на обгоревшие концы бревен, обломки кирпичей, на куски жести. Это все, что осталось от нашего дома. К тому же еще и страшная весть: в бою погиб Николай.

Еще у меня оставалась одна надежда — дети. Я тут же направляюсь в Ригу. Хожу по учреждениям, иду к людям. Ищу, требую, прошу, зову:

— Где вы, мои доченьки!

На помощь приходят советские учреждения. Помогают добрые люди, и Алла с Зиной плачут у моей груди от радости.

Встретились! Живы! Остались в живых, потому что Алла была направлена на полевые работы в Сигулду, а Зину взяла на воспитание какая-то добрая женщина. Но где же Зоинька?

— Когда нас обеих уводили из лагеря, — рассказывали девочки, — Зоя хотела идти с нами, но ее угнали назад. «Не хочу здесь оставаться, не хочу!» — кричала она нам вслеп, и, рыдая, осталась стоять у стены бараков.

Свою третью дочь я ищу уже восемнадцать лет. Может быть, ее глазки засыпал саласпилский песок уже девятнадцать, двадцать лет тому назад, когда ее, умершую голодной смертью, зарывали за колючей проволокой. Может быть... Но сердце матери не хочет этому верить. Оно все еще ждет и тихо спрашивает:

«Где ты, где ты затерялась, моя доченька?»

ТАНЯ

Янис Кронитис



Однажды серым осенним утром они вошли в Саласпилсский концентрационный лагерь и боязливо оглянулись, когда за ними с грохотом закрылись большие, оплетенные колючей проволокой ворота. Их было около двухсот: женщин, детей и стариков. «Не оглядывайтесь, вы, райские птички!» — истерично крикнул эсэсовец Видуж, толкая вперед старую женщину, у которой на руках был закутанный в платок ребенок, а за спиной узел с вещами. Женщина упала, затем вскочила на ноги и мелкими, старческими шажками засеменила вперед. Успокаивая ребенка, который при падении ударился и громко плакал, старушка старалась не отставать от остальных. Колонна направлялась к площади перед зданием комендатуры лагеря.

Они были из Белоруссии. Гитлеровцы пригнали их из районов, в которых действовали советские партизаны. У здания комендатуры на высоких мачтах развевались флаги на холодном осеннем ветру. Один — алый с белым кружком и черной свастикой посередине, другой — черный с двумя белыми буквами «SS».

Громко крича и ругаясь, эсэсовцы выстраивали оторопевших людей перед зданием комендатуры.

Мы шли мимо в нескольких шагах от них, неся кирпичи, доски и камни для строительства новых бараков в Саласпилском лагере смерти. К зверствам немцев и их приспешников мы уже привыкли. На наших глазах расстреляли несколько человек, пытавшихся бежать из лагеря.

Здесь расстреливали и вешали людей, привезенных из Германии, Австрии и других мест. Но в два раза тяжелее казались доски на плечах, вдвое сильнее сжимали ноги деревянные колодки, когда мы увидели здесь стариков, женщин и маленьких детей.

Седовласый старичок оперся на палку. Он еле держался на ногах. Самоуверенно, презрительно усмехаясь, мимо него прошел молодцеватый немецкий ротенфюрер Теккемейер. Ссутулившись на холодном ветру, дрожала старушка, смотря на одетого в теплую шубу коменданта Никкеля. Посиневшими, замерзшими ручонками цеплялись дети за юбку матери и глазами, полными страха, смотрели то на развевающийся черный флаг, то на блестящие немецкие автоматы.

Каждый из нас вспомнил в тот момент своего отца, мать или детей, и нам хотелось хоть теплое слово сказать этим несчастным людям, которых эсэсовцы, не торопясь, одного за другим вызывали к установленному на дворе столу, записывали и снова заставляли стоять на холодном осеннем ветру.

В конце дальнего ряда стояла маленькая, светловолосая девочка с голубыми глазами. Она с любопытством смотрела на наши колодки и белые тряпки, которые «красовались» на груди и спине.

— Точь-в-точь как моя Бирута... — заметил кто-то из товарищей.

Когда мы снова проходили мимо колонны, я тихо спросил девочку, как ее зовут.

— Таня... — отозвалась она.

Идя вдоль колонны эвакуированных, мы тихо обменивались несколькими словами с новыми товарищами по несчастью, интересовались, откуда они, где остались их родные.

Узнал, что голубоглазой девочке пять лет, отца и матери у нее нет, а здесь она вместе с бабушкой, что ей очень хочется есть, но последний кусочек хлеба она уже вчера съела, а больше ничего нет. Позднее Таня тихонько жаловалась, что

ботиночки прохудились и ножки мерзнут. Но тут наш разговор заметили немецкие фашисты и велели впредь носить доски другой дорогой. Долго еще я видел в конце серого ряда маленькую девочку, которая, прыгая то на одной ножке, то на другой, смотрела в нашу сторону, и мне казалось, что на ее маленьком личике промелькнула грустная, но дружественная улыбка.

Вечером, когда после работы я получил свой тощий ломтик черного хлеба, я не мог проглотить ни крошки. В бараке царил угнетающая тишина. Всех удручало появление детей и стариков в Саласпилсе.

— Послушай... — тихо заговорил товарищ, который раньше сказал, что Таня напоминает его Бируту. — Не могли бы мы как-нибудь?..

— О чем ты думаешь? — спросил я, хотя хорошо понял его.

— Видишь ли, хотелось бы ей... — И я заметил у него в кулаке кусочек сахара и ломтик черного хлеба на ужин.

Опыт и приобретенная в заключении хитрость позволили нам передать оба ломтика хлеба, кусочек сахара и несколько картофелин Тане. Счастливые, мы уснули в холодном бараке на твердых дощатых нарах.

Прошло несколько дней. Казалось, что появление маленькой русской девочки внесло тепло и тихую радость в серую жизнь лагеря. Идя на работу, я иногда за углом барака или сквозь узкое оконце мельком видел светловолосую головку, порой девочка улыбалась или махала рукой. Однажды, когда мы с ношей досок шли мимо барака, где ютились новые приезжие, передо мной, словно из-под земли, выросла Таня, что-то сунула в руку и исчезла в дверях своего жилья. Развернув тряпичный сверточек, я нашел в нем пачку русской махорки.

Вечером рассказал об этом своему товарищу. Из обрывка оберточной бумаги мы скрутили сигареты. Я закурил, но в горле запершило... Посмотрел на товарища — тот так и не

зажег сигареты. Он сидел, низко склонив голову и сложив руки на коленях. По седой щетине катились крупные слезы и падали на грязный пол барака.

Вскоре мой товарищ заболел. Жаловался на боль в груди, его сильно лихорадило. Копаля канавы, он простудился.

Спустя несколько дней санитар амбулатории передал, что друг просит меня прийти к нему в больницу лагеря, где он лежал уже несколько дней. В обеденный перерыв я сходил к нему и еле узнал своего товарища — так он похудел и осунулся. Говорил он почти шепотом и с большим трудом.

Распростились. Его последние слова были: «Помоги Тане...»

На другой день моего товарища закопали у железнодорожной насыпи.

Вскоре в лагере распространилась весть, что пригнанных русских, вероятно, отправят куда-то на работу. Прежде всего в отдельный барак поместили нетрудоспособных — стариков и больных. В другом остались женщины с детьми. Появился кто-то из администрации и сообщил, что дети останутся в лагере. О них позаботится администрация, а трудоспособные женщины должны будут «на некоторое время» уехать поработать. Послышались душераздирающие рыдания. Чтобы утихомирить матерей, гитлеровцы прибегли к хитрости.

Специально для детей оборудовали почти новый, недавно построенный барак. Туда внесли новые деревянные кровати и чистое белье. Барак топили. Туда, мол, поместят детей, а матери останутся в старом бараке. Привезли и раздали детям по кружечке молока и кусочку сахара. Таня восторженно рассказывала, как хорошо будет в новом бараке, сегодня она получила кружечку молока, а больному братику врач дал лекарство, и братик уже чувствует себя лучше.

Успокоились и уехали только некоторые матери. Другие же ни за что не хотели расстаться со своими детьми.

Эсэсовцы силой вырывали детей. Матери кричали, рвали

на себе волосы и одежду. Тогда их схватили, бросили в машины и увезли. Эти женщины больше в лагерь не вернулись...

Ночью на нескольких машинах увезли стариков и больных. Вскоре мы узнали, что их там в лесу убили.

В новом бараке остались только дети до шестилетнего возраста. Среди них была также Таня и ее маленький братик. После того как матерей увезли, дети получали то же, что и мы, — кусок черного хлеба, несколько картофелин и суп «новая Европа». Уборщицы, работавшие в детском бараке, с отчаянием в голосе рассказывали, что невозможно больше выдержать. Дети живут впроголодь, в нетопленном холодном помещении и беспрерывно плачут. Похлебка из гнилой капусты, плохой хлеб и мороженный картофель вызвали среди детей массовые заболевания.

Детям было запрещено выходить из барака, все же изредка мне удавалось встретить Таню и поделиться с нею скудной порцией хлеба и картошки.

Девочка спрашивала:

- Почему не возвращается бабушка?
- Почему братику больше не дают лекарства?
- Почему больше не дают молока?
- Почему мы не можем уйти отсюда?

Тяжело было слушать вопросы ребенка, однако еще тяжелее читать их в печальных детских глазах, которые с каждым днем все глубже вваливались на осунувшемся личике.

Младшие дети скоро умерли, среди них был и Танин братишка. Девочка в отчаянии рыдала, потеряв последнего близкого ей человека. Вместе с остальными детьми, умершими накануне, его закопали в яму у железнодорожной насыпи.

Наконец и Таня больше не вставала с постели. С помощью уборщицы мне удалось пробраться к окну детского барака и посмотреть на несчастную девочку, которая, съжившись в комок, лежала под тонким одеяльцем на жесткой постельке.

Однажды утром уборщица, проходя мимо, тихо сказала, что Таня ночью умерла.

Через санитара барака мне удалось добиться, чтобы и меня послали хоронить умерших накануне детей. Таня стала легонькой, как тростинка. Сопровождаемые охраной, мы вместе с другими шестью крохотными трупиками вынесли маленькую белорусскую девочку через большие ворота лагеря, в которые она, вцепившись в юбку бабушки, вошла несколько месяцев назад.

Когда мы в вырытую могилку уложили трупики в ряд, я попросил у начальника охраны разрешения отломать несколько еловых веток и положить их на умерших.

— К чему это? — резко спросил он.

— Ну для того, — ответил я голосом, который мне самому показался чужим, — для того, чтобы волосы и глаза девочки не засыпал песок...

Охранник удивленно посмотрел на меня, как бы желая что-то сказать, затем повернулся спиной, тихо проворчал:

— Что ж, по мне — клади... — Затем громко, повелительно добавил: — Но быстрее!..

Вместе с товарищами нарвали мха, наломали еловых и сосновых веток и покрыли ими детские личики и маленькие, слабые ручки. Затем взяли за лопаты и засыпали могилку. Могильный холмик не получился — так мало места в земле заняли семеро умерших детей.

НЕПОКОРЕННЫЕ

Павел Коршунов-Сапожников

Машина остановилась. С грохотом откинулся задний борт. Раздалась команда:
— Слезай!

Мы очутились на большой квадратной территории, обнесенной несколькими рядами колючей проволоки. Вокруг на возвышениях под навесом зловеще поблескивали стволы пулеметов и немецкие каски. В центре стояла высокая наблюдательная вышка, с которой весь лагерь был виден как на ладони.

Заключенных разместили в бараке. Я держался вместе с товарищами Кожановским, Грешанниковым и Подопрigorой. Уже с первых дней в лагере нас не покидала мысль уста-

новить связь с антифашистским подпольем. Но как это сделать, где искать отважных подпольщиков? Возможно, они рядом? Эти вопросы не давали покоя. Внимательно наблюдая за лагерной жизнью, я все больше убеждался, что здесь действует тайная организация сопротивления. Оставалось установить связь с одним из ее членов.

С Микелисом Гринбергом, отменным старичком, я познакомился еще в Рижской Центральной тюрьме. Тогда он многозначительно сказал:

— Если нас переведут в Саласпилсский концентрационный лагерь, то запомните, там будет шире поле деятельности... Там есть свои...

Вторично с дедушкой Мишей я встретился здесь, в лагере. Он был толковым и остроумным человеком. «Именно такой может быть связан с подпольем», — думал я. Но с чего начать разговор? Этот негибачый латыш может, как обычно, отшутиться: «Бог с вами, молодой человек...» И все же надо было решиться.

Разговаривали долго, осторожно. Лукаво прищурив близорукие глаза, дедушка Миша проэкзаменовал меня и наконец, как бы в шутку, сказал:

— Ну, тогда сходи завтра на кухню и спроси Баранова. Оя там кипятит воду...

Метель бушевала с самого вечера, гоняя волны снега на лагерь. Ветер выл и свистел вокруг бараков, прорывался в помещения. В такую погоду, как говорят, хороший хозяин и собаку не выгонит.

Отворилась дверь. Вошел гестаповец.

— Встать!

Все поднялись со своих мест. Старший барака поспешно доложил, что в бараке Б-9 350 заключенных.

— Становись! — последовала команда.

Заключенных построили, велели взять лопаты и ломы. Нас погнало на земляные работы. Работать было тяжело. От хо-

лода захватывало дыхание. Превозмогая усталость, люди долбили, разравнивали мерзлую землю, копали канавы. Товарищи помогали друг другу. До начала работы передали по цепочке, что слабых в трудную минуту надо отвести на кухню или в зубоврачебный кабинет, где можно обогреться и отдохнуть.

Лагерный зубной врач, узник из Чехословакии, был хорошим человеком и замечательным специалистом, с большим опытом и широкими знаниями. В холодные дни в кабинет зубного врача, если там не лечили зубы эсэсовцы, приходили заключенные, отдыхали и грели замерзшие руки и ноги. Когда один приходил в себя, появлялся другой, третий... десятый...

Вьюга не утихала. Колючий ветер обжигал лицо, пробирал до костей. Несмотря на мороз и метель, истощенные узники продолжали работу.

В одном месте лопаты неожиданно наткнулись на кости. Осторожно откопали. Рядом лежали два скелета — большой и маленький, свернувшийся в клубок. Мать и ребенок! Заключенные похоронили их в стороне. Следы каких фашистских злодеяний хранит земля? На каждом шагу здесь происходили убийства! Саласпилские пески пропитаны кровью невинных людей. Пройдут года, и эти места еще будут призывать живых к бдительности, будут призывать не забывать, ничего не прощать.

В обед заключенных загнали в бараки. Я отправился на кухню, попросил кружку горячей воды. Ее подал высокий мужчина средних лет. Он внимательно осмотрел меня:

— Значит, за горячей водичкой пришел?

— К теплу тянет... Как бабочку ночью к огню, — немного смутился я.

— Случается, что бабочка в огне и сгорает...

— Лучше сгореть, чем тлеть...

Так началась наша дружба с этим много повидавшим на своем веку человеком — рижанином Константином Барано-

вым, участником гражданской войны и подпольной работы в буржуазной Латвии.

Дни в Саласпилсе тянулись, как сплошной кошмар. Но заключенные не поддавались отчаянию. Они верили, что скоро Советская Армия разорвет оковы лагеря смерти, вернет людей к жизни. Эта вера не только жила, но и звала к борьбе. Внешне усталые, истощенные люди участвовали в невидимой, бесшумной борьбе. В их сердцах пылала любовь к родине и ненависть к врагу. Дух сопротивления не оставлял этих людей даже в самые трудные минуты.

В декабре нам приказали плести соломенную обувь для нужд немецкой армии. В отдельном корпусе недалеко от лагерной кухни оборудовали мастерские.

— Армия на соломенных ногах! — смеялись мы и так мастерили эту обувь, что она быстро разваливалась.

В нашей группе кроме Бориса Подопригоры, Сергея Грешанника, Никиты Кожановского и меня теперь был и Федор Зарубин, мой старый товарищ по оружию. В Саласпилс он попал из Рижской Центральной тюрьмы, куда был заключен после неудачного побега из лагеря военнопленных.

В мастерских мы многое переговорили о своей жизни, здесь рождались новые идеи и замыслы. Кто мы сейчас такие? Были в боях, сражались, а теперь плетем лапти. И для кого? Для врага! У Николая Островского есть прекрасные слова: «Умей жить даже тогда, когда жизнь становится невыносимой». Так надо было жить и нам.

Распределили между собой задачи: Кожановский информирует группу о всех событиях в лагере, Подопригора поддерживает связь с кухней, Грешанник налаживает прием посылок извне, а Зарубин будет выполнять самое трудное — организуем побег из лагеря. Так мы снова будем в боевом строю.

Все было рассчитано и решено. Чтобы не обратить на себя внимание стражи, мы продолжали старательно работать. Однажды кто-то рывком открыл дверь барака — на пороге стоял

гладко выбритый человек в гражданском и властным взглядом осматривал все помещение. Это был Магнус Качеровский, начальник строительства лагеря. Он люто ненавидел советских людей, ибо видел в них личных врагов, испортивших его карьеру частного предпринимателя. Теперь, злой и опьяненный неограниченной властью, он мстил им. С появлением Качеровского в бараке установилась мертвая тишина, он прошелся по помещению и вышел.

Но не всегда «визиты» Качеровского кончались так мирно. Заключенные еще хорошо помнили тот день, когда Саласпилсский концентрационный лагерь посетил начальник гестапо и СД Латвии — штурмбаннфюрер Ланге. Сопровождал его Магнус Качеровский. Недалеко от группы советских военнопленных Ланге остановил машину и, выйдя из нее, избрал людей мишенью для стрельбы из пистолета. Это занятие доставляло шефу гестапо и СД нескрываемое удовольствие. Одному пустить пулю в спину, другому в живот, застрелить ребенка вместе с матерью, убить еврея, подвернувшегося на дороге... Качеровский, угодливо улыбаясь, помогал начальнику «веселиться».

...В Саласпилсский лагерь смерти прибывали все новые и новые партии заключенных. Некоторые из тюрьмы, другие были арестованы недавно. Вместе с ними поступали вести с фронта. Стоял февраль 1943 года. Заключенные радовались, узнав, что Советская Армия одержала большую победу на Волге. Совсем иначе реагировали на это гитлеровцы — в лагере ввели строгий режим, сократили паек, запретили встречаться заключенным из разных барачков. Репрессии усилились.

Начались массовые экзекуции. Когда на дворе бушевала метель, людей разделяли на группы. Гитлеровец становился спиной к ветру и начинал командовать: «Ложись! Встать! Бегом! Ложись! Встать! Бегом!..» Заключенные, теряя последние силы, выполняли команды — ложились, вставали, бежали по кругу, падали в снег, снова поднимались и снова падали. Тех,

кто не мог уже подняться, били до смерти. На следующий день экзекуция повторялась с прусским педантизмом.

Эти экзекуции были мезью гитлеровцев заключенным за разгром фашистских войск на Волге. Руководил ими комендант лагеря смерти гауптштурмфюрер Краузе. Чтобы казаться выше, этот изверг носил сапоги на высоких каблуках. Если что-нибудь привлекало его внимание, он вытягивал вперед лицо, на котором подергивался нос, а глаза застывали в тупом напряжении.

Одним из наиболее верных подручных Краузе был староста лагеря мадонец Альберт Видуж. Чаще всех он руководил экзекуциями на лагерной площади. Далеко разносился его пронзительный голос — «Ложись! Встать! Бегом!» Всех, кто не мог достаточно быстро выполнять его команду, ожидала одна судьба — смерть от побоев или автоматная очередь.

Суровый режим был невыносим; люди гибли от голода, болезней, побоев, пуль. Такова и была задача этого лагеря: умертвлять, уничтожать.

Наперекор всем трудностям наша подпольная ячейка — пятерка действовала. Подопригора вместе с Барановым подкармливали больных. С помощью Яниса Логина они доставали продукты питания у заключенных латышей, которые получали передачи и посылки от родных.

Янис Логин выполнял в бараке обязанности писаря. С его помощью подпольщика Кожановского устроили слесарем, а Грешанника — мастером различных ремонтных работ. Таким образом они получили возможность посещать все бараки, быть в курсе лагерных событий, а главное — тайно снабжать подполье различными инструментами и материалами. Подпольщики начали изготавливать оружие, готовиться к вооруженному восстанию. Из каменоломен заключенные приносили взрывчатку. Уже было припасено несколько десятков гранат, холодное оружие. Этой работой руководила подпольная группа, в которой действовал и Федор Зарубин из нашей пя-



ЯНИС ЛОГИН — один из организаторов движения сопротивления в Саласпилсском концентрационном лагере. Расстрелян в 1943 году в Бикерниекском лесу. Рисунок К. Буша

терки. Заключение готовились к вооруженному восстанию, не теряли надежды вырваться на свободу. Но в конце февраля из-за подлой провокации Качеровского в лапы гестапо попал один из руководителей подпольной организации — Карл Фельдман и его товарищи. Всех их сразу увезли в Рижскую Центральную тюрьму и подвергли нечеловеческим пыткам. Аресты продолжались. В течение недели в тюрьму увезли более ста человек. Нашли все оружие подпольщиков.

В ночь с 5 на 6 мая 1943 года в Бикерниекском лесу расстреляли 135 заключенных — активных участников антифашистского сопротивления. Среди казненных были и Янис Логин, Борис Подопригора, Федор Зарубин...

Я не могу забыть Яниса Логина, замечательного человека и товарища, коммуниста. Это был нестигаемый, верный, мужественный человек.

Янис Логин родился 21 мая 1914 года в селе Шумском в Латгалии. Отец его был неграмотным крестьянином, всю жизнь мечтавшим вывести сына в люди. Уже с первых школьных дней единственный сын Людвиг Логина жадно потянулся к знаниям. После окончания местной начальной школы Янис поступил в Балвскую гимназию, которую окончил в 1934 году.

Сбылись мечты отца — сын поступил на факультет классической филологии Латвийского университета. Он сразу же стал работать в нелегальном Коммунистическом Союзе Молодежи. После окончания второго курса Яниса призвали на военную службу, и только в 1938 году он вернулся в университет и продолжал революционную подпольную деятельность. Когда в Латвии была восстановлена Советская власть, Янис Логин, полный кипучей энергии, включился в строительство новой жизни и в ноябре 1940 года вступил в ряды Коммунистической партии. Еще занимаясь в Латвийском государственном университете, молодой коммунист активно участвовал в общественной жизни. Он выполнял ответственную работу в университете, организовывал политучебу студентов, вел атеистическую про-

паганду. Но... все замыслы и надежды на будущее зачеркнула война. С первых же дней войны Янис собрал вокруг себя борцов против фашистских оккупантов в окрестностях Балви. Но его предали, и недалеко от села Шумского он попал в руки шудманов. Сначала Абренская тюрьма, потом рижская «централка».

И все же тюрьма не смогла сломить железную выдержку и оптимизм Яниса Логина. В Центральной тюрьме он своей энергией и жизнерадостностью ободрял политзаключенных, обучал товарищей по камере иностранным языкам.

В июне 1942 года Яниса Логина заточили в Саласпилский лагерь смерти.

И здесь он скоро приобрел много друзей среди заключенных. Он стал одним из организаторов антифашистского сопротивления, помогал товарищам устраиваться на такую работу, где они могли больше сделать для подпольной организации.

— Может случиться так, — полушутя, полусерьезно сказал как-то Янис, — мои кости будут белеть на солнышке... Но разве можно поэтому отступать, капитулировать? Посмотрите, представители скольких национальностей в нашем лагере! Сколько народов томятся под игом фашизма! Я верю, что когда-нибудь мы все вместе будем сражаться против фашизма. Поэтому сейчас нельзя сидеть сложа руки. Если суждено умереть — так в борьбе.

21 января 1943 года, в день смерти Владимира Ильича Ленина, Янис Логин организовал в бараке митинг. Более трехсот заключенных собралось вокруг стола, с которого он говорил о великом вожде революции. Затем Янис декламировал поэму Владимира Маяковского «Ленин», стихи Пушкина и Райниса.

Заключенные с затаенным дыханием слушали пламенные слова коммуниста и благодарили его за большое мужество. В бараке раздавалась буря аплодисментов. Многоголосо зазвучала «Марсельеза».

Почувствовав что-то неладное, в барак ворвались гестаповцы во главе с Видужем. Заключенные вмиг разбежались по своим нарам. Но Янис Логин свое дело сделал — искра за пала в человеческие сердца.

...В Рижской Центральной тюрьме гестаповцы зверски пытали смелого антифашиста. Его нечеловечески избивали, жгли каленым железом. Гитлеровцы расстреляли его вместе с другими подпольщиками в Бикерниекских соснах. Так оборвалась жизнь этого верного сына латышского народа.

Подпольщики тяжело переживали гибель своего товарища. Это был суровый урок. Борьбу надо было продолжать более осторожно, искать новые формы. Но дух сопротивления не был сломлен, он продолжал жить.

Снова пришла весна. Еще сильнее она будила у заключенных тоску по свободе. Свобода! Казалось, она рядом, за колючей проволокой, — близка, но недостижима. Сердце тянулось к ней. Неотступно и упорно.

Вечерами около восьмого барака раздавались грустные цыганские песни. В них звучала глубокая, неугасимая тоска. Пел молодой цыган Миша. Обычно он сидел у стены барака, уткнув подбородок в колени, и долго смотрел на заход солнца.

Однажды вечером Миша снова сидел так, устремив взор в сторону леса, откуда еле-еле доносился терпкий запах влажной земли и прелых листьев. В черных глазах цыгана отражалось зарево заката, и лицо его казалось одухотворенным. Вдруг Миша вскочил на ноги и одним прыжком оказался на колючей проволоке. Но перебраться через нее ему не удалось. Его скосила пулеметная очередь.

В те весенние дни далеко от Саласпилса в одной белорусской деревне произошла ужасная трагедия. Люди еще спали, когда в деревню ворвались эсэсовцы. Людей вырвали из постелей и согнали в одно место. Перепуганные дети, женщины, старики ожидали, что их заживо сожгут в каком-нибудь здании или перестреляют, как это не раз бывало во многих бело-

русских деревнях. Эсэсовцы подожгли деревню, а жителей угнали с собой.

Людей гнали долго, били и ругали, ругали и били. Тот, кто не мог идти, того пристреливали.

Наконец сильно поредевшая в дороге группа белорусских жителей прибыла в Саласпилский концентрационный лагерь. Фашисты отняли у матерей детей и приступили к реализации своего зловещего замысла.

Детей помыли в бане и с утра построили всех, кто мог встать. Старших детей заставили держать грудных. Ни одного взрослого в барак не пускали. Гитлеровцы в белых халатах положили грудных детей на стол. Фашистские звери действовали хладнокровно, педантично — одни определяли группу крови малюток, другие вонзали в маленькие тельца шприцы и отсасывали кровь.

Одна девочка подбежала к фашисту и, указывая на малютку, стала просить:

— Это мой братик Коля. Не делайте ему так!

Фашист ногой отбросил девочку в угол, где она, скорчившись в клубок, осталась лежать.

Затем подошла очередь старших детей. У них тоже взяли кровь, и дети, шатаясь от слабости, отходили от стола.

...Из Рижской Центральной тюрьмы прибывали все новые группы заключенных. Понемногу стала оживать подпольная работа. Погибшего члена нашей пятерки Бориса Подопригору заменил бойкий, долговязый семнадцатилетний юноша Вася Николаев. Самоотверженно он старался раздобыть дополнительное питание для больных и был счастлив, когда удавалось кому-нибудь помочь. Немного позднее обязанности Федора Зарубина стал выполнять Вячеслав Михневич — огромного роста москвич.

Когда фашисты организовали новую команду для каменоломни Бэма, в нее зачислили Михневича, Абраменкова и Ни-

колаева. Работа в каменоломнях входила в планы Вячеслава, готовившего коллективный побег из лагеря.

Михневич и Абраменков участвовали в разработке плана побега, внимательно изучали окрестность и совещались с товарищами. Нам много помог старичок Петр Быстров. Он дал несколько адресов и рассказал, как беглецам пробраться к партизанам.

15 сентября нас послали в лес копать канавы. Возможности побега увеличились. План оставался прежний: Михневич дает сигнал, первым бежит Улдис Пурмалис.

День шел к концу. Солнце клонилось к горизонту. На легком ветерке шелестели листья. Вот-вот кончится перекур. Михневич заметил, что один из охранников внимательно следит за заключенными, но время не ждало. Надо было действовать. Вячеслав подошел к охраннику, закрыв своей широкой спиной товарищей. В тот же миг зашуршали листья, раздался шум шагов. Охранники вскочили на ноги, открыли беспорядочную стрельбу, но было уже поздно. Пять заключенных вырвались на свободу.

По возвращении в лагерь всю команду выстроили на площади. Явились Краузе, Качеровский, Теккемейер, Видуж. Они допрашивали и били заключенных. После допроса всех отвели в конюшни и выпороли плетью, свитыми из стальной проволоки. Гитлеровцы мстили за удавшийся побег из лагеря смерти.

На другой день заключенные были очевидцами зверского убийства зубного врача. Когда-то этот замечательный человек говорил Янису Логину:

— Я этих убийц не считаю за людей, но вынужден лечить им зубы. К тому же знаю: они меня расстреляют, как расстреляли жену и дочь.

Гитлеровцы подозревали зубного врача в связи с заключенными и решили его уничтожить. Врача вывели на площадь и заставили бежать по кругу. Вслед ему спустили овчарку. Она прыжком сбила несчастного с ног. Собаку позвали об-

ратно и человека снова заставили бежать. И снова натравили на него собаку... И снова заставили встать и бежать по своим кровавым следам.

В стороне стояли руководители лагеря и улыбались. Спектакль на сей раз закончился быстро — зубной врач умер от разрыва сердца⁵. На лицах убийц отразилось недовольство.

Террор в лагере нарастал. Краузе и его подручные мучили и убивали заключенных. Их машина смерти работала на полных оборотах.

На оккупированной территории усиливалось сопротивление населения фашизму. Советские люди отказывались работать на оккупантов. Гитлеровцы обвиняли их в спекуляции и саботаже и заключали в Саласпилсский лагерь на срок от 2 до 8 недель. Их размещали в отдельном бараке и посылали на самые грязные работы.

Среди заключенных был и художник Микелис Страздынь, которому посчастливилось вырваться на свободу. Вскоре то один, то другой стал получать из Риги посылки с продуктами питания.

В одной из посылок для нас был припасен сюрприз. В буханке ржаного хлеба Грешанник нашел газету. Это было издание одного из соединений белорусских партизан. В наших руках была газета, рассказывающая о сражениях и победах советского народа.

Газета переходила из рук в руки. За несколько дней она обошла весь лагерь и сделала большое дело. Газета поднимала настроение и боевой дух заключенных, звала к борьбе и вселяла надежду на скорое освобождение. Как будто свежий ветер ворвался в лагерь — в нем появилась небывалая активность, созревали могучие силы, готовые прорваться наружу.

ОНИ НЕ СКЛОНИЛИ ГОЛОВЫ

Рихард Веске (младший)



з Рижской Центральной тюрьмы в Саласпилсский концентрационный лагерь меня перевели в июле 1942 года.

В то время там был такой порядок: руководили лагерем немцы, которые размещались в комендатуре, наружную охрану несли латышские легионеры, за чистоту и порядок отвечали сами заключенные. Старшим барака Ц-10 был заключенный Владислав Роде, с которым я учился в Рижском городском техникуме. В то время мы дружили. Роде был хорошим товарищем, придерживался прогрессивных взглядов. Он часто раздавал в школе листовки, призывавшие к борьбе против режима Ульманиса.

Нас, молодых узников Саласпилса, разделили на группы по 10 человек. Я хорошо знал русский язык, поэтому Роде рекомендовал меня старшим в так называемую интернированную группу военнопленных. Я согласился. Интернированные были физически слабыми, истощенными голодом. После пленения их направили в тюрьму, а оттуда — в лагерь.

Группу отправили выравнивать площадь лагеря. Соблюдать строгий лагерный режим и справляться с тяжелой работой было нелегко, ибо пленные были так обессилены, что едва волочили ноги. Мы организовали периодический отдых во время работы. Но и это было непросто. Постоянно приходилось остерегаться, чтобы этого не заметил помощник коменданта ротенфюрер Теккемейер. Если он замечал, что кто-то

из заключенных не работает, то избивал его дубинкой и отправлял в штрафной барак. Поэтому при появлении фашистов мы делали вид, что усердно работаем. Как только опасность миновала, пленные в бессилии опускались на песок. Сколько они выдержат? Что-то надо было предпринять, чтобы спасти людей от гибели.

В бараке я познакомился с Янисом Калнынем из Гулбене. Он работал на кухне поваром и много помогал тем, кто не получал посылок от родственников. Свое щедрое сердце Калнынь показал еще до того, как стал работать на кухне. Получив из дому посылку, он всегда делился со мной, ибо мне никто ничего не присылал. С помощью Калныня удалось самым слабым военнопленных устроить на более легкую работу на кухне.

На строительстве нового здания комендатуры я познакомился с вольнонаемным работником стройконторы техником Волдемаром Мелькисом⁶. Этот спокойный, всегда вежливый юноша резко отличался от всех других вольнонаемных техников и рабочих строительной конторы. Он, например, охотно помог некоторым товарищам переправить письма из лагеря. Так постепенно устанавливались связи и с внешним миром. Дома Мелькис слушал сообщения Совинформбюро и почти каждый день передавал нам радостные вести с фронта.

В бюро строительной конторы лагеря работал заключенный инженер Карл Фелдманис⁷. Этот выносливый и добрый человек отличался большой силой воли. Он отлично разбирался в политической ситуации.

Постепенно вокруг Фелдманиса стали объединяться люди, которые готовы были в стенах лагеря бороться против фашистских захватчиков. Среди них были Адольф Кирт, Янис Логин, Антон Эглит, Пудан, Дилан, врачи Бдил и Олейников, санитар Синьцов и уже упомянутый техник стройконторы Волдемар Мелькис.

В строительной конторе Фелдманис делал различные чер-

тежи. Там же находился кабинет начальника строительства Магнуса Качеровского. В нем стоял радиоприемник. Почти каждый вечер, когда начальство уезжало домой, Фелдманис тайком подобранным ключом открывал кабинет Качеровского, и мы собирались около приемника и слушали вести с фронта. Новости сразу же передавали товарищам. Полученные сведения поддерживали нас морально, давали возможность правильно понимать события на фронте.

Комендатуре нужен был посыльный или, как его здесь называли, ордонанц. Он должен был весь день находиться в комендатуре и выполнять распоряжения коменданта. Работы было много. Ежедневно лагерь посещали разные заказчики. Их заказы надо было доставлять в мастерские. Кого назначить на эту должность? Находясь в комендатуре, многое можно было узнать, разоблачить провокаторов и доносчиков. Выбор пал на меня, так как я знал немецкий язык и был самым молодым среди товарищей. Я понял, что заключенные, не зная сути дела, могут счесть меня за предателя и прекратить дружбу. А потерять друзей в лагере означало многое. Но выхода не было, и я выполнил волю товарищей.

Через дверь коменданта все было отлично слышно. Часто там шли споры о делах на фронте. Да, даже они, убежденные эсэсовцы, думали совсем не так, как писали в газетах и передавали по радио. Лишь помощники коменданта Теккемейер и Эйкемейер верили в победу фюрера и рейха. Никкель и австриец Паллхубер, утратив веру в победу, уже думали о том, что с ними будет в случае краха. Неоднократно в лагере появлялся убийца советских людей — доктор кровавых дел Ланге. В его присутствии, разумеется, все мыслили одинаково — фюрер победит.

В комендатуре была комната, где хранились оружие и боеприпасы охраны. Изучив все подходы и возможности, я наметнул Фелдманису, что стоило бы туда попасть. Он согласился и поручил мне подумать, как это сделать. Однажды



КАРЛИС ФЕЛДМАНИС — организатор и руководитель движения сопротивления в Саласпилском лагере смерти. Расстрелян в 1943 году. Портрет нарисован в Саласпилсе.
Автор неизвестен

подвернулась возможность подняться на второй этаж, где находился указанный склад. Выждав удобный момент, я пытался подобрать ключи. Наконец один подошел. Теперь в любое время можно было открыть дверь склада — и все боеприпасы и оружие оказались бы в наших руках. Изготовили несколько таких ключей. Их хранил Фелдманис. Он говорил, что восстание надо согласовать с приближением Советской Армии.

Через Константина Стрельчика (мы вместе работали на заводе «Варонис») удалось установить связи с филиалом лагеря в Сауриешских каменоломнях. Под руководством Стрельчика там была организована группа сопротивления. Продукты питания выдавались в главном лагере. За ними в определенные дни под охраной являлись заключенные. Не раз приезжал и сам Стрельчик. Он всегда совещался с Фелдманисом. Был выработан план совместных действий. Группа Стрельчика уже многое сделала. Были изготовлены ручные гранаты, спрятан динамит. Распределены обязанности между членами группы, установлены связи с внешним миром. Фелдманис дал им указания ждать сигнала.

Пришла радостная весть: одержана большая победа на Волге, прорвана блокада Ленинграда, разгромлен фельдмаршал Роммель... Заключенный Янис Погулис⁸ писал стихи и поэмы о важнейших событиях. Он сочинил балладу о бегстве Роммеля, которую тогда знали наизусть почти все заключенные.

Но чем больше мы радовались, тем свирепее становился враг. В бараке Ц-10 жил некий Изар. Его уже в тюрьме знали как провокатора. У Роде был радиоприемник с наушниками, найденный заключенными среди еврейских вещей. Им можно было принимать несколько станций, и вечерами ребята собирались и слушали передачи, хотя Фелдманис и запретил идти на такой риск.

Об этом пронюхал Изар и написал жалобу коменданту. К счастью, его жалоба попала в наши руки. Мы изолировали Изара, не подпускали его к немцам. Однажды ему все же уда-

лось добраться до комендатуры. Когда я это заметил, было уже поздно. Изара увидел и комендант. Предатель стал рассказывать, что в бараке все коммунисты, что там тайком слушают радио. А его всячески преследуют, даже избивают, потому что он душой и телом служит немцам. Комендант не понимал по-латышски и велел мне перевести. Это означало провалить товарищей. Поэтому я лгал. Сказал, что в бараке Изара избили, и добавил, что он сам виноват в этом, ибо увольняет от работы и его спальное место всегда в беспорядке. Вообще напел Никкелю разных небылиц. Он обругал и выгнал Изара. В бараке Изар получил по заслугам. Закон против предателей был строг. Изара поместили в лагерную больницу. На этом началось наше несчастье.

Больницу часто посещал начальник строительства Магнус Качеровский. Однажды — это случилось в конце февраля 1943 года — лагерное начальство уехало домой. Как и в другие вечера, мы с Фелдманисом сидели в кабинете Качеровского и слушали радио. У Фелдманиса была карта. На ней мы отмечали линию фронта. Вдруг в коридоре раздались торопливые шаги. Мы замерли в предчувствии беды. Фелдманис выключил радио. Я спрятал карту и заметки под стоявшим в кабинете сундуком. Шаги остановились у двери. Кто-то резко дернул за ручку. Дверь была заперта. Что делать? Не открывать? Не имело смысла. Если нужно, ее все равно откроют. Фелдманис подал мне знак, я открыл дверь. На пороге стоял Качеровский. Бросив на нас злой взгляд, он большими шагами подошел к радиоприемнику и положил на него руку. Приемник был теплым. Качеровский спросил:

— Слушали радиопередачу?

Оправдываться было бесполезно. Этим можно было еще больше разозлить и без того лютого зверя. Фелдманис ответил:

— Да, слушали... музыку.

— Знаю, какую музыку вы слушали. Немедленно сообщу коменданту! — прошипел Качеровский.

Кинув на него хладнокровный взгляд, Фелдманис спокойно спросил:

— Неужели вам приятно будет видеть, как я качаюсь на обочине дороги? (На обочине лагерной дороги стояла виселица.)

Такой вопрос, казалось, вначале смутил Качеровского. Но спохватившись, он указал на меня пальцем и задал вопрос:

— А он что здесь делает?

Фелдманис сразу спас меня. Он пояснил, что я, проходя мимо, услышал шум и зашел проверить, что здесь происходит. Я подтвердил слова Фелдманиса. Качеровский выгнал нас из кабинета и ушел. После этого инцидента мы прекратили посещать его кабинет. Почувствовали, что готовится что-то неладное.

Кирт, знавший Качеровского еще по учебе в университете, сказал, что от этого человека ничего хорошего ждать нельзя. И было действительно так. Уже через несколько дней лагерь встревожила весть — в Рижскую Центральную тюрьму увезены Изар, врачи Бдил и Олейников, а также санитар Синьцов. Нам всем было ясно: Изар через какого-то подлеца передал свою жалобу в гестапо.

Фелдманис дал указание уничтожить все, что во время обыска могло бы скомпрометировать нас.

— А ты, — он дружески взял меня за руку, отвел в сторону и посоветовал, — никогда и никаких сообщений о фронте не слышал и никому не рассказывал. Никогда. Понял? Ты должен жить... И предупреди всех, — продолжал Фелдманис, — чтобы не признавались. Я спасу, кого только смогу...

Однако спасти товарищей было трудно. Уже на другой день увели самого Фелдманиса, Кирта, Пудана и других. Вскоре снова приехала «Черная Берта» и увезла в тюрьму Логина, Дилана и всех, кто участвовал в изоляции и наказании Изара.

Как действовать дальше? Кто даст правильный совет?

Лучшие товарищи были увезены. Казалось, все рухнуло, улетучивались последние надежды.

Как оценить возникшую ситуацию? На кого можно положиться?

Второго марта в лагерь прибыла гестаповская машина, на которой обычно приезжали оба следователя, отправившие наших товарищей в тюрьму. Один из них — унтершарфюрер Лахнер как-то странно посмотрел на меня, подал мне свой пустой кожаный портфель, велел отнести его в мастерскую, подождать, пока починят, и принести обратно. В холодном взгляде немца чувствовалось что-то недоброе.

Когда портфель был починен, Лахнер поставил меня к стенке. Через некоторое время он вышел из кабинета Никкеля и жестом приказал сесть в машину. Все было ясно: мне предстоял тот самый путь, по которому несколько дней назад прошли мои товарищи.

Меня привезли на улицу Реймерса, где тогда находилось гестапо, и заключили в погреб. Часовой, охранявший меня, сообщил, что в этой камере вчера повесился один наш товарищ с каменоломен. Поэтому я должен сдать поясной ремень. Так я узнал, что ребята на каменоломнях тоже «провалились». Значит, виноваты не только Изар и Качеровский.

Начались допросы, избиения и издевательства. Гестаповцы старались как можно больше узнать о деятельности подпольной группы.

Ведя меня на первый допрос, уже знакомый охранник передал, что «старик», то есть Фелдманис, строго наказывал не признаваться, всю вину он уже взял на себя. Почему охранник был таким откровенным, не знаю до сих пор. Он рассказал также, что Константин Стрельчик, не выдержав мучений или боясь выдать товарищей, во время допроса выпрыгнул в окно и разбился.

Гестаповцы стремились узнать правду различными способами. На допросе они говорили: «Почему вы все отрицаете?

Ваши товарищи уже давно признались и ходят на свободе. Расскажите всю правду и вас тоже освободят!»

Тот, кто попадался на эту удочку, вместо свободы получал пулю. Я, как и наказывал Фелдманис, притворялся, что ничего не знаю. Пребывание в кабинете Качеровского объяснил как случайное совпадение. Очевидно, Фелдманис утверждал то же самое. Нам поверили.

После нескольких допросов меня отправили в Рижскую Центральную тюрьму. Сначала поместили в карцер, затем во второй корпус, в 32-ю одиночную камеру. В ней я находился около месяца. На прогулку меня выводили то одного, то вместе с каким-нибудь незнакомым человеком.

Когда допросы кончились, нас всех, за исключением Кирта, Логина и Рендениека, поместили в общую камеру в корпусе мастерских. Кирт и Логин находились в первом корпусе, а Рендениек в чердачном помещении, где вместо камер было что-то наподобие клеток.

От товарищей мы узнали, что в лагере, кроме Изара было еще несколько провокаторов. В центральном лагере — Типша и Арнхольд, а в каменоломнях — Пелнис. Кто предал группу Фелдманиса, тогда для нас оставалось загадкой.

Настал трагический день. Ночью с 5 на 6 мая 1943 года дверь открывалась три раза. С первой группой увели Трифилия Лакомку⁹, Дилана, Антона Эглита и других товарищей. Второй раз надзиратель вызвал Изотова, Валциса, чемпиона Прибалтики по боксу Балодиса, Арнольда Берзиня, Макарова и еще нескольких товарищей. Вместе с первой группой увели Рендениека, Логина, Кирта, врачей Бдила и Олейникова, а также санитаря Синьцова. В последнюю группу попал Владислав Роде. Тяжело было расставаться с друзьями. Прощаясь, Роде сказал: «На смерть иду спокойно, с чистой совестью, но без борьбы не сдамся».

Когда увели третью группу, большая камера почти опустела. Никто не спал и при малейшем шорохе вскакивал с нар.

Нервы были напряжены до предела. Этой ночью было убито несколько сотен заключенных, в том числе саласпилсцы, которые сознались хотя бы в малейшем проступке.

Фелдманиса гестаповцы на сей раз еще оставили в живых.

В последующие дни атмосфера в камере оставалась напряженной: убитые горем о погибших товарищах, мы ожидали дальнейшей расправы.

Позднее от тюремной охраны узнали, что все наши товарищи расстреляны в Бикерниекском лесу. Шофер «Черной Берты» рассказывал, что держались они мужественно, пели Интернационал. В лесу обреченные на смерть отказались выходить из машины, стойко сопротивлялись. Особенно упорно сопротивлялся один парень высокого роста. Рендениек — решили мы. Он был выше всех нас. Немцы непослушных вытаскивали из машины специальными жердями с железными крюками на конце. Вся машина была залита кровью. Такого сопротивления, говорил шофер «Черной Берты», он никогда не видел.

В тюрьме, когда нас выводили на прогулку, я иногда встречал Фелдманиса. Как всегда, он был мужественным и хладнокровным, хотя хорошо понимал, что немцы в живых его не оставят. Фелдманис и в тюрьме старался поддержать в нас уверенность в победе советского строя и гибели фашизма.

Наступило 20 мая. Снова открылась дверь камеры и показался надзиратель со списком. Он вызвал несколько товарищей, в том числе узника Саласпилса Яунзема. Дежурил помощник начальника тюрьмы Заринь. Сразу все стало ясно — если дежурил он или братья Бия, то акции неизбежны.

На рассвете надзиратель вошел вторично и вызвал новую группу заключенных, в том числе и меня. Он сообщил, что эту группу повезут в Саласпилс. Мы не верили, ибо на рассвете вызывали обычно тех, дорога которых вела в яму. Кроме того, нас поместили в камеру смертников. Так называли 13-ю камеру первого корпуса, ибо в нее всегда сгоняли приговорен-

ных к расстрелу. Но на этот раз тюремщики не лгали. Вскоре нас построили и сообщили, что мы отправляемся обратно в Саласпилс. Успокоились мы только тогда, когда дверь машины открылась и мы увидели территорию лагеря.

За время нашего отсутствия в лагере произошли большие перемены. Вместо Никкеля комендантом лагеря стал бывший комендант гетто, садист и убийца Курт Краузе. Он всюду ходил со своей злой собакой Ральфом, которая безжалостно впивалась зубами в заключенных. Ограда из колючей проволоки вокруг лагеря была еще более укреплена.

Вскоре в тюрьме реорганизовали мастерские. Там создали филиал нашего лагеря. Комендантом был назначен Никкель. Помощниками — Эйкемейер и Паллхубер. Меня определили в филиал и снова увезли в Центральную тюрьму.

Здесь я еще раз встретился с Феддманисом. Мы работали вместе, но жили врозь: я — в корпусе мастерских, он — в тюрьме. У него был тюремный режим, у меня — лагерный.

Еще до тюрьмы, в Саласпилсе, я познакомился с одним товарищем из Чехословакии. Это был механик Йозеф Гертнер. Мы подружились. Он глубоко ненавидел фашистов, на него можно было положиться. Он тоже жил в корпусе мастерских. Немцы часто приносили к нему ремонтировать радиоприемники. Он этим пользовался и слушал вести с фронта. Новостями Гертнер делился с товарищами. Так в тюрьме мы узнавали всю правду о положении на фронте. Из тюремных надзирателей, охранявших нас, особо следует отметить Антона Кудинь и Блума. Они часто, рискуя своей жизнью, пересылали наши письма и приносили ответы родных. Они знали, что Гертнер слушает радио, и даже оберегали его. Если приближался кто-нибудь из начальства, они предупреждали.

В тюрьме распространилась ужасная весть — ожидается новая акция. И действительно — 20 сентября 1943 расстреляли несколько сот заключенных. Среди них был фотограф Александр Яблонский с женой, бывшие узники Саласпилса

Гусаров и художник Блум¹⁰. В тот же день расстреляли и Карла Фелдманиса.

Осень 1944 года. Наши войска уже приближались к Риге. Об этом свидетельствовала орудийная канонада. Изо дня на день мы ждали освобождения.

Немцы стали укладывать свои чемоданы. 17 сентября 1944 года нас в спешке погнали на станцию, посадили в поезд и снова повезли в Саласпилс. Но уже 21 сентября пешком пригнали обратно в Рижскую Центральную тюрьму. Ночью наша авиация бомбила Ригу.

Мы радовались взрыву каждой бомбы, не думая, что могут попасть и в наш корпус.

26 сентября началась эвакуация тюрьмы. Ночью 27 сентября нас построили во дворе тюрьмы и под усиленной охраной повели в порт. Здесь стояли пароходы, готовые отчалить в любую минуту. На один из них загнали нас и увезли в Германию.

Мой дальнейший путь вел через лагерь смерти Саксенхаузен, Нейенгамм, Вильгельмсхафен и плавучий лагерь смерти — океанский пароход «Кап-Аркона».

Еще несколько слов вместо эпилога. Август 1959 года. Кабинет следователя. Вводят знакомого человека высокого роста. Да это же он, Магнус Качеровский, бывший начальник строительства Саласпилсского лагеря. Прошло 17 лет. Много изменилось. Это уже не напыщенный фашистский наемник, каким мы его знали в Саласпилсском лагере смерти, а вежливый человек с искусственно-приветливой улыбкой.

Качеровский притворяется, что видит меня впервые. Возможно, ему трудно вспомнить меня. Таких, как я, были ты-

ячи. Зато я его хорошо запомнил. Припертый фактами к стенке, Качеровский начинает узнавать и меня. Да, да, он знал, что мы слушаем радиопередачи. Даже всячески помогал нам. Однажды даже был такой случай: он вошел в кабинет, когда мы с Фелдманисом слушали радио. Почему он угрожал нам? Просто так, чтобы попугать нас, ибо мы действовали слишком открыто. Упаси боже, если бы узнал комендант, он на месте всех перестрелял бы. Значит погиб бы и его друг с университетских времен — Кирт.

Из показаний многих свидетелей о злодеяниях Качеровского видно, что именно он сыграл главную роль в ликвидации нашей группы сопротивления. Не случайно он так часто посещал больницу, где находился предатель Изар. И то, что он внезапно застал нас около радиоприемника, тоже не было случайностью. Он тщательно следил за нами. Его товарищ по учебе оказался прав: Качеровский был способен на любую подлость.

Рассматривая дело Магнуса Качеровского, Верховный Суд Латвийской ССР разоблачил все его злодеяния. На суде выяснилось, что Качеровский повинен в провале организации сопротивления, что он участвовал в убийстве летчика лейтенанта Виктора Воробьева.

Решение суда было справедливым: расстрелять.

Заслуженное наказание понесли и другие предатели.

Изар умер в тюрьме, Арнхольд утонул с пароходом «Кап-Аркона». Многие были казнены в немецких лагерях по справедливому решению самих же заключенных. А где немецкие фашисты Ланге, Кауфман, Краузе, Никкель, Бергер, Теккемейер, Сект, Хейер, Паллхубер и другие кровожадные псы комендатуры? Где их услужливые приспешники — латышские буржуазные националисты Тоне, Видуж, Селис? Может быть, они снова прислуживают реваншистам за границей, ходят где-нибудь на свободе, выдавая себя за вежливых и трудолюбивых

людей, а втайне вынашивают планы новых, жестоких злодеяний?

Нет, мы не имеем права забывать пламенные слова Юлиуса Фучика, сказанные им перед смертью: «Люди, будьте бдительны!»

Мы должны быть бдительны!

В ШТРАФНОЙ ГРУППЕ

Аугуст Озол



Над Саласпилским концентрационным лагерем всегда витала смерть. Больше всего она задерживалась вблизи так называемой штрафной группы. В нее мог попасть любой заключенный за мелкие нарушения лагерного режима, например за то, что курил во время работы, или ушел в уборную без разрешения начальника группы, или за то, что недостаточно быстро стал в строй во время проверки, за разговоры на работе и за многие другие проступки. Особенно серьезным нарушением считалась встреча с родными. Те, кто работали в Сауриешских или Бемских каменоломнях или на торфяном болоте, шли на такой риск. Наиболее краткий срок пребывания в штрафной группе был один месяц. Большинство оставалось здесь два месяца, а если, будучи в группе, осужденный совершал новый «проступок», ему прибавляли еще один или два месяца.

Трудиться надо было 14 часов в день. Главная работа — чистка уборных. К шести привязывался сосуд емкостью примерно в четыре ведра. Опорожнять его надо было метров 400 дальше. Заключенные, наполнявшие сосуд, были бы согласны оставлять его полупустым, но нести было опасно, ибо гестаповцы зачастую следили за тем, чтобы сосуды были полными. Нарушившими это правило приходилось вечером с полчаса прыгать, как лягушки. Сосуд несли два человека за концы шеста. Останавливаться можно было только у ямы, пока наполнялся сосуд. Во время носки не разрешалось отды-

хоть, а чтобы перемотать портянку надо было просить разрешения у начальника группы. А он не всегда соглашался. От ходьбы в деревянных колодках на ногах появлялись волдыри.

Зачисленные в штрафную группу иногда пользовались возможностью отдохнуть, отпросившись в уборную у начальника группы. Лагерные уборные были длинными, с 50—60 отверстиями в полу и дверьми в конце барака.

Сюда приходили отдохнуть не только из штрафной группы, но также с «карусели» или «живого конвейера». Так называлась «работа», где заключенные с носилками ходили по большому кругу. На одной стороне круга группа заключенных насыпала на носилки землю, на противоположной стороне ее надо было сбрасывать. Когда куча земли становилась достаточно большой, ее переносили обратно, и так без конца.

Теккемейер так умел подкрадываться к уборной (мы говорили — налетать), что отдохавшие здесь замечали его лишь тогда, когда он уже был в дверях. Раздавался предупреждающий оклик: «Штукас идет!» — так мы звали Теккемейера. Палач и сам знал, что у него такое прозвище. Тех, кто не сидел на корточках над отверстием уборной, он немилосердно бил своей толстой палкой и приговаривал: «Штукас идет, Штукас идет!» Большая собака коменданта, волчьей породы, была хорошо натренирована. Она срывала одежду с заключенных и вгрызалась в их костлявые тела.

В штрафной группе заключенные получали наполовину меньше хлеба и обеденного супа, чем остальные заключенные. За день люди были до того изнурены, что вечером еле могли доплестись до барака. Бывало, что вечером кое-кто, сдав инструменты, в бессилии оставался у стены уборной. Так это случилось с инженером Вискне, которого за попытку встретиться с женой направили в штрафную группу на два месяца.

От однообразной, плохой пищи у многих заключенных на теле появлялись сыпь и нарывы.

У штрафной группы был свой барак. Для других заключен-

ных обеденный перерыв длился один час, а здесь — только полчаса. Пока заключенные после работы добирались до барака, проходило по крайней мере минут пять. Те, кто у чана с супом становились в очередь последними, нередко не успевали выхлебать свою порцию, когда начальник группы уже приказывал строиться для выхода на работу.

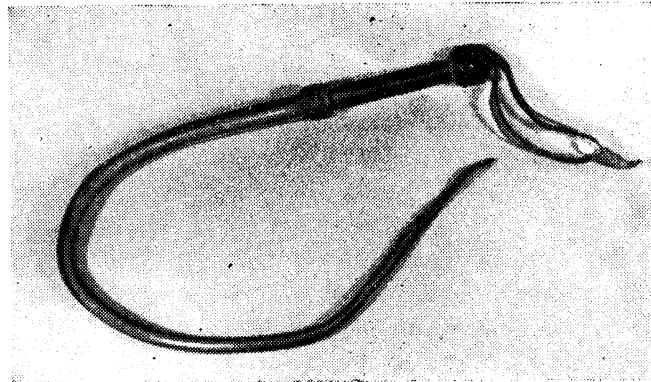
О ночном отдыхе немцы также «позаботились»: нам приходилось спать, так тесно прижавшись друг к другу, что каждый, кто слезал с нар и хотел снова попасть на свое место, должен был беспокоить весь ряд спящих.

В барак штрафной группы помещали также приговоренных к смертной казни. Долго они здесь не оставались. Осужденных на смерть на работу больше не гнали, из барака не выпускали. Эту меру наказания осенью 1943 года применили к нескольким заключенным, работавшим вне лагеря. К ним приходили родственники. За свидание им «пришили» попытку к побегу, что каралось смертью. Охранники за проявленную бдительность получили бутылку водки и три дня отпуска.

Все эти муки еще усугублялись произволом полицейского. Каждый вечер 10—15 заключенных подвергались издевательствам. То они должны были прыгать, как лягушки, ходить гусиным шагом и ложиться на землю или в грязь. За полчаса человек изматывался до того, что не был в состоянии войти в барак.

Иногда нам приходилось работать и в бане, так как там часто выходила из строя примитивная канализация. Тогда мы выносили из шахты грязную воду. Когда в бане мылись женщины, вовсю проявлялся цинизм гитлеровцев. Эвакуированным в бане отрезали волосы. Парикмахеры были мужчины. Гитлеровцы беспрерывно ходили по бане и похотливо рассматривали голых женщин.

В начале 1943 года в Саласпилсский лагерь смерти пригнали так называемых эвакуированных, в том числе стариков и матерей с маленькими детьми. Прежде всего им приказали раз-



Специальная плеть для порки представителей «низшей расы». Фашисты часто пользовались таким орудием в Саласпилсском лагере

даться догола. Одежду они должны были оставлять в бараке, будто бы для дезинфекции, а самим голыми бежать в баню.

После бани всех — мужчин, женщин и детей загнали в один барак, пол которого был устлан соломой. Этот барак назывался карантинном. Сюда помещали столько людей, что им даже негде было прилечь. Три дня они сидели на корточках или стояли, тесно прижавшись друг к другу. Не хватало воздуха. Многие заболели и умирали. Больше всего умерло детей. В этих бараках днем и ночью дежурили люди из штрафной группы. В их обязанности входило также убирать мертвецов.

Выносить все эти муки в штрафной команде можно было только благодаря солидарности заключенных. Несмотря на то, что мы не имели права встречаться с заключенными других барачков, товарищи, рискуя сами попасть в штрафную группу,

**находили возможность передавать нам кусок хлеба и приобод-
рить добрым словом, столь необходимым в наших условиях.
Поддержка друзей не давала нам окончательно погибнуть. Она
укрепляла нашу веру в победу, вселяла силы переносить все
трудности.**

ВО ВЛАСТИ ВЫРОДКОВ

Марта Трейде



з Смилтенской тюрьмы в Валмиерскую, оттуда в Валмиерский концентрационный лагерь — так в течение двух лет перебрасывали с места на место женщин, арестованных в северной Видземе.

21 сентября 1943 года нас ждали машины, чтобы отвезти в Саласпилсский концентрационный лагерь. Нас осталось уже немного. В Иршском парке часто раздавались залпы винтовок, гибли советские люди.

Между нами была липайчанка Анныня Эджинь, у которой дома остались старая мать и четверо ребятишек, мал мала меньше, жительница Мазсалацы Эльза Кирсе — единственная дочь и опора своих родителей, Альма Мике из Смилтене, дома у дедушки остался ее маленький сынишка, Эмилия Лаките, тоже мать четырех детей, и старушка Киплок, не терявшая надежды дождаться победы и своих двух сыновей — бойцов Красной Армии. Мое сердце было полно печали. В январе, когда я находилась в Валмиерской тюрьме, умер мой единственный сынишка Имантынь.

Осенью прошлого года из Валмиерской тюрьмы уже было увезено в Саласпилс 200 мужчин. Теперь пришел мой черед.

Ничего хорошего нас там не ожидало. Немало страшных рассказов мы слышали об этом месте мучений. Но действительность оказалась более мрачной, чем все рассказы.

Перевалив через дюны, поросшие соснами, автомашины остановились у ворот Саласпилсского лагеря. Мы с любопытством осмотрелись.

С первого взгляда ничего страшного мы не заметили. За забором из колючей проволоки простиралось широкое поле.

По усыпанным гравием дорожкам куда-то торопились одетые в серую форму люди. Вокруг двора симметрично расположились низкие бараки. После двух лет, проведенных в тюрьме, где мы видели солнце лишь украдкой, его яркие лучи разгоняли мрачное настроение. К сожалению, это продолжалось недолго. Позже мы даже проклинали солнце за безжалостный зной, а усыпанные гравием дорожки немецкие фашисты и предатели латышского народа окрашивали кровью заключенных.

РАЗВРАТНИКИ ПОТЕШАЮТСЯ

В Саласпилском концентрационном лагере была разработана изощренная система унижения человека. Это делалось, очевидно, с целью превратить нас в животных в образе человека. Над человеческим достоинством здесь измывались ежедневно, на каждом шагу. Насмехались над отдельными заключенными, издевались над всеми.

Мыться мы ходили в баню. Она была маленькой, а нас было много. За два часа должны были помыться несколько сот человек, поэтому все это происходило в спешке, очертя голову.

Во время мытья вдруг появлялись «ревизоры» — комендант садист Краузе со своей свитой — помощником Видужем, Пуринем и другими прислужниками немецкой жандармерии. Выпучив глаза, они пытались сквозь пар рассмотреть юные тела, поиздеваться над пожилыми женщинами.

Однажды они пристали к украинкам. Послышались непристойные, сальные выражения. Сам Краузе начал приставать к какой-то девушке по имени Тоня.

Лидия Озол из Тукума быстро сообразила, как проучить негодяев. Черпнув горячей воды из котла, она, будто нечаянно, обдала ею Краузе.



В баню.
Линогравюра К. Буша

На мгновение Краузе остолебенел. Тоня спряталась за другими девчатами. Тогда изверг набросился на Лидию: бил ее, пинал ногами, пока она без сил не опустилась на мокрый пол.

На зов Видужа в баню ввалились охранники. Они связали голую Лидию и поволокли в бункер. Мы боялись, что не увидим ее больше.

К разъяренному Краузе приблизилась санитарка Русе. Она хотела сказать, что Озол больна и не отвечает за свои действия.

— Прочь! Прочь! Вы виновны все! Я оставляю вас два дня без еды.

На восьмые сутки Озол все же вернулась. Оказалось, что Лидию из бункера увезли в больницу, ибо она симулировала умалишенную. Ей очень помог лагерный врач, политический заключенный, подтвердивший диагноз.

Краузе, вероятно, было выгодно признать, что нападение совершено в припадке безумия. Однако он не мог этого забыть. Однажды, увидев из окна второго этажа комендатуры Тоню на дворе, Краузе ранил ее выстрелом из револьвера. Это за то, мол, что из швейной мастерской в уборную она шла, а не бежала, как это было предусмотрено лагерными правилами.

Клопы и другие насекомые были постоянными спутниками заключенных. Изредка администрация лагеря, «заботясь о чистоте», приказывала дезинфицировать бараки. Самых заключенных-женщин стогнали в изоляционный барак — чрезмерно натопленное помещение, где на полу была разбросана солома. Нам приходилось проводить в этом душном бараке три дня и три ночи. Мы лежали, словно выброшенные на берег рыбы, и открытыми ртами хватали воздух.

До того как нас впускали в изоляционный барак, надо было пройти баню. Да, да пройти. За несколько часов сотни людей помыться не могли. Поспевали лишь помыть руки и лицо. Но

если у кого-либо оставались сухие волосы, охранник бил плетью и гнал обратно. Выходя из бани, каждая из нас получала полотенце, но вытираться было некогда. Полумокрым нам набрасывали на плечи мужскую рубашку или что-либо другое из одежды. Так одетыми, босиком, зимой и летом, мы должны были добежать из бани до изоляционного барака.

Рубашки и верхние юбки заключенным женщинам выдавали без разбора: часто маленького роста женщины получали длинные рубахи, а высокие — короткие, едва достигавшие пояса. У выхода стояли эсэсовцы. Смотря на полуголых женщин, они орали, как дикари, и издевались. Как-то во время такой перебежки я подружилась с Эльзой Калпинь. Она имела статную фигуру, а рубашка ей попала совсем короткая, и такой же «полусюртучок», который она набросила на голову, чтобы волосы не заледенели. При выходе из бани мы столкнулись. Я была маленького роста, но на мне было длинное пальто. Проталкиваясь через дверь, я в сутолоке успела сорвать с нее короткий сюртучок и отдать ей свое пальто. Так мы всегда старались помогать друг другу.

После «мытья» в бане и хождения по морозу многие женщины в бараке заболевали. Единственным лекарством у нас был горячий чай. Заварку для чая нам приносили женщины, работавшие вне лагеря — в Саласпилском садоводстве.

ГОСПОДИН КРАУЗЕ РАЗВЛЕКАЕТСЯ

Ночь. В бараке стоит глубокая тишина...

Вдруг пронзительные крики:

— Вставайте! Пожар.

— Все вон, быстрее! Огонь уже охватил барак! Хотите согреть? — кричал Видуж и стучал кнутом по столу.

Сонные, перепуганные женщины вскакивали, хватали то, что попадалось под руку, ничего не соображая, падали с верх-

них нар вниз на плечи и головы другим. Отчаянные вопли. В воздухе, казалось, уже чувствовался запах гари. Схватив узелки со своими вещами, женщины бегут к дверям. Люди и узлы застревают в проеме. Те, кто сзади, нажимают. Плач, стоны, отчаяние, смертельный страх.

Выбравшись наконец во двор, видим, что барак окружили вооруженные охранники. Там же рядом стоит комендант Краузе со своей собакой волчьей породы и размелеванной немецкой кокоткой в большой шляпе. Краузе наблюдает за всем происходящим, что-то говорит своей любовнице, и оба смеются, словно их щекочут. Мы поняли — нигде ничего не горит. Неужели действительно наступил наш последний час?

Светлая ночь. Луна. Полуголые женщины, которых выгнали на двор, мерзнут и дрожат от волнения, пытаются закутаться в захваченное с собой тряпье.

Видуж снова орет:

— Становись в строй! Смирно!

После этого он зачитывает инструкцию, как следует вести себя после сигнала тревоги.

Ни одна женщина не соблюдает, мол, этих правил.

— Если бы вы сгорели, виноваты были бы сами! — издевается он.

— Однако на сей раз господин комендант великодушно прощает вас и разрешает идти обратно в бараки спать.

Господин Краузе, его собака и любовница здорово позабавились.

УЛЫБКА СЫНА

Вовек не забуду той минуты. Возможно потому, что тогда я острее чем когда-либо переживала смерть своего сыночка. Это было короткое мгновенье, но меня оно ужасно потрясло.

Напротив нашего барака находился склад инструментов, носилок, лопат и т. п.

Морозное зимнее утро. К бараку подходит группа заключенных в светло-серых брюках и куртках за инструментами. Верхней одежды мужчинам не выдавали даже в самую студеную пору.

Но кто же были эти заключенные? Подростки в возрасте 15 лет.

Я остановилась как вкопанная. Мне казалось, что среди этих мальчиков я вижу лицо своего сына, который улыбается мне успокаивающе, ободряюще, как взрослый.

Нет, это не был мой сын, и все же это был свой.

Мальчики, очевидно, заметили мое взволнованное лицо и один за другим улыбнулись. Затем, насупившись, разобрали свои лопаты и зашагали на работу — очищать снег с дорожек.

Дети — политические преступники! Мне казалось, что холодная рука сжимает мое сердце и оно остановилось.

И только детские улыбки вернули меня к действительности.

Проклятие, вечное проклятие гитлеровцам и их приспешникам — шущманам, айзсаргам и другим вырождакам, которые пытали и погубили столько юных жизней!

БОЛЬ КУЕТ НЕНАВИСТЬ

Шел день за днем. Каждый был заполнен событиями — одно тяжелее другого. Из швейной мастерской часть женщин перевели в «ремонтную» мастерскую — большой пустовавший барак. Здесь раньше содержались тысячи детей, у которых брали кровь для нужд фашистской армии.

Вспоминаю день, когда привели сюда детей. Нас выгнали из барачков, построили, чтобы мы смотрели, как вооруженная охрана отнимает детей у матерей из соседнего барака. Там жили русские женщины. Охранник вырывает из рук матери

ее любимца, ее отбрасывает пинком ноги, а ребенка, как полено дров, шутманы перебрасывают по цепочке из рук в руки.

В воздухе стояли отчаянные, почти безумные вопли. Матери рвали на себе волосы и умоляли охрану:

— Застрелите нас!

Мы стояли как парализованные. Наконец, ругаясь, охранники стали загонять нас в барак.

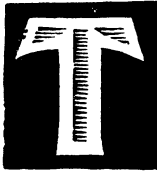
Как человек мог все это выдержать, остаться живым и не лишиться рассудка?

Перенести эти унижения помогло то, что среди заключенных были люди, которые в самые страшные минуты умели сказать добрые, ободряющие слова, подать руку помощи и вселить уверенность в победу человечества. Выдержать все это помогла лютая ненависть к захватчикам и их приспешникам.

Мы, женщины Советской Латвии, которые прошли через гитлеровские застенки, являемся свидетелями бесчисленных зверств, слез и мук тысяч и тысяч матерей, мы проклинаям фашистов и империалистов, готовящих народам новую кровавую бойню!

ОНИ ЖАЖДАЛИ КРОВИ

Карлис Буш



тускые лампочки бросали желтоватый свет на узкие проходы. Между рядами многоэтажных нар копошились истощенные фигуры. В узких оконных проемах уже отсвечивало утро. Кашель, побряхтывание, слабый, приглушенный разговор смешивались с топотом деревянных башмаков.

В конце барака уже раздавали завтрак — черный кофе, по вкусу и виду напоминавший коричневую болотную ржавчину, и кусочек черного хлеба, за которым жадно тянулись костлявые пальцы. Ничтожного ломтика едва хватало на два-три укуса, но были люди, долго жевавшие его по маленьким кусочкам. Им казалось, что так лучше можно утолить голод. Один мой товарищ из своей порции скатывал крохотные шарики и сыпал их в карман, потом по одному клал в рот и сосал. Он был счастлив, что мог дольше себя обманывать.

В то утро лил дождь, и черное небо не сулило быстрой перемены погоды. В таких случаях торфозаготовителей на работу не выгоняли. Делалось это не из человечности, а из коммерческих соображений. Торфозавод платил правлению лагеря за каждого раба, поэтому в дождливую погоду администрация не принимала рабочих. Другие из нашего барака уже были заняты в лагере, а мы, торфяники, сидели в ожидании и боялись, что нас пошлют на «живой конвейер» и заставят носить по лагерю песок.

В барак вошел эсэсовец и вызвал меня в комендатуру.

«Вот и крышка», — подумал я.

— В тюрьме работал конструктором мебели? — спросил староста лагеря — латышский гитлеровец Видуж.

Я облегченно вздохнул.

— Да, работал!

— Тогда на болото больше не пойдешь, останешься в столярной мастерской. Ясно?

— Понятно!

Строительство столярного барака было закончено, и там оборудовали мастерские, где работали столяры, бондари, токарь и парикмахер. Здесь изготавливали мебель, окна, двери, деревянную посуду, деревянную обувь и другие вещи. Умелых рук среди заключенных хватало, и скоро тут насчитывалось до 25—30 мастеровых. Бригада бондарей занимала небольшое помещение у входа, в котором четыре мастера делали бельевые чаны, ушаты для разноски пищи, ведра и шайки.

В нескольких десятках метров за мастерской выросла целая гора поврежденных дорожных сумок и пришедших в негодность чемоданов. В них когда-то их владельцы хранили наиболее ценные вещи, которых никогда больше не видели. На многих чемоданах еще можно было прочесть фамилии и названия мест и городов.

Однажды бондарь Герулис притащил в мастерскую три потерянных чемодана.

— Ты, наверное, собираешься на тот свет, поприветствуй Петра! — подразнил его кто-то.

— Нет! Я сделал сундучок и хочу пристроить ручку. Какая лучше? — обратился Герулис ко мне.

— Бери потолще, ее удобнее держать. — Я схватил чемодан за ручку и несколько раз приподнял его. Вдруг я почувствовал, что в ручке что-то забренчало. Встряхнул чемодан еще раз — да!

— В ручке, наверно, спрятаны бриллианты. Послушай, как стучат. Срывай скорее!

Герулис недоверчиво улыбнулся и в свою очередь потряс чемодан.

— Да, стучат, сейчас посмотрим!

Он осторожно снял ручку, в ней торчал какой-то сверток.

Казалось, шутки становятся действительностью, и наше любопытство нарастало. Вдруг я заметил, что вдоль окна проскользнула «фазанья» шапка. Только успел я крикнуть: «Бросай, Штукас идет!», как в дверях показался помощник коменданта Теккемейер. Герулис со старым Чейраном усердно натягивали обруч на ушат для раздачи пищи, я склонился над каким-то рисунком. Лицом к лицу я увидел Теккемейера впервые. Острый орлиный нос, тонкие губы, невыразительные глаза, полностью лишённые человеческого чувства. Его движения и жесты выражали напыщенное превосходство. Обращаясь к старшему столярной мастерской, он начал:

— Сделайте чертеж четырехместной охотничьей коляски. Она должна быть элегантной и легкой. — Последние слова он подчеркнул с таким жестом, будто уже сидел в коляске и ехал на охоту. — Образец больших колес у того домика. — Кожаной перчаткой показал в сторону маленького домика, который виднелся в окно. Заключенные его называли баней охранников.

— Эскиз должен быть готов через три дня. — Он повернулся и направился в сторону склада награбленных вещей.

Герулис сразу же поднял ручку от чемодана и стал вынимать сверток.

— Нет, не разрезав ручки, ничего не получится.

— Вытаскивай, неужели тебе ручек мало? — подбадривал я его.

Герулис взял щипцы, оторвал тонкий металлический ободок и вытащил старательно завернутый предмет. Развернув его, мы увидели красивое ожерелье из настоящего жемчуга.

Где оно осталось, я теперь не помню. По всей вероятности, отняли эсэсовцы.

Охотничьей коляски я никогда не видел, поэтому не знал, на двух ли она колесах или на четырех. Однако бумага и фантазия позволяют все. Решил нарисовать красивые эскизы, а конструкцию коляски сделать с большими дефектами, чтобы новоиспеченные бароны сломали себе шею.

С бумагой, карандашом и сантиметром я отправился к баньке снять размеры большого колеса, лежавшего в песке около двери. Прислонив его, я стал измерять его и записывать. Вскоре внутри домика раздались слабые голоса. Прислушался внимательнее, но понять ничего не мог. Тогда незаметно несколько раз стукнул колесом в дверь и спросил: «Сколько вас там?» Никто не ответил. Повторил то же самое на русском, потом на немецком языке и внимательно прислушался.

— Девять человек, — ответил слабый голос.

— Дайте сигарету, — попросил другой по-французски.

— Я заключенный и сигарет у меня нет, к тому же дверь замкнута, — ответил я по-французски и спросил: — Откуда, почему и как долго вы тут находитесь?

— Месяц назад нас, примерно 30 мужчин, привезли из Освенцимского лагеря в Рижскую тюрьму. Здесь мы пятье сутки. В первую ночь нас заставили зарыть большое число убитых мужчин, потом копали новые ямы. Прошлой ночью их засыпали. В них были убитые женщины, дети, старики. Здесь нас двое французов, четверо поляков и трое чехов — все политические. Кормят нас раз в два дня. Того, кто не может больше работать, убивают на месте.

На следующий день я снова пошел измерять колесо. Через щель под дверью просунул несколько сигарет и спички. Из девяти там осталось семь человек.

В тот день, как обычно, после скудного завтрака мы готовились к выходу на работу, как раздался приказ: всем построиться во дворе!

Там арестованных уже ждали вооруженные охранники. Среди них не было ни одного, руки которого не были бы обга-

рены человеческой кровью. Чтобы им лучше набить руку во всех фашистских зверствах, их через четыре-пять недель сменяли. Они должны были побывать всюду, где смерть проявлялась в самых ужасающих видах. Дольше оставались только гитлеровцы с особыми заслугами. Выродок Лаурис орудовал в лагере уже пятый месяц. У него всегда находились причины кричать на заключенных и избивать их. Своим коллегам по зверствам он любил рассказывать о кровавых оргиях в Польше и Белоруссии, об участии в уничтожении людей в Бикерниках и Румбуле. К пуле он прибегал лишь в отношении особо сильных людей, для слабых было достаточно приклада винтовки, а детей он брал за ноги и убивал ударом о дерево. За свои чудовищные злодеяния и сэкономленные пули его всегда хвалило начальство и выдавало гратификацию — увеличенную порцию водки. После этого начиналась беспробудная пьянка.

Теперь эти человекоподобные звери заставили нас построиться в несколько параллельных рядов, с пятиметровыми интервалами друг от друга. После команды «Равняйся!» ряды выстроились и воцарилась зловещая тишина.

День был ветреный и холодный. Темные облака закрывали солнце. Северный ветер с воем поднимал вихри пыли, временами бросая в лицо брызги острого песка. Порывы ветра сбивали измученных людей с ног. Все взгляды были обращены в сторону комендатуры, откуда вот-вот должны были появиться комендант Краузе, его помощник Теккемейер и латышский гитлеровец — убийца Видуж. Казалось, что они сейчас придут, отсчитают каждого третьего или пятого и начнет очередная акция.

Это было время, когда на нашей Родине у гитлеровских банд уже земля горела под ногами. Непрерывные удары Советской Армии вынуждали фашистские войска систематически «выравнивать» фронт и все стремительнее откатываться назад. Руководство лагеря и охранники нервничали все больше и больше, обращение с заключенными становилось еще более

жестоким. Из Белоруссии стали прибывать эшелоны с женщинами, детьми и стариками. Привозили тысячи людей, сортировали, отравляли, убивали. Состав похоронной команды увеличился. Ежеминутно можно было ожидать самого худшего...

...У комендатуры появилась группа людей, одетых в гитлеровскую форму. Переговариваясь, они приблизились к нам. Их мундиры украшают свастика и орлы, на фуражках блестят эмблемы черепа. У некоторых вместо галстука — железный крест, но у всех на поясных пряжках надпись «Gott mit uns»*. Уже давно известно, что с этим божьим словом фашисты совершают ужасающие преступления. И на сей раз ничего хорошего ожидать нельзя.

Гитлеровцы обошли наши ряды и выбрали жертвы. Одним ткнули концом палки в живот, другим пощупали челюсти. «Освященные» палкой должны были сделать два шага вперед. Затем их группами отводили в «больничный барак», где в холодной прихожей приказывали раздеться до пояса. Дальше пропускали по пять человек, а остальные ждали свой черед и дрожали.

Пронизывающий северный ветер, как бы озорничая, время от времени раскрывал дверь, наполняя помещение леденящим холодом. Полуголые люди жались ближе друг к другу. На них смотреть было страшно. С каждым порывом ветра замирало сердце. Казалось, эти живые скелеты вот-вот с грохотом рассыпятся. Голодный режим даже самых сильных и плечистых превратил в скелеты.

Через некоторое время вернулась первая пятерка. Бледные люди с посиневшими губами едва держались на ногах. Некоторых даже несли на руках.

— У нас взяли кровь, — прошептал кто-то.

И вот снова выносят здорового мужчину с бритой го-

* «Бог с нами» — нем. (Прим. ред).

ловой. Он без сознания. Кажется, знакомый. Вглядываюсь пристальнее — да, это он — Август Калнинь из барака «Ц-9». В памяти мелькают картинки совместной работы в подпольной печати буржуазной Латвии. Мы, как можем, помогаем товарищу прийти в себя. Вскоре он открывает глаза и шевелит губами:

— Проклятые изверги!

— Война и фашизм — братья-близнецы. А человечность? Такого понятия в фашистском лексиконе нет, — оглянувшись, тихо добавил комсомолец Мартин Крауклис. И тут же продолжал:

— Вчера меня привезли за одеждой из Сауриешских каменоломен, сегодня надо было ехать обратно, но, видишь ли, — сначала спустят кровь, а потом велят грузить камни.

Подошла моя очередь.

В помещении, куда нас ввели, воздух был насыщен испарениями медицинских препаратов. На широких дощатых столах рядами тянулись закрытые стеклянные баллоны с кровью заключенных. Те же эсэсовцы, которые отбирали жертвы, теперь ловко орудовали в белых халатах. Один брал кровь, другой делал анализ и определял группу крови, третий заставлял поднять правую руку, на которой татуировкой обозначал группу крови. Остальные выкачивали красный сок жизни, пока жертве не делалось плохо или человек терял сознание. Если кто-нибудь пытался оказать сопротивление, его безжалостно избивали, тащили в умывальню и оставляли там, пока он не приходил в себя. Затем все начиналось сначала.

— Садись! — указал на свободный стул эсэовец в белом халате. Удивительно чуждо звучали эти слова. Предложить сесть... Это, конечно, не из уважения или вежливости, а...

В левую руку мне дали стеклянную колбу, а у правой что-то делал эсэовец. Уже через несколько секунд в колбу потекла кровь. Я повернул голову в сторону. Рядом сидел Мартин Крауклис. Лицо его было смертельно бледным. Еще

мгновение и... колба падает, но эсэсовец ее ловко подхватывает. Падает человек. Да, кровь они умеют беречь, а людей...

Струйка крови у меня постепенно иссыкает, и гитлеровец приказывает подвигать рукой — сжимать пальцы в кулак и снова разжимать. Постепенно поток крови увеличивается. Но рука быстро устает, и движения становятся все слабее.

— Быстрее, быстрее! — кричит фашист.

Мне становится плохо... Вскоре я оказался в прихожей на полу.

Вечером перед поверкой староста лагеря ходил по баракам и от имени коменданта сообщал:

— Отдавшие свою кровь имеют право два дня получать дополнительную порцию кофе, а в обед, если будут излишки, даже супа.

Так они глумились над нами.

Такие вампирские акции предпринимались в лагере неоднократно — это способствовало заболеванию заключенных и увеличивало смертность.

Убийцы в белых халатах показали свое подлинное звериное лицо.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Лидия Лигер

В

середине июля 1944 года нас из Рижской Центральной тюрьмы привезли обратно в Саласпилский концентрационный лагерь, чтобы отправить в Германию. Всех пересыльных заперли в один барак. Не только четырехэтажные нары были забиты до отказа, но и на полу негде было ногой ступить. Разные тут оказались женщины. Старые и молодые. Некоторые лишь недавно были арестованы и сами не знали, за что. Вещей они взяли из дому столько, сколько в силах унести. Могла ли хоть одна заключенная подумать, что в Германии ее ограбят до нитки? Немцы советовали брать с собой по возможности больше вещей. Это им было выгодно, не нужно заботиться об отправке в Германию.

В бараке шум, слезы. Как оставить родину, когда победа так близка? Об этом свидетельствовали сброшенные с самолетов «свечки», ярко освещавшие ночью весь лагерь, об этом говорила отчетливо доносившаяся канонада, которая иногда отдалялась, но затем снова приближалась. Сердца бились в тайной надежде: может быть, отрежут путь в Германию и нас не успеют увезти!

Но в следующие дни и ночи было тихо. Нам сообщили, что отправят дальше.

Вместе с Отилией Нуржой, Еленой Макаровой, Эмилией Фрейман, Агнесой Брок и Ольгой Мисиней мы решили — если нас не разлучат, то и ад нам не страшен. Руки верных друзей

прокладывают мосты через пропасти самых больших страданий и ужасов. Но болезнь перечеркнула наши надежды. Поев отвратительно пахнувший суп из конины, мне стало плохо, и утром меня отнесли в «больницу» — 12-й барак, состоявший из нескольких помещений. В двух комнатах лежали мужчины, болевшие тифом и дизентерией. За день оттуда выносили четыре-пять трупов, а на их место помещали новых больных. В женском «отделении» находилось около десяти коек. На них лежали разные больные. Через наши головы тянулся косой потолок со щелями и дырами от выпавших сучьев. В бредовой горячке они превращались в самые фантастичные картины.

В больничной кухне, тайком от начальства, заключенные сушили корни конского щавеля, мололи их в мельнице и растирали в порошок. Этим народным лечебным средством товарищи пытались спасти больных. Возможно, кое-кому это и помогло вырваться из когтей смерти.

Вскоре я так ослабла, что не могла даже дотянуться рукой до лица и повернуться без посторонней помощи. Днем еще ничего, но ночью от клопов нельзя было отбиться. Я была в самом тяжелом состоянии, поэтому ухаживавшие за больными товарищи уделяли мне больше внимания. Милда Риньке и Эмилия Стиebre ошпаривали кипятком мою постель, сменяли матрац и белье, но от клопов спасения не было. И откуда они только брались! Как только гасло электричество — пакш, пакш! Подобно дождевым каплям, падали они на лицо. Оказывается, убежище кровопийц было в потолке! Но никак нельзя было до них добраться.

Санитарки взяли на себя еще одну обязанность: сидели ночью у моей постели, время от времени зажигали электричество и собирали отвратительных паразитов. К утру в посудине с раствором хлористой извести они лежали толстым слоем. Нелегко было им дежурить, когда ждали еще десятки других работ. Но не трудности пугали санитарок. Они боялись, чтобы в комендатуре не узнали, что они зажигают свет, и не выключ-

чили ток... Там не желали облегчить наши муки. Заботливые руки товарищей дали мне возможность во сне накопить силы, которых оставалось так мало, что иногда хотелось положить всему конец.

Но товарищи боролись за мою жизнь. Даже за стенами «больницы» они не забывали меня. Регулярно через открытое решетчатое окно они просовывали бутылку с отваром дубовой коры. Его доставляли заключенные, с которыми я вместе работала в прачечной и гладильной. Была ли это Милда Пуле, Жения Эглите или другие — я не знаю, ибо ни одну из них больше не встретила. Знаю только: посылка приходила из прачечной. Кору доставали у работниц садоводства, которые были заняты вне лагеря. В прачечной ее сушили и отваривали. Рискую получить пулю от часового со сторожевой башни, они доставляли мне напиток, проходя мимо с чистым бельем, или еще как-нибудь. Напиток этот помогал преодолеть болезнь, утолял жажду, уменьшал выделение крови.

Но слабость не проходила. Вдруг отказала левая рука; она лежала, как деревянная. Подошла Эмилия Стиebre. В ее глазах я заметила испуг, однако она успокаивала меня: «Ничего, ничего. Рука только онемела». И быстро стала растирать мои бесчувственные пальцы.

Ко всему прибавилось еще одно несчастье — ожидали очередного визита врача Какиса. В комнате чувствовалось лихорадочное беспокойство. Я не понимала, почему всем хочется, чтобы я выглядела бодрее, они старались даже натереть мне щеки, чтобы они зарумянились. Только позже я узнала, что после таких визитов больных, если на их выздоровление (по мнению врача) было мало надежды, увозили в лес...

Так было и с Конрадом Леем, заболевшим туберкулезом: у него три раза подряд в больших дозах брали кровь. За короткое время от сильного мужчины остались кости да кожа, но убийцы не дали ему спокойно даже умереть. Еле живого

его вместе с другими «безнадежными» погрузили в «машину смерти» и увезли...

Когда Какис со своей свитой остановился около моей постели и вылупил глаза, все застыли от испуга. Прежде чем он успел сказать хоть слово, больная Мария Екабсон, знавшая немецкий язык, стала пояснять, что я уже стала поправляться. Какис прикрикнул на Екабсон и, сказав «еще подождем», пошел дальше.

Санитарки понимали, что ждать нечего, ибо никто и не думал меня лечить. А если я не поправлюсь, меня уничтожат. Милда Риньке стала давать мне чай с сахаром и другую еду из своих посылок. Постепенно я окрепла.

Но тут нагрянула новая беда. Готовилась отправка в Германию. Было дано указание не оставлять в Саласпилсе ни одного из тех, кто был внесен в «черный список». Заключение Петерсон, работавшая до помещения в «больницу» в комендатуре, сказала, что я числюсь в этом списке. Что делать? Пришло распоряжение доставить меня на носилках в автобус и потом на пароход. Начали одевать. Каждое прикосновение вызывало жгучую боль во всем теле. Я потеряла сознание. Когда очнулась, в комнате был лагерный врач Шалкович. Больные и санитарки стали упрашивать его сообщить в комендатуру, что меня нельзя отправлять. Шалкович не хотел иметь неприятностей и отказался. Милда Риньке уговорила сестру Брикман, и обе отправились в комендатуру. Они понимали, что до нового места я не доеду.

Меня временно оставили. С этой группой увезли товарища Екабсон, которая, сама передвигаясь на костылях, неутомимо заботилась обо мне. И в Штутхофском лагере уничтожения, где мы снова встретились, она была одной из тех, кто делил со мной порцию супа, чтобы помочь мне быстрее стать на ноги.

Стоит ли еще говорить, что заключенные, работавшие в теплице, присылали мне помидоры и лук. Я даже не знаю

и не могу назвать всех тех, кто, порою рискуя жизнью, поставил меня на ноги.

Руку помощи друзей я ощущала и на чужбине.

Когда Советская Армия приближалась к границам Латвии, заключенных из Саласпилса отправили в Германию в Штуттофский лагерь смерти.

Здесь жернова смерти работали еще быстрее. Днем и ночью мрачная кирпичная труба выбрасывала черные, ядовитые облака. Там сжигали живых. Тех, кто умер в бараках, раздевали, выносили во двор и складывали, как дрова, в штабеля. С каждым днем эти штабеля росли и росли.

Что будет с нами? Превратимся ли мы в дым или останемся лежать около колючей проволоки?

В один февральский день всех, кто еще мог шевелиться, одели в снятую с мертвых одежду. Каждому на спине красной и белой масляной краской намалевали крест. Дали еще по одеялу и торбе из мешковины, в которую каждая из нас положила ложку и продукты на несколько дней — полкирпичика хлеба и кусочек маргарина. Это был последний продовольственный паек. Начался поход смерти.

Шли рядами по середине дороги. По краям шагали конвоиры с винтовками. Шествие заключали эсэсовцы с автоматами. После нескольких голодных дней мы едва волочили ноги, и все чаще за спиной раздавались автоматные очереди. Убивали каждого, кто падал и не мог сразу подняться.

Нас оставалось все меньше и меньше. Весь этот живой поток вероятно иссяк бы, как река в песках пустыни, если бы нам не помогали люди. Мы шли по польской земле. То по одну, то по другую сторону дороги встречались бурты только что откопанного картофеля и брюквы. Брюква и даже вареная картошка были разбросаны по нашей дороге. Хотя мы людей и не видели, мы все время чувствовали их присутствие. Польки, узнав, что мы остановились на ночь, на рассвете приходили с ведрами горячего супа. Их не пугали ни ругань, ни угрозы.

Это была тихая и упорная, но мужественная борьба за наши жизни.

Вдруг нам запретили пить. Если по пути встречался колодец, насос или пробившийся из-под льда ручеек, его моментально окружали охранники, чтобы мы не осмелились зачерпнуть воды. Жажду утолял только серый стоптанный снег, который мы на ходу загребали мисками. Но это могли делать лишь здоровые. Слабые, наклоняясь, нередко падали и не могли больше подняться..

Обессилевших становилось все больше. Впереди меня шла мать с двумя дочерьми. Держась друг за друга, они едва двигались. Младшая девочка несколько раз падала, но сестра и мать поднимали ее и тащили вперед. Но и у них силы иссякли. Когда девочка снова упала, мать наклонилась, но поднять ее не смогла. Мы хотели вернуть мать в строй, но она не могла оторваться от дочери. «Не отставай, мамочка», — предупреждала ее дочь. Но напрасно. Раздалась автоматная очередь, и на обочине остались два скорчившихся трупa.

Вскоре и я обессилела.

Уже вечерело, а на белой равнине, по которой мы двигались, не было видно ни одного дома. Дорога поднималась в гору. С трудом давался каждый шаг. Голову сверлила только одна мысль: не упасть, не упасть!

Еще шаг, еще. Может быть, сейчас увидим дом, где предусмотрен ночлег? Напрасно. Вокруг лишь безнадежный белый простор и... ноги больше не слушаются. Это почувствовали и мои подруги Вилма Плесум и Аустра Димбиере, с которыми я шла в одном ряду. Вместе мы были и в Штутхофе, когда нас привезли из Саласпилса. Мы всегда делились всем, что у нас было. И теперь друзья не оставили меня. Аусма сняла с моих плеч торбу с миской, Вилма — одеяло, чтобы мне легче было идти. «Ну еще хоть несколько шагов», — подбадривала меня Вилма и тащила в гору, не жалея себя ради

моей жизни. И вот там, недалеко за горой, показался сарай — место нашего ночлега.

— Мы будем жить! — шепнули подруги мне на ухо.

Как красиво звучат слова, если они идут от сердца!

Мы постоянно заботились друг о друге. В швейных мастерских и на нарах тайком шили и вязали рукавицы для мужчин, которые работали на морозе. Стирали друг другу белье, чтобы не зарости грязью. Делились последним куском хлеба. А наши родные! Все лучшее, что у них было, они старались отдать нам. Разве все это не было борьбой за нашу жизнь?

Тем, кто сегодня спрашивает: «Как вы остались в живых», хочу ответить: «Нет надежнее поддержки, чем плечо друга. Вовремя протянутая рука друга иногда делает то, что называют чудом».

СТРУНЫ ЕЩЕ ЗВЕНЕЛИ

Петерис Вигант



ваные черные облака время от времени закрывают месяц, который как будто нарочно подвешен над огромным квадратом колючей проволоки. Это единственная большая лампа, и ее свет не стоит комендатуре ни пфенига. И тогда над темными рядами бараков, в правом углу лагеря загорается вторая светлая точка. Такая маленькая, как искорка жизни заключенных, но ее не могут закрыть лоскутья черных облаков.

Маленький огонек горит в окошке лагерной больницы, отгоняя от больных черную руку тьмы. Здесь жизнь борется со смертью. Это тяжелая и трудная борьба. На стороне смерти те, кто носит череп на фуражке и пистолет на боку. На стороне смерти жестокость, насилие, голод. Даже холодный ветер, проникающий сквозь щели в бараки, и дождь, пробивающийся через крышу и капающий на головы больных, — и те союзники смерти.

А кто же на стороне больных?

— Санитар, где врач? — Лицо у человека, который зовет меня, так же серо, как мешок с соломой, на котором он лежит.

— Доктор... Да, скажи, пусть придет доктор... — склоняется с верхних нар взлохмаченная голова и ищет меня.

Я вижу, что больному холодно, он натягивает на голову короткое одеяло. Я с удовольствием укрыл бы его посиневшие ноги, но у меня ничего нет.

Открывается дверь комнаты, где лежат больные женщины:

— Помогите, дорогие товарищи! У нас тут одной плохо. Где врач Бдил? Почему он не идет? Он же редко отходит от больных.

Врача я нахожу в маленькой комнатке, которую мы прозвали аптекой. Он сидит на табуретке, обхватив руками голову. Он такой же заключенный, как и мы.

— Больные зовут вас, доктор. Лекарства нужны.

Бдил смотрит на меня. Лицо его выражает глубокую печаль.

— У нас больше ничего нет, — говорит он. — Абсолютно ничего. Вчера комендант все отнял. Лекарства нужны для фронта. Чем же мы будем лечить?

У нас отняли лекарства. Но они не принадлежали фашистам. Их нам дали венские и пражские аптекари. Они, полагая, что едут «на новое местожительство», брали с собой самые ценные медикаменты. Самих аптекарей уже нет: их уничтожили и нет также оставленного ими наследства.

Врач остался с пустыми руками, но он вскакивает и направляется к больным.

Бдил останавливается у кровати молодой, но уже седой женщины — и что я вижу! — улыбается. Даже глаза искрятся.

— Будет хорошо, будет хорошо! — Он берет обессиленную руку женщины в свою, дружески распрашивает — про болезнь, семью, о планах на будущее. Что, у вас трое сыновей? И еще такие маленькие! Тогда надо скорее выздоравливать, встать на ноги и ехать домой. Да — домой. Скоро все поедет. Наши уже совсем близко... Вот обрадуются мальчики, когда снова будете вместе...

На глазах матери троих детей, брошенной в лапы смерти за помощь военнопленным, появляются слезы радости. И ей кажется, что боль в груди уже не так сильна, как вначале. И дышать не так тяжело...

А доктор уже возле тех, у кого перебиты на каменоломнях ноги. Это сильные люди. Они хотят знать правду. Пусть врач скажет: выздоровеют ноги или придется ходить на костылях.

Врач вытягивает лицо в шутовой гримасе:

— Нет, нет, на этих ногах домой из лагеря вы не пойдете. На них вы побежите, как стайеры.

Мужчины еще радостно улыбаются, а Бдил уже присел у больных, что лежат на полу и стонут. Им он рассказывает о мужестве, героизме, выдержке наших воинов. Откуда у него такие сведения? Я слушаю и понимаю, что все это доктор выдумывает, чтобы ободрить больных. А в действительности это сущая правда. Такие герои были. Мы только не знали тогда их имен — Маресьева, Гастелло, Зою Космодемьянскую и многих, многих других.

Десятки глаз смотрят на врача. Все ждут, чтобы он подошел. Он должен успокоить боль. Капли, таблетки, инъекции — с ними было бы легко. Боль утихает, люди засыпают, жар спадает. Но у Бдила ничего этого нет. У него только доброе, сочувствующее сердце, есть сердечные, ободряющие слова. Они придают силы больным. Но Бдил знает, что одно и то же лекарство для всех не годится. Он резко поворачивается и выходит из барака.

— Ушел... — слышится тихий вздох.

Неужели сегодня врач не поговорит со всеми больными? Неужели все не услышат его дружеских слов. В них ведь чувствуешь близость фронта, чувствуешь победу и свободу.

Кто-то просит пить. Я беру облупившуюся глиняную кружку и зачерпываю воду из деревянного чана. Но что это такое? В бараке звучит музыка. Больной тоже отнимает кружку от губ и прислушивается. В мрачном душном помещении слышен нежный голос скрипки. Чарующе-щемящие звуки льются по комнате. Около двери стоит и играет тихо вошедший доктор Бдил. Его волосы слегка растрепались, глаза блестят, как два уголька в ночной тьме. Еще совсем недавно с этой скрипкой выступал в Европе молодой музыкант, которого здесь публично расстреляли. Перед тем как его увели на казнь, он подарил скрипку врачу.

Врач медленно двигается вдоль нар и играет. Многие больные садятся, приподнимаются на локтях. Понемногу стоны умолкают. Встревоженные лица больных проясняются, дыхание становится ровнее. Утихает боль, забывается голод.

Когда скрипка замолкает, седовласый Бите берет руку Бдила в свою и едва слышно шепчет: «Спасибо, доктор...»

В бараке ни одного стоана, ни одного вздоха.

— Еще, пожалуйста, что-нибудь...

Скрипка снова прижимается к плечу, смычок ласкает струны. Снова живительная сила течет со струн к человеческим сердцам.

«Держись, еще надо бороться», — страстно зовет скрипка, и в этом зове больные слышат слова:

«Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут!»

Кажется, будто стены отступили. Не шагает ли там мощная колонна демонстрантов?

Никто не слышит, как скрипнула дверь. Лишь ворвавшийся в барак холодный ветер заставляет нас оглянуться. В дверях стоит ротенфюрер Теккемейер, помощник коменданта лагеря. Он приехал из Риги, чтобы проверить лагерь ночью.

— Играете? — спрашивает Теккемейер.

— Да... Точнее говоря, лечимся. — Бдил вертит в руках скрипку. — Это у нас единственное лекарство.

— Великолепно! — иронически протягивает Теккемейер, и, резко повернувшись, вырывает из рук Бдила скрипку и разбивает ее о печку.

— Песенки коммунистов ты помнишь, а что-то поважнее забыл. — Теккемейер сопит и грозит Бдилу пальцем. — Ты забыл, что посреди лагеря стоит виселица!

Он яростно хлопает дверью и, стуча сапогами, уходит.

Врач наклоняется, берет разбитую скрипку и тщательно осматривает ее.

В бараке стоит гробовая тишина.

— Будет хорошо, — говорит Бдил, — струны не порваны. Они еще будут звучать. Они еще будут звучать в день победы.

В день победы раздавались крики радости, звучала музыка. Но врач Бдил не дожил до этого. После того случая его вскоре увезли в Рижскую Центральную тюрьму, а оттуда — в Бикерниекский лес.

МЫ УБЕЖАЛИ

Велта Зекунде



итлеровцы арестовали меня, тогда еще девочку-комсомолку, в начале войны. Пересылали из тюрьмы в тюрьму, пока осенью 1942 года я не попала в Саласпилсский концентрационный лагерь.

Не буду рассказывать о всех ужасах и бедах, которые пришлось там пережить. Их описали в этой книге другие. Хочу только вспомнить один случай — как я вырвалась из этого смертельного капкана.

В то время как Советская Армия уже сражалась на латвийской земле и оккупантов, как и их приспешников, пугали темные леса, где обитали народные мстители, мы все чаще стали думать о побеге. Комсомолки Алма Палдыня и Елена Брок доказали, что это возможно. Летом 1944 года они убежали из Саласпилсского садоводства. Этот смелый шаг нас обрадовал и вдохновил.

Убежать из лагеря, разумеется, было труднее. До сих пор почти все попытки успеха не имели. Смельчакам это стоило жизни. И все же нас это не пугало. События на фронте только укрепляли наше решение.

Побег организовал Язеп Канепе. Этого комсомольца мы все хорошо знали. Он работал в комендатуре парикмахером и довольно регулярно доставлял нам фашистские газеты. Мы умели даже между строчками лжи прочесть правду и передать ее дальше.

Итак, мы, двенадцать человек, из которых еще помню

Миервалда Декниса, Катрину Соболеву, Антонину Федорову, Элзу Кирс и комсомольцев Язеп Канепе, Веру Чипот и Генофеву Опинцан, осуществили побег, план которого мы обсуждали много раз, в одну из июльских ночей 1944 года. Незадолго до полуночи Язеп Канепе вывел из строя электросеть во всем лагере. Мы собрались в недавно вырытой яме у самого заграждения, на стороне Риги. Переоделись и тюремную одежду выбросили в уборную, находившуюся там же рядом. Потом подобралась к колючей проволоке. Я обмотала ее тряпкой и держала, а Язеп Канепе резал садовыми ножницами. Работали с затаенным дыханием, в груди сильно билось сердце. Казалось, вот-вот все кончится благополучно, но последний виток вырвался из моих рук и забренчал. Охранники стали стрелять в нашу сторону.

Что теперь делать? Податься обратно? Может быть, тихо распозтись по своим местам и сделать вид, будто ничего не случилось? Сделать это мы бы еще успели. Но сердце звало: вперед! Живыми или мертвыми, но мы должны вырваться на свободу!

Это был миг внутреннего напряжения, как те, когда на фронте бойцы своими телами образовывали живые мосты через проволочные заграждения или грудью закрывали вражеские амбразуры. Мы тоже поднимались на борьбу. Вырвавшись из лагеря, бежали изо всех сил. Высокая трава скрывала наши пригнувшиеся фигуры. Мы бежали и падали. Когда нас нащупывал луч прожектора, мы прижимались к земле. Катрина Соболева потеряла сознание. Это сильно затрудняло наше движение вперед. И все же в ту ночь мы оставили за собой километров двадцать.

Рассветало. Подыскивали в лесу убежище — яму и замаскировали ее. Я была вместе с Катриной Соболевой и Язепом Канепе. Надо было отдохнуть, набраться сил, но нам не давали уснуть нервное напряжение и радость, что мы свободны, свободны!

Затем мы расстались. Язеп Канепе отправился к каким-то дальним родственникам, чтобы достать пищу и одежду, и больше не вернулся.

Его схватили, привезли обратно в Саласпилс, пытали и, наконец, на глазах у всех повесили.

Комсомолец Язеп Канепе не выдал ни одного соучастника побега, не отвечал даже на вопросы истязателей. Бывшие заключенные и сегодня помнят Язепа Канепе как настоящего героя.

Вскоре после побега была схвачена и Генофева Опинцан, всегда веселая и энергичная девушка, постоянно любившая скандировать:

Хотеть — значит мочь,
а мочь — значит побеждать!

Она молча вынесла пытки. Ее расстреляли.

Схватили также Миервалда Дексниса. Его тоже убили.

Нам, остальным, посчастливилось — мы остались в живых. Но что бы мы ни делали, где бы ни находились, как бы ярко ни светило солнце, мы никогда не забудем погибших товарищей, нам всегда будет казаться, что через плечо смотрят на нас множество глаз, тех смелых и ясных глаз, что засыпаны саласпилским песком. Они призывают нас свято хранить обретенную свободу и мир, ибо сегодня еще есть люди, мечтающие о военных пожарах и колючей проволоке.

В БОЛОТЕ

Янис Клявинь

Горы бывают разные: молодые и старые. У молодых голые и дикие, ребристые, острые вершины скал. Старые уже округлились, обросли лесами и утратили свою суровость.

Так и память. Вчерашнее, позавчерашнее или даже годичной давности событие ярко остается в памяти, а через десять-пятнадцать лет оно уже теряет свою остроту, как бы обрастая мягким мхом, только местами открывая голые, обвалившиеся стены...

Много лет прошло с саласпилских времен. Много действительно забылось. Память не сохранила все фамилии, которые знал и которые надо было знать и сегодня. Многие собы-

тия потеряли свою остроту. Осталась только тяжесть тех 984 дней.

Летом 1960 года я еще раз обошел территорию лагеря. Развалины, пепелища, которые, отступая, гитлеровцы оставили во многих городах, здесь еще полностью сохранились. И все же — сквозь обломки кирпича смело пробивались зеленые побеги молодых березок и осинок. В канализационных трубах лагерной больницы расположилась целая лисья семья.

* * *

Вторую группу латышей — 200 человек в Саласпилсский концентрационный лагерь привезли 18 мая 1942 года. В то время лагерь еще не был полностью оборудован. Стояло только несколько барачков: комендатура, кухня, склады, три или четыре барака для евреев и один пустой — для нас. Вокруг лагеря еще не было даже ограды, зато виселица уже возвышалась в центре.

На второе утро нас рассортировали. Кое-кого из тех, кто знал немецкий язык, назначили переводчиками. Других послали на кухню. Интересовались также разными ремесленниками. И, наконец, назначили старшего барака, писаря и фельдшера, нескольких стариков определили уборщиками помещений, а остальных разбили на группы по 15—20 человек и в каждой назначили старосту.

Коренастый немец с похожим на огурец носом вызывал из строя тех, кто владел немецким языком. Как позднее выяснилось, это был комендант лагеря Никкель. Из строя вышел также адвокат Вагнер и подошел к Никкелю, как обычно человек подходит к человеку. Никкель оглядел его с ног до головы, затем тростью сбил с головы шапку и оттолкнул от себя. Этим властным жестом гитлеровец как бы провел грань между собой и нами. Жалко поникла фигура семидесятилетнего Вагнера.

Большинство из нас, примерно 120 человек, стали работать на торфозаводе. Остальные остались на территории лагеря: строили бараки и дороги, возводили ограды и выполняли другие работы. В первые дни я также работал в лагере. Мы копали яму для уборной, выемки для столбов, оборудовали карцер.

Уже после первого рабочего дня некоторые не могли подняться с нар. Не было сил. После пятимесячной голодовки в Центральной тюрьме мы больше походили на бродячие трупы, чем на живых людей. Я весил около 40 килограммов. Свежий воздух и работа валили с ног. Поскольку на болото ежедневно надо было отправлять определенное количество людей, то вместо обессиленных назначали других. Через неделю я тоже был включен в группу Арвида Виксны, работавшую на болоте.

* * *

Каждому когда-нибудь приходилось болеть, оставаться на несколько дней дома или даже в постели. Вспомните, с каким ощущением после этого вы впервые выходите на улицу. Солнце кажется ярче, теплее, воздух напоен ароматом, дышится приятно, легко. Подобное ощущение испытывал я, когда в то первое утро шагал к торфяному болоту.

Шли через русло старой Даугавы, лугами, огибали уголок леса и направлялись напрямик к Саласпилсскому торфозаводу. Позже мы ходили по железнодорожному полотну до станции и потом по дороге до самых торфоразработок.

До чего ж прекрасен луг, одетый в покров майских цветов! Как хотелось нарвать полную охапку желтых лютиков, красно-бурых или крохотных, синих истодиков. Спрятать в них лицо и глубоко, глубоко вдыхать опьяняющий запах влажной земли.

Или опять-таки лес. К крикам чибисов и трелям жаворонков присоединяются звонкие голоса зябликов, кукование ку-

кушек и большой, невидимый хор лесных птиц за кулисами сосен. К уже и так насыщенному весенними запахами воздуху примешивается сладко-горький сосновый аромат. Дурман в голове усиливается. Эй, вы, лесные обитатели, посмотрите на эту толпу спотыкающихся оборванцев, которая в сопровождении нескольких вооруженных винтовками людей плетется сосновым бором! Это люди — владыки природы, венец творца. Желтые лица, трясущиеся руки и подкашивающиеся ноги.

Наконец мы на торфозаводе. Как выдержать тяжелый рабочий день, если уже сейчас так и хочется присесть. От бессилия тело кажется перебитым.

Нас делят на группы. Часть идет рыть подстилочный торф, другие остаются у машины заготавливать горючий торф. Остальные направляются на работу к торфодробильной машине и в тарные мастерские. Предназначенные для обеденного супа продукты мы принесли с собой. Обед будет готовить наш повар тут же на болоте.

Я попал в машинную группу, то есть в ту, которая будет заготавливать горючий торф. Здесь у каждого свои обязанности. Одни копают торф и бросают его на элеватор, другие принимают из машины готовую торфяную массу и направляют ее на дощечки, третьи, в свою очередь, снимают ее с тросов и расстилают. Кроме нас здесь работают и вольнонаемные — машинист и бригадир Екабсон. Он должен следить и за рабочими у другой машины, которая работает в соседнем болоте, в так называемой Кулайне. Обслуживают ее военнопленные, с которыми нам строго-настрого запрещено встречаться.

Нашу группу усердно охраняет эсэсовец с винтовкой.

Я должен стоять в яме и копать торф. Всем рабочим полагаются резиновые сапоги, но они дырявые, и ноги целый день мокнут в холодном, как лед, торфе. С каждой стороны элеватора работает 4—5 человек. Первый свимает верхний слой, второй постепенно врывается глубже... последний стоит на самом дне болота. Толщина торфяного пласта от 2 до 5 мет-



К. Буш

На торфяном болоте.
Литографюра К. Буша

ров. Уже конец мая, а оттаял только самый верхний слой торфа, сантиметров в двадцать. А мерзлый слой достигает полуметра. Приходится браться за топоры и ломы. Два месяца мы промучились, долбя этот ледяной пояс. Лишь в августе его можно было прорезать лопатой. Это результат суровой зимы 1941—1942 года.

На болото выходили с чуть занимавшимся рассветом, а возвращались в лагерь в сумерках. Надо было копать норму.

* * *

Питание в Саласпилсском лагере ничем не отличалось от того, что давали в так называемом Рижском концентрационном лагере, куда нас ранее поместили после окончания допросов. Он находился в отдельном корпусе Рижской Центральной тюрьмы. В Риге иногда, особенно в начале, мы получали и хороший хлеб, чего здесь никогда не случалось. Тут хлеб пекли специально для нас — с 25-процентной примесью муки из лиственных деревьев. В начале недели, еще свежий, он хоть по виду и запаху напоминал хлеб. Только после первого же куска во рту оставался горький привкус. К концу недели хлеб почти невозможно было разрезать ножом — настолько он затвердел — дерево остается деревом. Хлеб сильно плесневел. Иногда попадался совершенно зеленый «паек». Но мы поедали и всю плесень.

В обед каждый получал три четверти литра супа. В супе две картофелины. На человека полагалось также 8 (!) граммов конины.

Утром, перед выходом на болото, — мутная жидкость, называемая кофе (без сахара, конечно), вечером, по возвращении с болота, — снова «кофе».

Продукты для обеденного супа — мясо, картофель, иногда также крупу нам выдавали на целую неделю, и мы в понедельник сами приносили их на болото. Нередко сверток, в котором

должно было быть мясо, отвратительно вонял. Там вместо мяса оказывались гнилые тресковые головы.

А бригадир Екабсон только сердился, что не выполняем норму. Грозил заменить нас другой — лучшей группой рабочих, обещал пожаловаться на нас в комендатуру. Однажды, устав слушать его причитания, я ответил ему:

— Залей в свой дизель вместо газаolina такой же кофе, какой дают нам, тогда увидишь, сможет ли он работать.

Екабсон замолчал и, повернувшись к другим, сказал:

— Правильно сказал, черт! — и ушел.

Годы неволи особенно тяжелы были для курильщиков. Горсть настоящего доморощенного табака была на вес золота. Но мы никак не могли его раздобыть. В этом отношении нас иногда выручал тот же Екабсон. Придя утром на болото, он всегда угощал самых заядлых курильщиков самодельными сигаретами. Дым был страшно крепким и отвратительно вонял. Как позднее выяснилось, «табак» Екабсона был ничем иным, как сенной трухой, обработанной сульфатом никотина, который мы потом тайком доставали у тех, кто работал в садоводстве около станции Саласпилс. В садоводстве этим ядом уничтожали вредителей. В довольно вместительной сигаретной коробке Екабсона было три отделения: сигареты средней крепости для себя и для нас, более легкие — для женщин, а самые крепкие — для военнопленных. Екабсон утверждал, что за лето мы выкурили у него зимний корм одной коровы.

* * *

Мы, оставшиеся в живых, многим обязаны самоотверженным людям, которые заботились о нас. Сколько жен, матерей, сестер и невест отрывали от своего рта не один кусок, чтобы хоть немного улучшить наше питание. Смерть была бы куда губительнее, если бы вы, милые люди, не помогали нам, смелость и выдержка, которые вы проявили, чтобы иногда до-

браться до нас, свойственна не каждому. Вы днями, неделями, даже месяцами томились у ворот Рижской Центральной тюрьмы, ходили из Риги в Саласпилс, преодолевали трех- и четырехкратные посты на аэродроме Спилве, терпели издевательства и грубость охранников — вы ничего не боялись, чтобы только увидеть любимого человека, дать ему кусок хлеба или сказать ободряющее слово. Одна лишь моральная поддержка, не говоря уже о куске хлеба, для нас означала много, очень много. Сознание, что мы не забыты, что есть люди, которые сочувствуют нам, помогало вытерпеть многое. Даже самые трудные минуты жизненных испытаний человек переносит легче, если чувствует поддержку друзей и близких. Хорошее настроение, ясный взгляд в будущее дают силы преодолеть огромные трудности.

Страшная голодная смерть грозила нам, когда мы находились в Рижской Центральной тюрьме. Голод, тиф и дизентерия косили людей. Карантин и категорический запрет приносить передачи увеличивали смертность. 180 граммов хлеба в день только усиливали голод. Тогда мы не имели почти никаких связей с внешним миром.

Когда в первые дни апреля нам сообщили об отмене карантина, были разрешены и передачи. Мы не спали всю ночь и думали, как эту весть сообщить родным. А на следующее утро мы уже получили передачи. Позднее узнали, что наши близкие всю долгую, холодную зиму непрерывно дежурили за тюремными воротами и сравнительно хорошо были информированы о нашей судьбе.

* * *

Уже в первый день, как только я начал работать на болоте, ко мне во время перерыва подошел один товарищ и сообщил, что пришла моя жена Лидия, которая ждет меня у кривой березы. Оказалось, что наш охранник уже «обработан» и где-то

дремлет на солнышке, притворяясь, что ничего не видит. Действительно, на краю болота среди кустов росла большая, но кривая береза, возле которой собрались наши близкие. Какое счастье хоть четверть часа поговорить со своими, пожать им руки, посмотреть в глаза.

Позднее «кривая береза» стала синонимом слова «встреча».

Как родные добирались до болота? Регулярного железнодорожного сообщения не было. Иногда можно было воспользоваться товарными поездами, ходившими до Шкиротавы, Румбулы или Сауришей. Иногда приезжали на попутной машине. Но надежнее всего было пешком. Так же и обратно. Позже наши близкие организовали что-то вроде базы около станции Саласпилс. Это была будка железнодорожника Вилшкерста, где можно было немного посидеть, отдохнуть, переждать дождь. Иногда помещения гостеприимного хозяина использовались для ночлега и хранения свертков, если не удавалось встретиться в первый день.

Но не всегда охранники притворялись, что ничего не видят. Попадались настоящие звери, когда в сторону кустов и посмотреть нельзя было. Часто стражу проверял кто-нибудь из лагеря, а иногда и из Рижского гестапо. В такие дни жены, конечно, вблизи болота и показываться не смели.

* * *

Из приносимых нам продуктов мы запасов создавать не могли. Все тут же надо было съесть. Иногда мы рисковали кое-что пронести на территорию лагеря. Пригодилось бы самим на «черный день», а также товарищам, не имевшим возможности встретить своих родных. Бывало, нам везло, но иногда, как только мы входили на территорию лагеря, из караульного помещения выбегали эсэсовцы и окружали нас. Начинался обыск. Ощупывали нас основательно. И если у кого-нибудь что-то находили, его сразу вырывали из строя и направляли

к Никкелю, Видужу, Дзенису и другим начальникам, которые сидели в плетеных креслах перед комендатурой. Возле них стояли пустые ванны, куда складывались обнаруженные при обыске продукты. Вопросы — где ты взял, кто дал? — сыпались как град. В результате — столько-то недель в штрафной группе.

Доносчики были и среди барачных полицаев, выдвинутых на эту должность из среды заключенных. Угодная начальству, они производили обыски в бараках. В зависимости от того, что находили и у кого — они об этом сообщали в комендатуру или наказывали сами. Особенно безжалостными были полицаи Асупе, Пелнис и другие. Позднее их место заняли присланные из Мадонского концентрационного лагеря надзиратели, которых назначили заведующими бараками.

* * *

Каждое утро, выходя из лагеря, мы с известным волнением и озабоченностью смотрели, из кого будет состоять охрана. От нее зависела наша судьба. Охрана состояла из 10—15 конвоиров и начальника. Обычно охрану меняли через каждые две недели, но случалось, что ее заменяли раньше или позже. С мая до января состав охраны сменился несколько раз, разные бывали и начальники. Одни — мрачные и неразговорчивые, другие — шумные и болтливые, которые всегда пыжились своим кажущимся героизмом. «Обработку» новой охраны мы начинали уже по дороге к болоту. Старались вовлечь конвоиров в разговор, втолковать им, что мы отнюдь не чудовища. Но некоторые из них ни в какие разговоры не вступали. С такими было труднее всего. Узнай, что у такого тихони на уме.

Но встречались и конвоиры, которые, как только лагерные ворота оставались позади, спрашивали:

— У кого есть что закурить?

Для таких случаев у нас хранились принесенные родными из дому папиросы или сигареты. Мы угощали, закуривали, начинали разговор. Хорошо, если обходилось сигаретами. Попадались и такие, что помогали съесть принесенное. Голодными были они почти все.

Бывали также жалкие болтуны и хвастуны, например некий Торманис, выдававший себя за сына профессора. У отпрыска ученого голова была совершенно пустая. Он непрерывно тарыхтел, как старые заведенные часы. Главная тема разговоров — выпивка и женщины.

Когда начиналась работа, некому было слушать его, и он ложился вздремнуть. Проспав часа два, он, оставив винтовку кому-нибудь из конвоиров, уезжал в Ригу искать, так сказать, что-нибудь покрепче. Обещал к концу дня вернуться, но как уходил, так и пропадал.

Это был не единственный случай, когда убежал охранник. Шла вторая военная зима. Мы копали подстилочный торф. Копали и временами грелись у костра. В один из таких моментов к нам подошел охранник, мрачный, неразговорчивый человек. Глядя на пламя, он спросил:

— Как вы думаете, что мне будет за этот череп, когда придут большевики? — и показал на фуражку.

Мы молчали.

— Значит, вы думаете, что они поставят меня к стенке? Мы пожали плечами.

— Что мы можем знать. Придут большевики — тогда будет видно.

После работы оказалось, что охранник сбежал. Винтовку обнаружили прислоненной у кухни.

Охранники, которые не были на фронте, вели себя обычно развязно, хвастались.

Вернувшиеся с фронта были более молчаливыми, степенными. Они уже немало повидали и испытали в жизни и кое-чему научились. Многие, не верившие больше в победу фаши-

стов, искали что-то вроде компромисса с нами. Другие же, потеряв всякие перспективы на будущее, пьянствовали, ибо все равно «крышка». Некоторые питали к нам звериную ненависть. Нас они считали причиной всех своих несчастий. От таких мы старались держаться подальше.

Почти все охранники были взяточниками. За бутылку водки или самогона они готовы были продать родную мать.

Многие, которым я рассказывал про Саласпилс, спрашивают, почему я не бежал. Была же возможность! Да, возможность была, но эту возможность я не использовал. Что случилось бы, если б я сбежал с болота? Во-первых, на один день заключенные остались бы без пищи — пострадали бы товарищи. В тот же день, в крайнем случае на завтра, арестовали бы моих родных, а вскоре, возможно, схватили бы и меня.

Лишь в 1944 году, когда исход войны был ясен и победа была не за горами, участились побегии. Тогда уже было больше надежды на спасение. Многим это удалось, но немало было и таких, кто поплатился за это жизнью.

* * *

Копать торф — дело нелегкое. Отруби кусок торфа, захвати лопатой, подними и брось на элеватор. И так шаг за шагом, пока на болотном дне не покажется песок. Потом снова бери в руки топор или лом — руби и долби мерзлый слой. Рви и руби корни, вытаскивай застрявшие в торфяном слое пни. И ройся снова в грязном месиве. Ноги весь день мокнут, мерзнут, ибо торф долго сохраняет в себе зимний холод.

Поднимаем элеватор, переносим якорь, открепляем тросы и с помощью лебедки передвигаем машину вперед. Переносим рельсы и шпалы, закрепляем старые тросы, опускаем элеватор и снова копаем.

К результатам своей работы мы безразличны. Чем меньше, тем лучше. Иногда, задумавшись, ты не замечаешь, что лопата начинает двигаться быстрее, и на лбу появляются капельки пота. Мелькает мысль: куда спешить, зачем стараешься? Кому польза от плодов твоего труда? Врагу! И лопата в твоих руках становится такой тяжелой. Вступаем в противоречие сами с собой: мы же рабочие люди, а работать не имеем права. Значит, надо научиться симулировать, лодырничать, «тянуть резину».

Но мотор работает, значит должны работать и мы. Если иногда хочется подольше посидеть, кто-нибудь как бы случайно бросает на элеватор корень побольше или откапывающие верхний слой набрасывают слишком много сухого торфа. Это забивало дробилку машин или же, если перегрузка была слишком большая, лопались предохранительные болты. Пока машинист чистил машину, вставлял новые болты, мы могли разогнуть усталые спины.

Ветер ли, дождь или солнце — ты копай, копай, копай. Полуденный ли зной, утренняя или вечерняя сырость — все равно копай. Днями, неделями, месяцами... Копай, копай, копай...

Усталые, молчаливые плелись мы вечером шесть километров обратно в лагерь. Проходя через поселок Саласпилс, чувствовали, как из пекарни доносится запах свежее испеченного хлеба. Рот наполняется слюной. Что может быть вкуснее ломтя только что испеченного ржаного хлеба?

На территории лагеря работы уже окончены. Занята только штрафная группа. То тут, то там раздается окрик полицейского, кого-нибудь из черных («черными» мы называли присланных из Мадонского лагеря надзирателей) гоняет пойманного «грешника».

Обыск, проверка и... нас поглощает полутьма барака, в нос ударяет кислый запах пыли, старой одежды, пота и уборной.

На трех- и четырехэтажных нарах мешки из бумажной ткани, наполненные опилками, манят к себе.

После умывания обычно ложимся спать. Но... из щелей деревянных нар вылезают вонючие клопы, из тряпья — тысячи блох. Напрасно мы силится уснуть. Сползаем с нар, садимся за длинные столы и дремлем.

Утро, снова так называемый черный кофе, кусок хлеба и работа на торфяном болоте. И только прохладный утренний воздух приятно освежает зудящую кожу и ласкает горячий лоб. Снова впереди тяжелый рабочий день...

Нас перевели в другой барак. Старый собирались дезинфицировать. Бумажными лентами заклеили окна и двери. Газ в барак пускали через вентиляционное отверстие. Из любопытства мы заглянули в окно — и остались стоять с открытыми ртами. Весь пол барака, будто покрытый коричневым ковром, колыхался. Лишь всмотревшись внимательнее, мы заметили, что это блохи. Миллионы блох кишели на полу пустого барака.

Однажды вечером нас заставили раздеться и немедленно идти в баню. Газификационная команда уже была на месте, и в барак сразу пустили газ. В бане помылись чуть теплой водой (горячей в ней никогда не было), потом намазались какой-то вонючей жидкостью от блох и переселились в другой барак. На вечерней проверке обнаружилось, что не хватает одного человека. Куда он делся? Оказалось, что нет Алексева. Был такой полуглухой 70-летний старик, заключенный в Саласпилс за запрещенное слушание радио (глухой!). Поиски по территории лагеря не дали результатов. Кто видел его в последний раз? Где? Люди говорили, что он после работы обедал, затем что-то латал, после чего залез на свое место спать. Старик не слышал ни команды, ни прочего шума, когда люди покидали барак. Он остался в бараке и задохнулся.

В одном нижнем белье, на тоненьком слое соломы мы мерзли трое суток. Потом вернулись в свой барак. Тошнотвор-

но-горьковатый запах синильной кислоты чувствовался еще неделю. В первые дни все страдали головной болью, тошнотой и рвотой. Но когда газ полностью выветрился, клопы и блохи возобновили свои кровавые оргии.

По воскресеньям на торфяное болото не ходили: хватало работы на территории лагеря. Работа эта унижала человека, убивала его физически и духовно.

Утром у склада около 50 пар заключенных получали носилки, остальные вооружались лопатами. В каком-нибудь отдаленном углу лагеря указывали место, где брать песок. Его надо было нести в другой конец лагеря и высыпать в яму, выкопанную другими.

Вокруг нас, как вороны над падалью, кружилась целая стая полицейских и «черных», следивших, чтобы мы не лодырничали. Один из «черных» — Кантор, разъевшийся, пухлый мужчина, беспрерывно подгонял:

— Давай, давай, давай!

По внешнему виду и хрюканью он удивительно походил на свинью.

Вечером после такого воскресного «отдыха», совершенно усталые физически и духовно опустошенные, мы плелись в свои бараки.

* * *

В середине августа торфозаготовки прекратили. Торф последней копки был худшего качества, так как уже не успевал как следует просыхать. Нашу машинную группу расформировали. Часть ушла копать подстилочный торф, другая — помогать женщинам носить и складывать готовый торф. Некоторым из нас поручили переворачивать и складывать еще сохнувший торф. Я попал в небольшую группу, в задачу которой входила заготовка дров и пней. Пни, которые мы, копая торф, выкорчевывали и сбрасывали в вырытый карьер, теперь надо было

вытаскивать на берег, распиливать, колоть и складывать в штабеля.

Работа была не из приятных. В карьере накопилась вода, местами даже выше колена. Большие пни не так просто было вытащить на высокий берег. Наша уже и так изодранная одежда здесь превратилась окончательно в лохмотья.

* * *

Однажды утром крыши барачков стали белыми. Побелели также луга и поля. Отправляясь на болото, мы все плотнее укутывались в свою изношенную и оборванную одежду. Часто резкий северный ветер хлестал лицо холодными каплями дождя. Осень.

У нас тоже настроение падало. К усталости и голоду прибавился холод. С ужасом ожидали мы приближения зимы.

Кое-где стены барачков просвечивают. За лето опилки, заполняющие простенки, высохли и осели. Всем ветрам и даже снегу открыт путь в помещение. Придя с болота, негде высушить мокрую одежду и обувь. Между прочим почти все мы изорвали свои ботинки и сапоги. Ходим в деревянных башмаках. Утром в холодном от ветра бараке трудно надеть влажную, прелую одежду. Дрожь пробирает все тело. Только во время ходьбы можно кое-как согреться. Страшно в утренних сумерках стучат о застывшую землю деревянные башмаки.

Болото голо и неприветливо. Мелкие березки, ольха, ива и крушина, летом обступающие болото зеленым венком, теперь напоминают пучки розог. За выцветший вереск зацепилась паутина, как бы посылая привет ушедшему лету.

Когда мороз сковал болото и покрыл его снегом, торфозаготовки прекратились.

Всю болотную группу сразу же расформировали, перегруппировали и распределили по разным работам в лагере. Я попал в группу, которая должна была плести и шить соломенную

обувь. Изготавливали мы также большие сапоги для часовых. Насколько они были прочны и приносили ли какую пользу — не знаю. В то время на фронтах в Северной Африке гитлеровские орды уже начали свой «эластичный» отрыв от противника», или, говоря на нашем языке, стали отступать. Соломенную обувь мы так и прозвали именем командующего гитлеровскими войсками фельдмаршала Роммеля, чтобы ему было легче драпать по горячему песку пустыни.

Суровая зима. Холод и голод. Иссякли последние силы.

В лагере нас одели в грубые блузы и брюки из чего-то похожего на мешковину. На голове — берет, на ногах — деревянные башмаки. Некоторым попадалась одежда, в которую были вотканы и волосы, видимо, человеческие. Одежда эта была очень неприятна, острые концы волос торчали из ткани и кололи тело. Белье для нас шили из одежды уничтоженных евреев, рубахи — из разных женских платьев, кальсоны — из еврейских черно-белых обрядных шарфов. К тому же каждый рукав, задняя и передняя часть рубахи шились из ткани различных рисунков и расцветок. В такие карнавальные костюмы нас одевали с целью, чтобы затруднить побег. Если у кого-нибудь находили гражданскую одежду или обувь, то считалось, что он готовится к побегу.

В апреле сформировали группу из 250 человек для работы на аэродроме Спилве. Начался новый тяжелый период в моей жизни.

* * *

Как страшный сон прошло время, проведенное в Саласпилском лагере смерти. Возможно, мне повезло, что я работал и позднее жил вне лагеря и не видел творившихся там ежедневно ужасов. Еще и сейчас я часто вскакиваю ночью, покрытый холодным потом, когда вижу во сне Саласпилс, порку, вешание, расстрелы, слышу плач детей и отчаянные крики

матерей. Временами я сам волчком бегаю вокруг «черного» мадонца Кантора (это был его излюбленный способ пыток), бегаю, пока захватывает дыхание и я... просыпаюсь. Забыть этого не смогу никогда.

Много хороших товарищей и друзей приобрел я в суровые дни испытаний. Многих из них там же и потерял. Мрачное прошлое уходит все дальше и дальше, и оно никогда не должно повториться. Мы этого не допустим!

В САУРИЕШСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ

Янис Кронитис



Необычная картина предстала 8 мая 1942 года перед жителями Стопиньской волости Рижского уезда. По узкому проселку из Саласпилского концентрационного лагеря в сторону станции Сауриешы двигалась колонна изнуренных людей, окруженная вооруженными конвоирами. Люди шли, тяжело волоча ноги, поддерживая друг друга. На спине и груди у них были нашиты белые длинные лоскуты.

Это была группа политических заключенных Саласпилского концентрационного лагеря, которых гнали на работу в Сауриешские каменоломни. Среди них были и два жителя местечка Стопини — Карл Дренгер и Арвид Бертран.

Наконец колонна подошла к глубокой, заполненной водой яме — Сауриешским каменоломням. Вдоль нее вились рельсы узкоколейки, которая вела к железнодорожной станции Сауриешы. На краю ямы стояли три маленьких домика. В одном размещалась контора каменоломен, во втором жили охранники, третий отвели для заключенных. Но поскольку он еще не был обнесен колючей проволокой, то заключенным приходилось два раза в день мерить долгий путь из Саласпилского концентрационного лагеря в Сауриешские каменоломни и обратно.

Заключенных загнали в яму и указали, кому что делать. Работами руководили мастера. В присутствии начальства они

кричали на заключенных, ругали их и подгоняли. Но едва директор исчезал в конторе, как они тайком давали заключенным папиросы и даже хлеб.

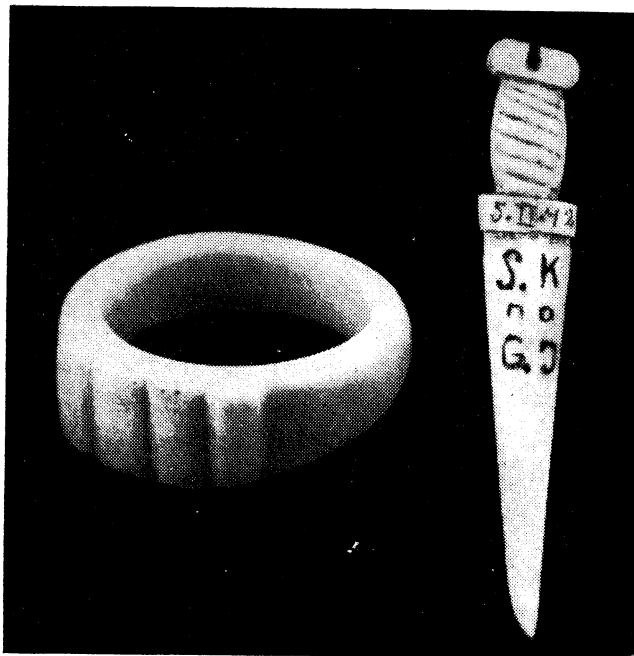
Работа была тяжелая. Сначала надо было откачать воду из ямы, потом пробуровать шурфы в скалах, куда закладывалась взрывчатка. Когда поджигались бикфордовы шнуры, мастера всех выгоняли из ямы и велели укрыться. Но укрыться было негде. Вокруг ямы стояли часовые, пропускавшие только мастеров. Заключенные притаивались где попало, чтобы спастись от каменных осколков, которые после взрыва градом сыпались на людей.

Взорванные камни грузили в вагонетки, которые маленький дизель тащил на станцию Сауриеши, где другая группа заключенных перегружала камни из вагонеток на железнодорожные платформы.

Тяжелым и длинным был рабочий день заключенных. С заходом солнца колонна в сопровождении охраны устало плелась обратно в Саласпилсский лагерь. Так проходил день за днем. В середине июля узников наконец поселили в третьем домике, где уже были оборудованы двухэтажные нары. На каменоломню прислали вторую группу заключенных, в которой был и автор этих строк.

Иногда на Сауриешские каменоломни нас возили на грузовых автомашинах. Проезжали мимо лагеря военнопленных, который находился на берегу Даугавы недалеко от шоссе. Весь двор был полон советскими военнопленными. На лицах несчастных отражались страдания, боль и отчаяние. Люди сидели на земле. Дрожащими руками ощупывали вокруг себя стоптанную землю. Все, что находили, совали в рот. Многие лежали на животе около больших сосен и грызли корни деревьев. Стволы, насколько мог достать человек, уже были обглоданы.

Перед домиком нас построили, и начальник охраны предупредил: если кто-нибудь попытается бежать, то будет пойман



ЭТО КОЛЬЦО из обнаруженной в супе конской кости выточил в заключении мангальский рыбак Валдемар Вейс, который в 1944 году сбежал с Саурешских каменоломен. Пробираясь к партизанам, В. Вейс в лесу попал в окружение шуцманов и был убит. **КОСТЯНОЙ КИНЖАЛ** — изделие участника движения сопротивления Язепа Грикиса, изготовлен в Рижском концентрационном лагере, находившемся в Центральной тюрьме. В 1942 году Грикиса перевели в Саласпилс, и он работал в механической мастерской Саурешских каменоломен. Здесь Я. Грикис вместе с Константином Стрельчиком, Трифилием Лакомкой и другими заключенными прятали взрывчатые вещества, тайком изготавливали гранаты и готовили восстание. Немцы раскрыли их замыслы. Я. Грикиса вместе с другими участниками движения сопротивления расстреляли в 1943 году.

Эти вещи бывших саласпилских заключенных хранятся в Музее революции Латвийской ССР.

и повешен. Если его самого не поймают, то его судьба постигнет родственников.

Измученные в тюрьме люди на свежем воздухе понемногу поправлялись. С помощью мастеров и некоторых вольнонаемных рабочих появилась возможность связаться с родными, получать небольшие продовольственные передачи.

Придавали силы и некоторые радостные события. Однажды на горизонте показались черные столбы дыма и раздались сильные взрывы. Мы узнали, что взлетели на воздух немецкие склады боеприпасов в Цекуле. Взрывались и фашистские поезда с оружием. А победа нашей армии на Волге! Все это нас ободряло и укрепляло дух сопротивления.

Работавшие в каменоломнях тайком собирали взрывчатку, которой взрывались каменные пласты. Из механической мастерской незаметно выносились металлические трубы. Их разрезали на куски, заделывали один конец, наполняли взрывчаткой и вставляли бикфордов шнур. Получалось нечто вроде ручной гранаты.

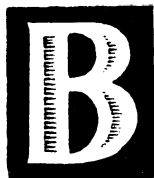
Эту работу выполнял бывший рабочий фабрики «Варонис» Константин Стрельчик, помогали и другие. Запасы гранат понемногу росли. Заключенные ждали случая, чтобы поднять восстание.

Однако выяснилось, что среди нас был предатель. Об изготовлении гранат узнали гитлеровцы. Начались аресты. Подозрительных загоняли в «черную Берту» и группами увозили в Ригу, в подвалы на улице Реймерса. Начались жестокие пытки. Константин Стрельчик не выдал своих товарищей. Во время допроса он выпрыгнул в окно с пятого этажа и разбился. На основании подозрения из лагеря увезли и расстреляли несколько десятков заключенных, в том числе и рижанина Язепа Грикиса и стопиньца Арвида Бертрана. Погиб также организатор движения сопротивления инженер Карл Фелдманис. В его расчеты входило установление связей с партизанами. Но это осталось только мечтой.

Когда начался развал фронта гитлеровцев, заключенных из Сауриешских каменоломен перевезли обратно в Саласпилсский концентрационный лагерь, а оттуда в Германию. Мало кто остался в живых из тех, кто ворочал камни в большой яме Сауриешских каменоломен.

НА СПИЛВСКИХ ПРОСТОРАХ

Миервалдис Берзинь-Бирзе



В Ленинградском Эрмитаже есть картина, на которой изображена тюремная камера во время наводнения. Пол уже покрыла вода, она поднимается все выше. На лице заключенной здесь женщины отчаяние. Спасения от близкой смерти нет. Камера на замке, голыми руками взломать дверь невозможно.

Картина раскрывает сущность заключения: у человека нет выбора, он лишен возможности активного действия, часто все определяет случай. Если эта женщина была бы помещена в камеру этажом выше, она бы не утонула.

За свои сорок пять месяцев заключения я тоже не раз имел возможность убедиться, что случай может облегчить или еще более усугубить гнет неволи. То, что меня в октябре 1943 года из центра Саласпилса послали работать на аэродром Спилве, казалось счастливой случайностью. В Валмиерской тюрьме я провел более двух лет. Неподалеку от нее все эти два года каждую неделю, обычно в пятницу утром, раздавались выстрелы. Они напоминали, что от смерти застрахован лишь тот, кто уже расстрелян. Бегал я рысью и в Саласпилсской утомительной и притупляющей «карусели», видел, как пытаются и убивают заключенных, позволяют умирать детям с голоду.

Прочитав мои воспоминания об аэродроме Спилве, читатель увидит, что условия здесь не были столь жуткими, как в Саласпилсе. Здесь не было виселиц, не было скамьи для порки, не было псов, которые бы нас терзали. И все же покой здесь был обманчив. Мы были на положении мыши, которую кот, играя, на минуту выпустил из лап.

Наше жилище находилось на открытом месте посреди пашен. Барак, кухня, сарай, в котором мы умывались, вокруг высокий трехметровый забор с прожекторами на углах и квартиры охранников по ту сторону ограды. Заключенные, так же как в Саласпилсе, латыши, жители других советских республик. Почти все политические.

В Спилве находились также некоторые рижане из так называемой «Fendergruppe im Ostland» осужденные за спекуляцию. «Спекуляция — это экономика военного времени», — разъясняли они и были весьма оптимистически настроены, так как суд приговорил их лишь к нескольким годам. В пяти комнатах барака жили пять рабочих групп, более ста пятидесяти человек. Спали на трехэтажных нарах. Зимой нижние мерзли, а верхние задыхались, так как потолок был настолько низким, что сесть на спальном месте было невозможно.

По утрам сквозь окна ничего не было видно, ибо стекла запотели от нашего дыхания. Иногда этим «оконным потом» больные смачивали свои лишаи и нарывы. Народная медицина заменяла лекарства. Правда, я ни разу не видел, чтобы это кому-нибудь помогло.

В свой новый барак мы прибыли в воскресенье, а в понедельник утром нас уже вели на Спилвский аэродром. Слева, со стороны моря и Даугавы, через ровную низменность дул сырой осенний ветер. Серая мешковина, из которой была пошита наша одежда, не могла задержать его. Холод был нашим неразлучным спутником на все время пребывания в Спилве. Иногда ветер доносил с Даугавы и пароходные гудки. От них тоже стыло сердце, ибо напоминало о море, о свободе.

На аэродроме все выглядело как в военное время: полукольцом вокруг летного поля в ангарах притаились двухмоторные бомбардировщики «Юнкерс», серебристые истребители «Мессершмитт» и «Фокке-Вульф». Непрерывно взлетали и садились неловкие транспортные самолеты. Иногда тянулись по воздуху десантные поезда, состоящие из транспортных пла-

неров. Один за другим они отбрасывали трос и планировали на зеленое поле. По утрам иногда можно было увидеть и более веселую картину — подстреленного «Юнкерса», который, ночью с трудом дотянувшись до базы, теперь лежал на крыле или воткнул нос в землю и задрав хвост, без одного мотора, валявшегося в стороне.

Фронт, казалось, был еще далеко от Риги, и немецкие летчики шагали здесь напыжившись, как петухи в штанах. Они нас совсем не замечали, ведь мы были всего лишь арестованными. В помещении школы летчиков молодые «воздушные ассы» у открытых окон ели свои роскошные летные завтраки: вгрызались зубами в ломти сыра, резали ветчину и, смеясь, показывали на нас пальцами. Многие из них еще до конца войны сломали себе шею вместе со своими самолетами.

В первую неделю я работал в группе, которую передали в распоряжение фирмы Кизерлинга. Фирма строила бетонные взлетные полосы. Мы месили бетонный раствор, высыпали его из вагонеток на дорогу, выравнивали и утрамбовывали. С утра до вечера разбрасывая лопатой сырую бетонную массу, я узнал, как тяжела она. Еще тяжелее делали ее окрики немецких мастеров. Руководителем работ был молодежавый немецкий инженер, которого мы звали Конским хвостом, так как его шляпу украшал пучок черного волоса, кажется сделанный из лошадиного хвоста. С черными, сердитыми глазами, широкой челюстью боксера — таким он беспрестанно носился по взлетной полосе, проверял, как замешан бетон, насколько плотно он утрамбован и не прилег ли кто из заключенных передохнуть. Темпы работы его никогда не удовлетворяли. Иногда он бил кого-нибудь по лицу, иногда угрожал написать донесение. А это означало перевод в штрафную группу и побои в Саласпилсе. Остальные мастера рангом ниже следовали его примеру.

Через неделю меня зачислили в группу, работавшую на кенигсбергскую фирму «Beton- und Monierbau» или, как мы ее

называли, — Бетонная Мария. И здесь руководитель работ и мастера были немцы. Эта фирма строила два больших ангара для истребителей. Здесь мы тоже замешивали бетон, подносили кирпичи, заливали полы, но темп работы был совершенно иным. Руководитель, пожилой господин в зеленой куртке, появлялся редко, а когда приходил, громко кричал на всех, скорее для упражнения голоса. Кричали и мастера, но рукам воли не давали. Эта фирма, конечно, тоже хотела способствовать победе Германии, но по неизвестным соображениям с работами не торопилась. Может быть, для того чтобы оттянуть перевод ближе к фронту. Или они предчувствовали, что построенный ангар скоро придется взорвать или отдать другому хозяину. Зачем же тогда спешить. Вообще они, как говорят, «тянули резину», и мы им помогали в этом как только могли. Двое мастеров носили значки национал-социалистской партии. Это были Пантел, мужчина лет пятидесяти с красным лицом завсегдастая пивных, и Петушок, фамилии которого мы не знали, но из-за малого роста и задранного вверх носа называли Петушком. Видимо, им собственная шкура была дороже, и они не особенно рвались на фронт. Все же эти немецкие мастера сходились на одном — заключенные должны были все время быть в движении, чтобы начальство видело, что они работают. Беспрестанное, бессмысленное движение иногда утомляет больше, нежели интенсивный труд, сменяемый отдыхом. Ведь легче вытащить из колодца полное ведро воды, чем десять раз поднимать из глубины по литру.

Самым гадким был маленький Хаген из аэродромного строительного управления. Из-за зеленых погон зондерфюрера его прозвали Зеленой смертью. Одетый в черное пальто из искусственной кожи, с поджатыми тонкими губами, он метался по аэродрому, стараясь подкрасться незамеченным. Поймав кого-нибудь, кто, по его мнению, двигался недостаточно

проворно, он бил его, в случае необходимости даже приподнимаясь на носки, чтобы дотянуться до лица.

Мастер Петушок, справившись со своей порцией спиртного, однажды разрешил нам дольше обычного отдыхать у костра, в котором горело несколько неплохих досок, и присел сам. Распустив язык, он нам пояснил, что когда-то был членом социал-демократической партии, а теперь стал нацистом. Сделав глоток из бутылки, он предложил нам спеть «Deutschland, Deutschland über alles». За это обещал отдых до вечера. Мы отказались, сославшись на незнание немецкого языка. Тогда он разрешил нам петь по-латышски. А мы завели песню, которая не имела ничего общего с немецким гимном. Это была народная песня о немце, которого заставили плясать на горячих кирпичках. Мастер Петушок и от этого был в восхищении.

Охрана барака, как и конвоиры на месте работы, были из латышских рот СД. В основной состав этих рот входили «парни Арайса», принимавшие участие в карательных экспедициях в Латгалии, Белоруссии, а также Западной Европе. Недавно я читал рассказ польского писателя Брандиса «Как стать любимой». В нем тоже упоминается член латышской СД, и конечно не с положительной стороны. Сторожевая служба в Саласпилсе и в его отделениях для этих рот была своего рода отдыхом после совершенных на фронте «подвигов». «Парни Арайса» — это была банда, состоявшая из провалившихся студентов, айзсаргов, хозяйских сынков, отпрысков торговцев и чиновников. Этим деклассированных элементов объединяло лишь влечение вольготно пожить. В их понятие «вольготно» входили расстрелы, насилие, поджоги и, несомненно, пьянство и грабеж. Влепить кому-либо пощечину им ничего не стоило. Они уже совершили «большие дела» и чувствовали себя призванными к еще большему — в Минске перестрелять тысячи, в Освее сжигать деревни со всеми жителями, «прочесать» Варшаву и сопровождать эшелон поляков. Иногда они довольно откровенно предавались воспоминаниям. Так, один ма-

ленький, плечистый гестаповец жаловался, что получил двое суток ареста за то, что в каком-то белорусском городе слишком открыто изнасиловал, ограбил и затем расстрелял девочку. Не было недостатка и в таких, кого невинно пролитая кровь бросала в истерику страха. Они держались поодаль, направив на нас винтовки. С немецкими мастерами или летчиками, которые тоже находились на аэродроме, у них не было контакта, так как немецким языком они владели плохо. Среди них были и такие мелкие подлецы, как конвоир Фрейманис. Увидев его, я вспомнил Валмиерский стадион, где когда-то мы оба выступали как спортсмены. Меня он тоже вспомнил и, отозвав в сторону, предложил отнести знакомым письмо и принести паке-тик. С ним я послал письмо на свою бывшую квартиру в Риге. Хозяйка квартиры работала в одном немецком учреждении, но я знал, что эта семья считалась лояльной. Через какое-то время узнал, что Фрейманис там был, но без письма. Полученные продукты и курево он взял себе. Свое подлинное лицо эти «парни» показали тогда, когда я их видел в последний раз.

В июле 1944 года они сопровождали транспорт заключенных из Саласпилса в Нейенгам под Гамбургом. По дороге нам выдали кусок соленого мяса. В теплушке под жестяной крышей мы мокли в поту, помещение было настолько тесным, что спали сидя. Почти пять дней нам не давали пить. Пять бредовых дней. Тогда я впервые по-настоящему узнал, каким большим может стать язык, когда он, соприкасаясь с небом, горит от боли. В те ночи ничего не было приятней, чем увидеть во сне прозрачные капли росы на конце зеленого стебля. Дважды во время налетов мы находились на станциях, подвергавшихся бомбардировке. Гестаповцы в эти минуты грозили стрелять в каждого, кто покажется у обвитого колючей проволокой окна. На станции Тильзит вокруг горели вагоны, но мы не имели права на спасение. Это были они, кто отказывал нам даже в воде. Еще сегодня помню, как гестаповец Гайлис, сын

руиенского банщика, избивал тех, кто на конечной станции не мог вылезть из вагона. В этом отношении они были достойны занять свое место в тех рядах немецких эсэсовцев «Мертвая голова», через которые нам пришлось идти от вагона до ворот лагеря. У каждого в руке была палка, а на поводке собака. «Los!» — и удар.

В Бетонной Марии рядом с нами работало несколько наемных рабочих — поляки и рижане. Было бы несправедливо не упомянуть о том, что они для нас сделали хорошего. Самое главное — они поддерживали связь с нашими родственниками. Официально было разрешено писать одно письмо в месяц, если не было провинности. Письмо было определенной длины. Например, не больше двадцати строчек. И еще условия: нельзя писать о том, где находишься, нельзя писать о том, что делаешь, нельзя упоминать фамилии товарищей. Следовало писать, что живется хорошо, хотя от голода кружилась голова и еще вчера пришлось выплюнуть выбитые зубы. На каждом письме была печать «проверено», и каждое письмо испещряли зачеркнутые цензурой строки. Для того, чтобы все узнали, что происходит в Саласпилском лагере, чтобы знали, что здесь же в преддверии Риги конвейер смерти перемалывает сотни и тысячи людей, оставляя лишь засыпанные могилы и чемоданы с награбленными вещами, мы должны были писать и отсылать письма тайком. И мы должны были точно знать, как живется нашим близким, каково истинное положение на фронте и в тылу. Хотя и изолированные, мы хотели быть вместе со своим народом. Какую радость доставляли эти нелегальные письма нашим родным и нам самим, какие надежды они воскрешали, помогая жить и выстоять!

Посылки тоже проверялись и изымалось все недозволенное, поэтому продукты, одежда, медикаменты и книги приходилось вносить тайком. В Бетонной Марии работало три рижанина. Один из них, невысокого роста плотник Гарбинович, помогал мне. Этим рабочим обычно не обыскивали, и они при-



Белорусские дети заснули навеки не только в Саласпилсе. Фашисты их тысячами убивали вместе с родителями на их же родине, во дворе своего дома, точно так, как этих детей освейского железнодорожника. За что? За оказание помощи партизанам...

носили нам письма, пакеты, газеты, книги. Они, разумеется, понимали, куда могут угодить, если их поймают. И все же — по оброненным как бы невзначай словам мы узнавали, в какой угол ангара, под какой кирпич, в какой пустой цементный мешок следует положить письмо, где искать пакетик. За каждое полученное или посланное без разрешения письмо грозило четыре недели пребывания в штрафной группе. Когда я расставался со Спилве, то сосчитал, что только письмами заработал около трех лет пребывания в штрафной группе. Эти гражданские рабочие не были ни социалистами, ни коммунистами, они были всего-навсего честными рижскими рабочими.

Помогало и то, что наши конвоиры, доверяя охране аэродрома, свои обязанности выполняли довольно небрежно. Кроме того — попробуй понять психологию убийц — они считали себя больше «солдатами» на отдыхе, нежели охранниками. Случалось, что при возвращении с работы тот или иной конвоир ощупывал лишь наши карманы и спину. Разумеется, были и более старательные, особенно из молодых. Свое приобретение я обычно хранил в рукавице. При обыске в присутствии конвоира я снимал рукавицы и держал их высоко вверх. Вытрясти рукавицы никому не пришлось на ум.

Следующий шаг — встреча с родными или знакомыми. Официально свидания с родственниками в немецких концентрационных лагерях не разрешались. Это было своего рода психическое истязание и террор. Незнание ведь намного более мучительно, нежели самые плохие вести. Заключение показало, насколько тесные узы связывают мужа с женой, отца и детей. В период заключения эти связи стали еще крепче. Лишь в редких случаях жена требовала развода, мотивируя его нежеланием жить с коммунистом.

Меня арестовали в возрасте двадцати лет, поэтому я лишь позже понял, как много пережили мои старшие товарищи, томясь в неведении о судьбе своей семьи или же узнав о ней что-нибудь плохое. Сознание своего бессилия может свести

человека с ума. Зимой 1942 года, когда в Латвии свирепствовала дифтерия и из-за отсутствия вакцины немало детей умирало, весть о смерти сына получил и один наш товарищ. Неделю он ходил по камере, словно лунатик, по ночам плакал, собирался бежать, перепилить решетку или броситься на забор. Это была бы верная смерть. Мы успокаивали его как умели и следили за ним.

На огороженный колючей проволокой аэродром можно было попасть лишь по железнодорожному полотну. У самой насыпи находились склады с материалами. Иногда удавалось согласовать все: благосклонных к нам караульных, ленивых мастеров, халатных немецких часовых, верных товарищей, и тогда в одном из этих складов, где-нибудь за клубком металлической арматуры или за мешками цемента состоялась встреча. Темный и грязный угол сарая, куда свет попадал лишь через щели потолка, тогда казался светлым. В нем сияли солнечные воспоминания и мечты о будущем. Разговоры часто кончались небольшим, но важным замечанием: «Если останусь в живых...» Всегда следовал горячий ответ: «Ты останешься жив!» И этому верили оба. Статистику знаем лишь мы, живые. В Цвибергский филиал Бухенвальда нас прибыло около 250 латышей. Домой возвратилось неполных пятьдесят.

При свидании можно было получить и то, что запрещено было присылать, например, обувь. В Саласпилсе зимой и летом разрешалось носить лишь деревянные башмаки. Ношение иной обуви рассматривалось, как подготовка к побегу, и за это грозил перевод в штрафную группу. Ежедневно, идя километра два-три на работу и обратно, башмаки натирали лодыжки до крови. Каждый, у кого была хоть малейшая возможность, не боясь наказания, приобретал старые галоши или что-нибудь другое — ибо кто знает — может быть, действительно наступит минута, когда удобная обувь может помочь. Я в то время был очень рад и горд, ибо ходил в галошах, которые привязывал к ногам проволокой.

Наши свидания неоднократно нарушал Хаген — Зеленая смерть. Он даже вызывал патрулей и окружал склады. Обычно ему не везло, родных предупреждали товарищи, вольнонаемные рабочие. Немецким мастерам тоже пришлось бы несладко, если бы кого-нибудь поймали, ибо тогда обвинение в неосторожности относилось бы к ним тоже. Однажды Хаген со злости от неудавшейся облавы толкнул нашего караульного, подчеркивая этим, что тот, несмотря на немецкую форму, все же принадлежит к низшей расе. Гестаповец чувствовал себя оскорбленным. Маленький, одетый в черное пальто, Хаген стоял с зардевшимся лицом, вытянувшись, как петух. Это был маленький диссонанс в «великом немецко-латышском единстве». Нам он не вредил. Все же несколько пришедших на свидание женщин то ли в результате ловкости кое-кого из караульных, то ли из-за болтливости кого-то из заключенных были пойманы. Их доставили в комендатуру аэродрома и прямо оттуда на несколько месяцев в Саласпилсский лагерь.

Я получил несколько писем, которых не ждал. На втором курсе факультета я дружил с одной студенткой. Во втором семестре она с факультета выбыла. В письме, адресованном хозяевам своей бывшей рижской квартиры, я спрашивал и о ней. Через некоторое время получил от этой знакомой ответное письмо. Она меня помнила и поясняла, почему тогда разладилось наше знакомство. Почти буквально она писала: «Мне, дочери земгальского землевладельца, не могло быть по пути с тобой, одним из тех, кто восстал против нашего порядка крестьянской жизни». Однажды ночью в саду Виестура мы вместе смотрели сквозь листву лип на небо, но выходит, что даже восхищаясь, она сохранила практический ум. Ведь я тоже был крестьянским сыном. В ту минуту сердце немного болело, но позже с горькой усмешкой я назвал это письмо «политическим введением в любовь». Второе письмо я получил от воспитанницы школы Красного Креста, бывшей знакомой со времен средней школы. Она тоже вспоминала

школьные дни, боялась, не холодно ли мне зимой, и тайно прислала два пакетика медикаментов. Эти посылки могли испортить всю ее карьеру. Это было теплое и подлинное сочувствие, без оттенка романтики, так как полгода спустя она вышла замуж. Ее письмо я взял с собой в Германию. Там его у меня отобрали, и осталось оно в Нейенгаммском лагере вместе со всем моим добром — письмами брата и с фотографией расстрелянного отца. Когда я выходил из раздевалки, у меня оставался лишь кусочек латвийского сине-пестрого мыла и зубная щетка. Мыло у меня отобрали, когда пересылали в Бухенвальд.

Как бы «ревностно» мы ни работали (иногда один гвоздь с полчаса загоняли в доску), оба сборочных ангара были настолько готовыми, что фирма «Эспенлаубе» начала в них монтаж истребителей «Фокке-Вульф». От этих машин нас держали на расстоянии, чтобы мы их не сглазили. Зато мы имели возможность смотреть высший пилотаж. Несколько раз из-за каких-то неполадков в новых машинах заедало шасси, и самолеты тогда садились «на брюхо», поднимая тучи песка. После работы летчиков-испытателей часто можно было видеть пьяными.

В начале 1944 года Рига уже не была далеким тылом, и нас заставили возводить вокруг новых ангаров трех-четырёхметровую двойную защитную стену из досок. Местами ее заполняли песком, местами бетонировали. Строительством защитной стены руководил старый сгорбленный немец с длинным носом и словно заплаканными глазами. Из-за длинного лошадиного носа его прозвали Конским Рылом, хотя за свой спокойный характер он заслуживал лучшего прозвища. Под его надзором мы долго копали ямы для столбов, еще дольше вертели их то в одну, то в другую сторону, пока они наконец не стояли безупречно прямо. В нашей группе работал семнадцатилетний рижанин Мартынь, арестованный за похищение пишущей машинки для нужд нелегальной организации рижских

школьников. Конское Рыло с этим парнем всегда беседовал спокойно, по-отцовски поучал его. Однажды утром глаза Конского Рыла были совсем красными. Мартынь рассказал, что у старика на фронте погиб сын.

На строительстве защитной стены рядом с нами работали евреи из гетто в Межапарке. Каждый день со стороны комендатуры сюда тянулась пестрая колонна. Там шли оставшиеся пока в живых, главным образом молодые евреи, которые были еще трудоспособными. На глаза спадали большие лыжные шапки, одеты они были в пиджаки с длинными рукавами — это осталось от родных, которым одежда уже больше не была нужна; вокруг голени намотаны и скреплены проволокой тряпки; на спинах выведены яркие желтые кресты, на груди желтые звезды, на лицах застыл ужас и бесконечная усталость. Женщины и молодые парни устало поднимали лопаты. Казалось, что с каждым движением они выбрасывали и часть своей оставшейся жизни. Мы изредка успевали переброситься с ними отдельными словами. Там были люди из Германии, Чехословакии, Литвы, Австрии. В сравнении с жизнью в гетто работа в Спилве евреям казалась небольшой передышкой. Караульные здесь редко давали волю рукам. Иногда лишь приходил Хаген, чтобы кого-нибудь потолкать. Зато в гетто властвовал бывший оберпалач концентрационного лагеря Заксенгаузен Густав Зорге, прозванный Железным Густавом. В 1947 году на Заксенгаузенском процессе он холодно подтвердил: «Среди бестий я был самой большой бестией». Свою карьеру он начал уже в 1938 году, живьем зарыв в землю одного немецкого священника. Мастер национал-социалист Пантел некоторым девушкам помоложе даже улыбался и приглашал мить домик руководителя работ. После получения посылок один-другой ломоть хлеба перекочевывал и к обитателям гетто. У нас ведь была общая судьба и общие надежды. Только их надежды, к сожалению, остались в лесах под Ригой в последний год войны.

Позже, когда нас перевели в Юмправмуйжу строить новый аэродром, нас прежде всего там заставили разобрать старый сарай. В этом сарае до расстрела ютились привезенные из-за границы евреи. Под прогнившим полом мы нашли медикаменты и несколько свитков. Среди медикаментов здесь был инсулин. Для страдающих сахарной болезнью это означало жизнь, поэтому его тщательно хранили. Свитки оказались талмудом, написанным на длинных листах пергамента, привезенным издавека, из Вены, из какой-то общины. При нашей бедности в то время нам годилось все. Оказалось, что изготовленный из телячьих кож пергамент очень крепок. Куски пергамента мы нашивали на рабочие рукавицы и использовали как подошвы для сандалий.

Пришла зима с морозом и метелями. Прежде чем завести моторы самолетов, их долго прогревали горячим воздухом и затем тщательно укрывали стегаными чехлами. Летчики ходили в кожаных комбинезонах и меховых сапогах. Нас ничто не согревало. Ветер, совершив основательный разгон через море и аэродром, пронизывал до костей. Против холода были испробованы различные средства. Мы учились «дрожать», то есть, напрягая мускулы, нахлестываясь, подобно ежу, повернув спину против ветра. Но, работая, приходилось передвигаться, дрожание не помогало, холод сразу же проникал в рукав или за ворот и обжигал кожу. Тогда мы стали рукава перевязывать проволокой. Все же одним только «дрожанием» согреться не удавалось. Некоторым сельским жителям, в том числе и мне, не раз тайком присылали портянки. Их мы пришивали со внутренней стороны блуз. Многих спасли пустые бумажные мешки из-под цемента. Согревать они не согревали, но ветер задерживали. При движении вся колонна странно шуршала и гремела. Так как мы считались «рабочей командой» и правлению лагеря СС фирмы платили за нас деньги, то совсем замерзнуть нам не давали. Однажды из Саласпилса привезли новое белье, как будто более теплое. Было ли оно действительно более теп-

лым, судить трудно, но зато оно было пестрым: голубое, зеленое, красное, одна штанина фиолетовая, другая белая — словно мы должны были участвовать в карнавале. Белье было пошито из одежды расстрелянных евреев, которая не пришлась по вкусу ни одному грабителю. Позже часть этих лохмотьев вместе с нами была отправлена обратно в Германию, где в свое время и началось путешествие вещей.

Как «рабочую команду» нас кормили тоже как будто бы лучше. Все же конина часто была старой и вонючей, да и ее обычно не хватало, картофель, как правило, был полугнилым. Вместо муки давали мельничные поскребки. При еде на зубах хрустел песок, на дне миски оставался слой песка. Но нам ежедневно нужно было пройти свои шесть километров, затем целый день двигаться, а у Кизерлинга даже выполнять тяжелые работы. Силы таяли. В короткие зимние дни было немного легче, так как, опасаясь побегов, нас в темноте работать не заставляли. Весна красива и приятна, если можно ходить вдоль берега реки и смотреть, как распускаются ивы, но для нас весна означала, что удлинится рабочий день — придется трудиться восемь, десять, двенадцать часов подряд. Чистота была для нас внутренним законом, дисциплиной, помогавшей выдержать тяжелые годы заключения. Некрашенные полы всегда были выскоблены добела. В помещении не курили. Лишь изредка какой-нибудь неисправимый курильщик тайком пускал дым в чугунную печурку.

Санитаром барака был Лаува, как и я, медик второго курса. Что понимаешь в практической медицине, окончив второй курс, если изучал лишь физику, химию, анатомию, микробиологию? Он старался, но не всегда получалось. Вспыхнула желтуха. Ею долго хворали Пурмалис и Краминь. Без строгой диеты лечить ее невозможно, а диета была такая — ешь то, что дают. Долго мы держали Пурмалиса там же в Спилве, чтобы ему не ехать в жуткий Саласпилс. Все же он не поправлялся, лежал тощий и желтый, как лимон. Я приносил ему курево,

и тогда мы говорили о проведенных в Валмиерской тюрьме годах. Наконец староста барака приказал вести его в центр, болеть здесь не разрешалось. У многих от недостатка витаминов появлялись кожные болезни: разные лишай, мучительные чирьи. Вечером у нар, где размещался санитар, когда люди открывали свое гноящееся и разъеденное экземами тело, можно было как бы листать целую книгу кожных болезней с цветными иллюстрациями. Теперь рассказывать об этом нелегко, но в то время, когда все тело было покрыто болезненными нарывами, когда каждое движение или прикосновение одежды вызывало жгучую боль, работать было мучительно. Я отделался сравнительно легко — лишь месяца два промучился с каким-то странным мокрым лишаем. Рубашка каждое утро прилипала к коже. Санитар Лаува, как мой коллега, испробовал все мази, какие только были в его распоряжении (всего три), но лишь летом меня спасло солнце. Лечение и отдыху больных мешал больничный «лимит». СС от частных фирм получало деньги за каждого, кто выходил на работу. Поэтому часто выгоняли на аэродром и тех, кто еле держался на ногах. Сколько такой работник сделает за день, это СС не интересовало. Работу больного приходилось выполнять товарищам, пока тот, скрючившись, торчал в каком-нибудь углу аэродрома.

Чтобы хоть когда-нибудь помыться в теплой воде и в теплом помещении, а не на двадцатиградусном морозе в сарае со щелями, мы решили уплотнить одну из стен и сложить в сарае печь. Материалов нам никто не давал, поэтому решили их «организовать». (Во время войны сами немцы тоже слово «воровать» часто заменяли словом «организовать».) Каждый день, идя домой, мы под одеждой прятали по кирпичу. Таким же образом был доставлен цемент, и наши печники Жогот и Кататкин сложили вполне приличную печь со всей трубой. В наших карманах ежедневно переправлялись в барак каменно-

угольные брикеты. Проблема теплой воды была разрешена, но тут же на нас свалилось другое несчастье.

Однажды зимним вечером, когда возвращались домой, уже сгустились сумерки. Недалеко от барака на дороге стояла легковая машина. Мало ли машин вблизи аэродрома, и мы спокойно шагали дальше. Войдя в ворота, увидели, что один из «штубендинста» — уборщик барака — подавал через окно тревожные знаки. Сразу же посыпалось в снег все, что считалось запрещенным, — «организованный» уголь, ножи, рвались письма, но было уже поздно. Из барака выбежали незнакомые гестаповцы, молниеносно построили нас в ряды, заставили поднять руки и начали обыск. Были найдены письма родных, кусок масла, хлеб, с трудом добытый и привезенный близкими. «Виновных» отвели в сторону. За каждым вопросом гестаповца следовал удар. Незнакомцы вначале гадали по-немецки, но затем начали ругаться на чистом латышском языке. Это были латышские части с улицы Реймерса... «Виновных» товарищей в тот же вечер увели на улицу Реймерса. Кто-то сообщил, что мы поддерживаем связи с домом. Возможно, доносчиком был кто-то из караульных, а может быть кто-либо из аэродромных немцев. Это осталось тайной. Знали мы лишь то, что один из мастеров пожаловался, что мы уносим в карманах угольные брикеты.

Через несколько недель часть уведенных вернулась. Некоторых отправили в Саласпилс, в штрафную группу. Между прочим помог также посаженный за спекуляцию рижанин Федоров, семнадцатилетний парень, всегда улыбающийся и спокойный. Зная, что он приговорен «лишь» к нескольким годам тюрьмы и что его считают спекулянтом, а не политическим заключенным и, что это неопасно, Федоров рассказал, что связи организовал он. Один из уведенных после возвращения долго ходил в матерчатых тапочках, так как у него были разбиты ступни ног. Другие несколько недель не могли лежать на спине, ибо она была вся в кровоподтеках. Тяжело постра-

дал елгавчанин Акментинь, которому вообще не везло. Однажды Акментинь с группой товарищей приготовился бежать. Пятеро убежали, а Акментинь вечером вернулся. «Ко мне тайком приходил отец, старый человек», — рассказывал он, и мы поняли. В случае побега обязательно арестовали бы отца, особенно еще потому, что в тот день отец выезжал из Елгавы. Может быть, читателю покажется странным, что я не рассказываю о побегах, всегда связанных с заключением. Да, может быть, и была возможность сбежать даже с самого аэродрома. (Между прочим, летом 1943 года караульный застрелил одного заключенного якобы за попытку бежать, когда тот удался от места работы всего лишь на два десятка шагов. В живую цель гестаповцы стрелять умели.) Возможно, и удалось бы проскользнуть через цепь постов, но в дальнейшем при тогдашних обстоятельствах все зависело от того, имеются ли связи с подпольем. А, находясь в заключении, установить связи с подпольем не всегда удавалось. Очень важным было и то, имеются ли близкие — мать, отец, жена или дети. Немцы это обстоятельство сразу же жестоко использовали. В случае побега всегда арестовывались родные. Тот, кто сам претерпел в тюрьме голод, стоял в тени саласпилских виселиц, перенес унижения и побои, если только сохранил в себе человеческое сердце, своим родным не мог желать такого. Так материнскую любовь СД умела превратить в еще один дополнительный ряд колючей проволоки в лагерном заборе. И этот ряд был крепким.

Акментиня сожгли в крематории лагеря Берген-Белзен в последнюю неделю войны. Этот юноша был одним из тех, кто от гражданских рабочих доставал газеты «Тевия» или «Дейтче дейтунг им Остланд». Хотя в них и писалось о «небывалых в военной истории удачных операциях отрыва», мы там вычитывали, что наши приближаются. Эти сведения быстро распространялись по всему бараку и придавали новые силы,

как кусок четырехугольного, тюремного хлеба с примесью лузги.

Мои близкими друзьями в Спилве были Александр Заринь и Лаймонис Трипка. Заринь, которого все звали Шуриком, до войны работал в Рижском комитете физкультуры, так же как Трипка сражался в комсомольских батальонах и был взят в плен в Эстонии. Шурика я всегда помню жизнерадостным. Идя на работу или с работы, он всегда находил в себе силы для песни. Мы пели «Катюшу», «Все выше и выше», «Три танкиста» и народные песни. Разумеется, до тех пор, пока звуки не доходили до ушей охранника. Тогда следовало распоряжение: «Тише!» Никогда до того я не знал, какое сознание единства и несгибаемой силы дает песня! Если мы не могли петь, то Шурик свистел, а свистеть он умел. К его свисту мы тоже присоединялись до очередного запрета охранника. Такого свиста я никогда в своей жизни больше не слышал. У Шурика в Риге была мать, сестренка и любимая девушка. Несколько раз я видел, как его девушка прогуливалась по Болдерайскому шоссе, когда мы шли домой. В другой раз там прохаживалась жена, мать или сестра другого рижанина. Этим коротким минутам свидания мы радовались все, как будто у каждого из нас побывал гость. В эти короткие мгновения все должен был высказать взгляд. Так люди шли, глядя друг на друга, словно немые, не замечали ни камней на дороге, не чувствовали ни дождя, ни холода, не слышали ни угроз, ни ругательств конвоиров. Друг от друга их отделяли лишь четыре—пять шагов, но они были непреодолимы. Для многих, как и для Шурика, это было последнее свидание. Девушку Шурика я еще два раза видел в Риге сразу после войны. Спасибо, что она нам тогда добыла «Мать» Горького и комсомольский гимн — «Как закалялась сталь» Островского. Эти книги помогали нам преодолевать минуты сомнений и трудностей. Александр Заринь умер в Берген-Белзене то ли в последние дни войны, то ли несколько дней после ее окончания. Голубоглазый рижанин

Лаймонис Трипка был медлительнее, но такой же убежденный и выдержанный. Из родных у него в Риге жил только младший брат. Родители эвакуировались в тыл Советской Армии. Брата позже призвали в латышский легион. Так одну семью война расколола на три части — заставила сына воевать против отца и стать тюремщиком брата. Не по своей воле ушел брат Лаймониса в легион «добровольцев», не каждому удавалось избежать мобилизации. Это была трагедия латышского народа, инсценировщиками которой были немецкие захватчики. Трипка исчез незадолго до освобождения Риги, а у меня о нем нет никаких сведений. Дружил я также с Гвидо Вейсом, младшим лейтенантом латышского стрелкового корпуса. При отступлении он в Латгалии был ранен в плечо и попал в плен. В Центральной тюрьме расстреляли его жену. С черными горящими глазами, маленькими усиками — таким я помню Гвидо. Не раз я массировал его простреленное плечо. Гвидо был тем, кто в новогоднюю ночь 1944 года в нашей комнате начал петь Интернационал. Странно, но величаво звучала песня в темной комнате, а рядом за окном виднелся ярко освещенный забор из колючей проволоки. Гвидо дожил и до Нового, 1945 года, но конца войны увидеть ему не было суждено: он погиб в Берген-Белзене или в Нейенгамме близ Гамбурга.

В этом коротком повествовании невозможно упомянуть всех хороших, стойких и несломленных людей, которые помогали выстоять и не пасть на колени. Были и такие, за которых боялись, что они могут предать. Если кто-нибудь, находившийся под подозрением, отпрашивался в Саласпилс, скажем к врачу, санитар не разрешал, стараясь не пустить его к «господам».

В Спилве нам жилось сравнительно спокойно, мы делали вид, что не замечаем смерти, хотя она витала и здесь, на аэродроме. Рабочие Кизелинга, строя убежища для самолетов, наткнулись на краю аэродрома на массовое кладбище военнопленных, зарытых примерно в 1942 году. Из карманов некоторых умерших товарищи изъяли документы, чтобы после войны

отослать их родным. Но многие так и остались лежать там неизвестными, хотя и у них когда-то было свое имя.

К весне колонна евреев из гетто стала короче. Лыжные ботинки, которые раньше носила девушка из Вены, сегодня надела ее подруга, и клетчатое пальто уже не одевает больше подросток с бледным лицом, а его мать. Прежних хозяев ботинок и пальто увезли и бросили в ямы.

Некоторым из нас посчастливилось выбраться на свободу и официально. То находился защитник посильнее, то помогали взятки. Освободить незначительный процент заключенных было также в интересах СД (они все равно оставались под надзором), чтобы дать оставшимся в лагере хоть какую-нибудь надежду, побудить их старательнее работать. Освобожденных обычно по субботам, когда машина ехала за продовольствием, отвозили в Саласпилс. Однажды в пятницу вечером радостную весть сообщили санитару Лауве. В тот момент он сапожными щипцами вырывал зуб у одного заключенного. Мы с Лаувой сдружились, хотя о медицине много не говорили. Он знал мало, да и я тоже разбирался в ней не больше. И вот белая лента санитары с красным крестом появилась на рукаве моей блузы, так как во всем бараке не нашлось ни одного, кто разбирался бы в медицине больше. Кроме того, у меня все же был титул — студент медицины. Долго в этом почетном звании мне ходить не пришлось — около полутора месяцев, до ликвидации лагеря, и поэтому большого вреда пациентам наделать я не успел. Перевязывал ссадины, вырывал стержни нарывов, накожные болезни лечил одной из трех находящихся в моем распоряжении мазей. Труднее было с внутренними болезнями, так как, кроме соды, аспирина и маленькой бутылочки сердечных капель, в моем распоряжении ничего не было. Вначале я на работу не выходил и заботился о больных. Но когда СС захотела увеличить число рабочих, мне тоже пришлось идти на аэродром со своим чемоданчиком, в котором имелось два

бумажных бинта и бутылка йода. Зато в кассу СС поступило на четыре марки больше.

На аэродроме вырос новый ангар, больше всех предыдущих. Он был предусмотрен для шестимоторного «Гиганта» — большой, неуклюжей машины, в которую свободно могли заехать несколько грузовиков. Продолжительность жизни «Гиганта» была далеко не гигантской, так как эти самолеты были легко уязвимы для истребителей. Когда ангары были готовы, самих «Гигантов» уже не было. Их обломки ржавели на поле боя. Для бетонной фирмы этот ангар был последней работой в Риге.

По субботам я ездил в Саласпилс, сопровождал больных в больницу и получал скудный паек медикаментов. Неофициально вез письма и вести в Саласпилс и оттуда в Спилве. Во время этих «визитов» в Саласпилс я познакомился и подружился с зубным врачом Шлотовером из Вены, пятидесятилетним мужчиной в очках. Жил он под сенью смерти, так как был одним из немногих, еще оставшихся в живых евреев. Его, очевидно, приберегли, пока господа из комендатуры подлечат зубы.

Последняя встреча с Шлотовером была грустной. Когда в июле 1944 года нас собирались отправить в Германию, я еще раз зашел к нему. В маленьком, сумрачном «кабинете» он сидел в своем зубоврачебном кресле, и мы смотрели на сосны за лагерным забором, освещенные ярким летним солнцем.

— Вы поедете в Германию, на мою родину, а я останусь здесь, — сказал он. Так и случилось. Мы уехали в Германию, а зубной врач остался в Саласпилсе и домой никогда больше не вернулся. Отступая, немцы расстреляли его, — возможно, что своему убийце он лечил зубы.

Еще в начале этого рассказа я говорил, что в тюрьме, где обычно люди лишены свободы выбора, многое определяет случай. Последние месяцы в Спилве, когда я ходил с повязкой санитаря, для меня были как бы отдыхом после трех лет заключения, и, может быть, поэтому мне удалось перенести го-

лод и истязания в Германии. Многие другие — ростом даже настоящие великаны, — но измученные на тяжелых работах в Саласпилсе, домой так и не вернулись.

Однажды обстоятельства сложились благоприятно и для меня — я должен был встретиться с родными. Я знал, что завтра по Болдерайскому шоссе будет прогуливаться мой младший брат. На четырнадцатом году жизни он лишился отца, расстался с братом и стал главой семьи. Сколько он бегал, спекулировал, менял, чтобы в дозволенных и недозволенных посылках я мог найти сигарету, пачку маргарина. Но в то утро нас на работу не пустили. Быстро велели залезть в машины и повезли назад в Саласпилс. Мне не повезло. На шоссе так рано брата еще не было. И я его больше никогда не увидел. Он бесследно исчез в бурях войны.

Ехали мимо Спилве, где высились построенные нами ангары и тянулись широкие бетонированные полосы. Тогда меня брала злость, что все это мы были вынуждены построить для немцев. Но, когда месяца четыре-пять спустя немцы сами все взорвали, мне стало жалко, что наш труд уничтожен. Да, война никогда ничего не созидает, война лишь разрушает.

Нас везли по окраинам Риги. Люди шли по своим делам. Мы надеялись, что еще вернемся в этот прекрасный город на Даугаве. Наш путь вел дальше в Саласпилс, затем в Германию, откуда бесконечно усталым вернулся лишь один из четырех или даже пяти.

ПРОДОЛЖЕНИЕ И КОНЕЦ ТРУДНОГО ПУТИ

Есть раны, которые даже всемогущее время за целый век не в состоянии залечить. Об этом свидетельствуют письма, полученные составителями этой книги после выхода в свет ее первого издания: многие еще через восемнадцать, двадцать лет после описанных событий разыскивают своих родных, от ко-

торых даже могилы не осталось. В связи с этим и появилось продолжение моей повести, в котором я вкратце постараюсь припомнить свой дальнейший путь в заключении. Можно возразить, что это не относится непосредственно к Саласпилсу. А мне лично кажется, что относится: Саласпилс был лишь началом длинной цепи страданий, и, если бы Советская Армия не разгромила полчища нацистов, Саласпилс продолжал бы существовать и ничем бы не отличался от тех лагерей, в которые как рабов в оплетенных колючей проволокой товарных вагонах увозили его обитателей. Саласпилс — это только часть того большого преступления, которое называется немецкими концентрационными лагерями.

В мои руки попали два уже пожелтевших от времени списка, прямые свидетели тех дней. Они обвиняют в убийстве, так как это списки преждевременно умерших ужасной смертью людей. Рассказ в дальнейшем и пойдет о том, как возникли эти списки.

Началось это в «рабочей команде» Саласпилского лагеря, которая в то время строила аэродром. Окрестность все лето была окутана черным дымом. Он тянулся от костров, на которых в Румбуле сжигали трупы. Затем нас внезапно погнали в Саласпилс, где мы узнали новости, взбудоражившие и окрылившие нас: Советская Армия уже здесь, в Аугшземгале, и на Гитлера только что, 20 июля, совершено покушение. Все же немецкая служба безопасности так крепко держала своих жертв за горло, что наш эшелон в ночной темноте успел проскочить Елгаву за неполных два дня до того, как этот город был освобожден войсками Советской Армии. Наш путь лежал дальше через Литву, мимо горящей станции Тильзит, мимо разрушенных многоэтажных домов Гамбурга до концентрационного лагеря в Нейенгамме. Здесь несколько дней спустя более тысячи человек построили голыми в бане и отобрали 400 самых крепких. 400 самых крепких! Именно сильнейшие и во-

шли в уже упомянутые списки мертвецов! Уже тогда из этого строя голых двоих-троих мужчин постарше увели из угрюмого бетонированного помещения с низким потолком в находящийся по соседству блок, где размещались нетрудоспособные. За этим блоком «отдыхающих», как он назывался официально, находилась низкая бетонированная постройка с длинной трубой. Эсэсовцы посмеивались, что заключенные на свободу могут попасть только через эту трубу. Это строение было крематорием.

Затем мы снова ехали три дня в затянутых колючей проволокой вагонах. Полоса между обеими противоположными дверьми вагонов была свободной. Здесь стояли постовые. Мы сидели в конце каждого вагона, плотно прижавшись друг к другу. Пять рядов по пять человек в ряд. Места для того, чтобы лечь, не было, вставать, хотя бы на колени, чтобы переменить положение тела, было запрещено. За это грозила пуля из автомата конвоира, все время направленного на нас. Простой, но эффективный вид истязаний — три дня в холщовой одежде просидеть на голом полу вагона. По ночам иногда ряды в бессилии сваливались в клубок полосатой одежды. Оправляться не пускали, хотя двое уже болели дизентерией — один французский капитан и мой товарищ по Валмиерской тюрьме Алфред Аписитис из Мазсалацы. На станции в Бухенвальде было очень трудно подняться и вылезть из вагона, который стал вонючим адом. Шли мы по хорошей, посыпанной гравием дороге. По обе стороны, напротив жилищ эсэсовцев росла тучная капуста. Эти гряды между прочим удобряли пеплом крематория. На больших воротах рукой искусного кузнеца выковано циничное изречение: «Jedem das Seine» («Каждому свое»)...

В ожидании своей очереди, чтобы попасть в дезинфекционное заведение, мы от усталости легли передохнуть на бетонированную дорожку недалеко от крематория, так как здесь хоть вытянуться можно было. При первом знакомстве и этот лагерь предьявлял крематорий в качестве визитной карточки. В отчетах Бухенвальда в тот день появилась запись: 3 августа

из Нейенгамма прибыло 400 работоспособных заключенных, которых приказано использовать на тяжелых работах.

Дальше за четырьмя рядами колючей проволоки Бухенвальда дымили трубы оружейной фабрики Густлова. Три недели спустя, 24 августа, во время американского налета там погибли 315 заключенных, 1425 человек было ранено. При лагерях эсэсовцы всегда стремились построить какую-нибудь фабрику в надежде, что ее не будут бомбить. Во время налетов никого из помещения не выпускали, даже если бы всем пришлось сгореть там живьем.

На следующий день в так называемом политическом отделе нас сфотографировали и обмерили на случай, если мы вздуем бежать.

Поздно ночью нас вызвали к воротам. Затем снова поездка в вагонах для скота. Через день нас высадили у гористого подножья Гарца вблизи города Халберштадт и мы влились в одну из внешних команд Бухенвальда, которая в документах носила красивое название — «Kommando Malachit»¹. Это была одна из самых больших команд Бухенвальда. В августе, когда мы прибыли туда, она насчитывала около тысячи человек, а 31 января по официальным документам — уже 3389 заключенных и 287 охранников. (Все даты и цифры взяты из найденных в архивах документов комендатуры СС, собранных в сборнике «Бухенвальд».)

В марте упоминалась цифра 5400, а в последних данных на 11 апреля — 4498; в марте было на 902 человека больше. Это умершие, расстрелянные, повешенные. В ноябре 1944 года упоминается еще один транспорт заключенных, в котором находились и латыши. 500 латышей, поляков, русских из Заксенхаузенского лагеря были отправлены в Бухенвальдскую команду С-III в Ордруф, где для фюрера в спешке строилась новая подземная ставка. Из тех 400 саласпилсцев, которых выделили

¹ «Малахитовая команда».



Ворота (надпись: «Каждому свое»)

в «малахитовую команду» у селения Лангештейн, латышей было около 250, нас разместили в шестом блоке. Упомянутые уже два списка умерших, содержавших 127 фамилий, относятся именно к 250 обитателям этого блока.

Красивое название лагеря вполне соответствовало местности. Он находился в долине, зажатой между двумя горами. Именно поэтому по-немецки местность называлась Цвиберг (Двугорье). На склонах гор местами виднелись оголенные ветром и дождем зубчатые утесы, в другом месте, уцепившись в тонкий дерн корнями, поднимались в гору ряды вязов и елей. Продолжением долины были пашни, мягкими волнами уходившие до самого горизонта. Вдали виднелись красные крыши какого-то городка и белая башня церкви. Это был курортный городок Кведлинбург. Умерших в лагере обычно отвозили в кведлинбургский крематорий.

Эти поросшие елями скалистые горы, между которыми виднелись покрытые грубым щебнем дороги, издали казались иллюстрацией к прочитанным когда-то в детстве немецким сказкам о горных духах, о гномах, добывающих руду в горах.

Что-то похожее было и на самом деле. Километра два от лагерной фирмы «Боде, Грун и Булфингер» и заводов «Герман Геринг» в скалах вырубались подземные залы самолетостроительного завода Юнкерса. Но работали здесь вопреки сказкам не добродушные бородатые карлики, а истощенные, одетые в сине-полосатые лохмотья пошатывающиеся фигуры. На ногах у них обувь на деревянной подошве. При ходьбе по острым камням они выворачивали и натирали ступни. Если обуви не было, ступни надо было обворачивать тряпками. В таких случаях в первый же вечер ноги были резаны до крови. Это, конечно, касалось только самого заключенного. Владельцы немецких фирм лишь подсчитывали доходы, принесенные купленной у СС дешевой рабочей силой. Заключенные до сих пор не получили свои заработанные потом и кровью деньги. Зато

владельцы фирм еще сегодня пользуются плодами нажитого в войну капитала.

Эти согнанные со всей Европы рабы говорили на немецком, польском, французском, русском, чешском, голландском, латышском, итальянском, югославском, испанском, бельгийском, венгерском языках. Лишь команды звучали на немецком.

Вначале меня зачислили в 52-ю команду, которая строила железнодорожную ветку в туннель. В пять утра раздавалась команда «подъем!», и полицейские начинали колотить палками по стенам бараков. Раздавали желудевый кофе. Съедали остатки вчерашнего пайка хлеба. В половине шестого надо построиться на большой площади для поверки. Стоять приходится полтора часа, независимо от того, идет ли дождь или снег, мороз ли на улице или ветер. Если на плечи наброшено одеяло — это считается проступком, за это бьют. В семь выходим за ворота. Ворота надо приветствовать, снимая береты, так как в концентрационном лагере они тоже являются символом немецкой империи.

Навстречу шествию идет чисто одетый блондин в форме гауптштурмфюрера СС. Это комендант Любек. В руке у него трость. Рукоятка ореховой трости украшена художественной резьбой и напоминает голову собаки. Сделал трость один из заключенных. Их имеют здесь все немцы, конвойные и вольнонаемные мастера. Любек двоим-троим с силой ударяет по спине. «Быстрее!» — кричит он, и конвоиры гонят нас дальше полубегом.

Затем шесть часов подряд мы носим железные рельсы, беспрерывно поднимаем с земли и кладем на костлявые плечи тяжелые, пропитанные шпалы. В это время Любека нет, одетые в летнюю форму конвоиры бьют сравнительно редко. Но некоторые постовые тут же стреляют, если кто-нибудь из нас, голодных, поднимает с земли сахарную свеклу. Обыкновенно они попадают в цель. Но у всех мастеров в руках трости. И почти каждый из них бьет.

Одетый в черный бархатный жилет и штаны круглолицый немец выучил лишь одно слово по-русски, да и то произносит неправильно. «Камни, камни», — кричит он, когда мы забиваем под шпалы щебенку. Ему всегда кажется, что работаем мы слишком медленно, что только поэтому продолжается война. Подойдя сзади, он бьет заключенных по ногам, по спине, ибо Любек сказал, что работать надо быстро, что вместо каждого убитого заключенного из Бухенвальда пришлют десятки новых, что стройка для империи является важной.

После шести часов работы — получасовой перерыв.

Конвоиры и мастера должны обедать. Счастливейшим из нас разрешают вымыть их котелки, в которых иногда остается несколько ложек супа. Затем снова пять-шесть тяжелых часов. Опасаться надо не только конвоиров и мастеров. По туннелю подкрадываются специальные трудовые надзиратели СС, которые вначале «отпустят» указанные в инструкциях Гимmlера 25 «палок», а затем пояснят, что работать надо быстрее.

Затем час на обратный путь в лагерь. Люди идут сцепившись, поддерживая друг друга под руки. Ряды шатаются, повешенная на шею пустая посуда, единственное наше добро, болтается и гремит. На это своеобразное шествие призраков смотрят, покуривая трубки, немцы селения Лангенштейн, через которое мы иногда проходим. Затем снова на площади — проверка, стоять приходится час, полтора. После этого в своем блоке получаем хлеб, маргарин или комочек свекольного мармелада и литр супа.

Может быть умыться?.. Путь в помещение, где имеется водопровод, бесконечно трудный: надо спуститься с горы, затем снова лезть на гору в свой барак... Все же воля еще владеет телом, чистота помогает жить, большинство из нас набирают в посуду воду и умываются. Остается ровно столько сил, чтобы залезть на нары и растянуться на набитом деревянными стружками бумажном мешке. Начинаем мечтать о хлебе, с ужасом ожидая тот момент, когда в пять утра о стены барака снова

застучат палки и раздастся крик: «Подъем!». Во сне иногда удается видеть детей, успокоить мать или жену. Так уходит день за днем.

Через некоторое время меня переводят санитаром в лагерную больницу, или, как ее здесь называли, в лагерный ревер. Возможно, только поэтому я и остался в живых. Продовольственный паек здесь такой же, но времени на отдых больше — санитарам не нужно часами стоять на площади проверок и ждать, пока ветер, спускаясь со скалистых гор, пробирался сквозь тонкую одежду с дождем и снегом. И так я стал свидетелем того, как в эти два уже упомянутых списка постепенно, одного за другим, вписывали обитателей шестого блока, моих товарищей.

Когда недавно я получил эти списки и прочитал в них знакомые фамилии, мне в первое мгновение казалось, что смогу сказать о каждом из них хоть несколько фраз. Но, когда передо мной лежал белый лист бумаги, на котором нужно было написать эти воспоминания, я почувствовал, что более подробно помню только некоторых. При каждой фамилии перед глазами мелькал лишь неясный, торопливый обрывок фильма в несколько кадров, из которых связного рассказа не построишь. Бауер из Екабпилса, длинный, очкастый парень с медленными движениями. Житель Милгрависа Фрицис Фелд-Милберг, на лице которого еще в Спилве частенько видели улыбку, болел язвой желудка и быстро таял. Янис Фрейманис, его я помню еще по Валмиерской тюрьме, мужчина с черными горящими глазами. У него не было зубов, но здесь и есть-то почти ничего не было. Голубоглазый, плечистый Гравитис из Крустпилса — так все они лишь проносятся в памяти, мелкие детали за восемнадцать лет забылись. Другое дело, если бы этот рассказ писался сразу же после окончания войны. Перелистал записи, сделанные в 1947 году. К сожалению, здесь подробно описаны события, а фамилии не упоминаются. Поэтому я вынужден больше говорить о самом лагере, в шестой блок

которого нас прибыло двести пятьдесят, а вернулось домой неполных пять десятков.

Кажется, первым погиб Алфред Аписитис, заболевший дизентерией еще в пути из Нейенгамма. Прибыв в Цвиберг, он уже не мог больше вынести каторжный труд в туннеле. Несколько дней его выгоняли на работу, но силы быстро таяли. Затем Аписитиса, как нетрудоспособного, увезли обратно в Бухенвальд. Его пепел развеян у города Веймара.

Дизентерия и голодные поносы были главным бичом в лагере. Уже в августе (в связи с нехлорированной водой) этой болезнью переболели многие, и у многих она отняла последние силы. Самое ужасное началось с первых дней 1945 года и продолжалось до конца заключения. Больные голодными поносами тогда занимали уже целый барак. В каждой комнате этого барака находилось десять, пятнадцать двухэтажных нар с бумажными спальными мешками. В это время на каждое место клали двоих «валетом» — где у одного ноги, там у другого голова. Иначе все не помещались. Умерших выносили, протирали матрацы (мыть их нельзя было — они были из бумаги). На освободившиеся места уже была очередь в амбулатории. Хлеб умерших раздавали живым. Иногда даже мертвых сознательно оставляли в бараке — на нарах рядом с живыми до вечерней проверки, чтобы они числились живыми; за их счет можно было получить лишний ломоть хлеба и несколько картофелин. Может быть, это хоть на один день могло продлить жизнь кому-то из нас, и, может быть, это был именно тот день, когда открылись ворота лагеря.

Трупы убирали мы сами. Обмывали их смоченным в воде лигнином, затем выносили в маленький барак рядом с ревиrom. Хотя организации СС было безразлично, умер ли заключенный или нет, все же после смерти за ним следили до того момента, когда за мертвецом закрывались двери крематория. Трупы следовало раздевать; белье, пусть даже от рубашки остались лишь

замызганные лохмотья, нужно было другим, так как банды охотников на рабов действовали по всей Европе быстрее, чем смерть в лагере.

Смоченным химическим карандашом на ноге надо было написать номер умершего заключенного (фамилия в лагере ничего не значила). Сгореть должен был подлинный труп. Все же в случае необходимости товарищи, которым угрожала смертная казнь или расправа гестапо, иногда заполучали новый номер, новую фамилию, а труп сжигался с номером искомого товарища.

В ноябре и декабре в моем ведении была комната с легочными больными. Это было время, когда осенний дождь и снег влекли за собой воспаление легких, мокрые плевриты, туберкулез. Но как мало мы могли помочь... В этой комнате легочных больных царил полумрак, так как барак находился на краю лагеря, у самой ограды, за которой поднималась заросшая елями круча. Здесь в ноябре от воспаления легких умер один из братьев Эжиной, родом из Мадоны. Брат после работы навещал его, приносил где-то раздобытую сахарную свеклу, делил с ним свой тонкий ломоть хлеба. Все же смерть оказалась сильнее. Угрюмый утес за окном навсегда заслонил ему вид на покрытые рощами Видземские холмы. Второй Эжинь тоже остался навеки в тени Цвибергских скал.

Однажды, когда тусклые лампочки во время поверки на площадке раскачивались над полосатой колонной, которая топталась в липкой грязи, в амбулаторию, поддерживаемый товарищами, ввалился Жанис Лидерис, длинный, изможденный лагерной жизнью восемнадцатилетний рижанин. Насколько помнится, он был арестован за соучастие в школьной подпольной организации. Вначале мы не знали, чем он болен. Держалась высокая температура. Наш пирамидон, казалось, несколько улучшил его состояние. Но затем однажды из его рта хлынула кровь. Стал ясен диагноз и, к сожалению, прогноз — кавернозный туберкулез легких. После кровоизлияния началась но-



Прицеп с трупами узников

вая вспышка болезни. Лидериса часто навещал товарищ из рижской подпольной школьной организации — Георг Даболинь. Он приносил кусок хлеба, даже половинку какой-то английской сигареты. Все же Лидерис уставал с каждым днем все больше и больше. Второе кровоизлияние принесло смерть. Его лицо было белым, как снег, когда мы его поместили в маленьком бараке. Когда будет писаться история рижского школьного подполья, необходимо вспомнить и тех товарищей, могилу которых следует искать далеко от Риги — в средней Европе.

Хлорным раствором мы постоянно мыли полы, полки, но дезинфицировать по-настоящему спальные мешки, одеяла, одежду не могли — у нас не было резерва. Бумага при дезинфекции расплывалась. Поэтому сам барак больницы кишмя кишел микробами. Каждая простуда превращалась в воспаление легких. Тот, кому удавалось перенести воспаление легких, заболел туберкулезом. От взрывов в туннеле поднималась мельчайшая силициевая пыль, которая, словно маленькими кремниевыми ножами, разрезала легкие, они кровоточили, если в туннеле было проработано несколько месяцев. Рентген и все остальные аппараты заменял простой медицинский шприц, который обычно тоже был пустым, препаратов в ампулах не было. Кажется, что от этой насыщенной туберкулезными бактериями комнаты и я прихватил с собой домой кое-что на память.

Некоторое время спустя меня перевели в отделение, где преобладали так называемые хирургические больные с ушибами, поломами, гнойниками, рожами. По вечерам после проверки, когда заключенным разрешалось посещать амбулаторию, я работал там. Стоял уже февраль, март. В упомянутых мною двух списках рядом с фамилией чаще всего появлялась отметка: февраль, март. Рацион хлеба уменьшался, темпы работы росли. На вечерней проверке полосатая, оборванная колонна, взявшись за руки, часами покачивалась на ветру, пока лагерфюрер сосчитывал живых, полумертвых, державшихся на ногах с помощью

локтей товарищей, приплюсовывал к ним мертвецов из малого барака и так получал нужное число. Кажется, только поэтому липкая грязь Гарца, в которую ноги увязали до щиколоток, помогала держаться стоя.

На площадь прибывали и мы, санитары, и на носилках доставляли в амбулаторию тех, кто после поверки там оставался лежать, сжавшись в комок, словно защищаясь от ветра, который завывал в ущелье между горами и несся дальше в Кведлинбург, город с курортом и крематорием.

Уносили с площадки и тех, кто в комок больше не свертывался, а лежал в грязи, вытянувшись во весь рост. В амбулаторию, обхватив шею товарищей, тянулись те, кто еще кое-как мог двигаться. Число больных в амбулатории росло. Полуоцепеневшими, они сидели на скамьях, падали на пол, где находились те, кто не был в силах даже сидеть. Мы начинали распределение по отделениям.

И тогда, в который уже раз, здесь же за горой в Лангенштейне завывала сирена, кричал за забором постовой: «Тревога!», предупреждая стрелял в воздух, и все заволакивалось в туман, в сырую тьму, в которой не был виден даже слабый отблеск звезд, так как окна были тщательно завешены. Иногда раздавались стоны, было слышно, как что-то падает. Тревога затягивалась. Над лагерем висел низкий, вибрирующий звук, спокойно, как у шмеля, гудели моторы тяжелых бомбардировщиков. Гудение, возможно, звучало бы успокаивающе, если бы иногда его не прерывали громкие очереди зенитных батарей, охранявших туннель.

Наконец где-то вдали раздавался протяжный сигнал отбоя. Его подхватывали одна за другой сирены, пока самая близкая за горой не оповещала, что тревога кончилась. В амбулатории загорался свет.

На полу лежал комок тел. Словно в поисках тепла жизни заключенные навалились друг на друга. Протянутые руки что-то искали, вся полосатая масса как будто медленно двигалась,



Трупы во дворе крематория

стонала и хрипела. Мы спешили разнести товарищей по отделениям. Двое остались лежать на грязном полу. Согреть их уже никто не мог. Может быть, где-нибудь в Париже или Праге в ожидании скорой встречи о них в ту минуту думала мать или жена, зная о скором окончании войны. Но мы в своих отделениях в это время начинали борьбу за возвращение к жизни полуживых товарищей. В первые дни месяца, пока еще был кардиозол, делали уколы. Во второй половине месяца его уже не было. Тогда в рот запикивали по таблетке кофеина, единственное сердечное средство в амбулатории. У чугунной печурки грели кирпичи, согревали одеяла, чтобы отдать это тепло окоченевшим телам. Иногда кроме оцепенения начинались перебои в дыхании — легкие как будто распухали, в груди пузырилось и хрипело, на губах появлялась пена. Мы старались восстановить нормальное дыхание искусственным путем, сжимая и разжимая грудную клетку. Иногда мы побеждали смерть, лишь вдыхая потерявшему сознание свой воздух. Посиневшие, опухшие губы коченели, становились холодными. Борьбу мы часто проигрывали, но были и такие случаи, когда отдельные вздохи больного переходили в нормальный дыхательный ритм, еще медленный, с перерывами, но все же грудь вздымалась сама, и бессознательное состояние товарища сменялось глубоким сном. На следующее утро его «спасибо» было для нас такой наградой, какую медику за свои труды редко удастся получить. Мы тогда чувствовали себя победившими не только смерть, но и тех, кто сеял эту смерть в лагере — немецких фашистов!

В эти ужасные месяцы в амбулаторию привозили многих обитателей шестого блока, которые обратно уже не вернулись. Среди них были мои знакомые по Валмиерской тюрьме: Аумейстар из Мазсалацы, ему было за тридцать (в хорошие дни я этого невысокого мужчину видел румяным, крепким и сильным); деревенского парня из Трикаты Аннушку. На ферме Валмиерской тюрьмы, вскоре после ареста, он на своей спине

мог пронести три пуры ржи. Сейчас сам он весил не более снопа соломы. Пришел и валмиерец Битлацис. Все они были верными и преданными товарищами, даже в самых тяжелых условиях, до самой своей смерти. Я не помню ни одного случая, чтобы в шестом блоке нашелся предатель.

Помню Оскара Лапиня из Друвене. Он упал и разбил локоть, правда, не сильно, был лишь синяк. Но ослабленный организм не мог побороть ни одну, даже самую ничтожную болезнь. Через три дня хирург, бывший врач польской армии — майор Реклинский вскрыл на локте Лапиня громадный нарыв. Распад ткани продолжался и после этого, и два дня спустя Лапинь заснул навеки.

Подобный распад тканей начинался и от удара ореховой палкой, с которой немцы не расставались. Так погибли после порки многие привезенные сюда из Венгрии евреи.

Ломоть хлеба становился еще тоньше, отходов сахарных заводов — мелассу — тоже стали давать меньше, часто в супе были лишь картофельные очистки из кухни конвоиров. Приведу лишь два отчета, подписанные врачом Бухенвальда гауптштурмфюрером Шидлауским. В первом, подписанном 15 января, говорится, что за месяц в Бухенвальде умерло 1977 заключенных и что среди них было 42 латыша. 25 марта в сообщении уже указывается, что в течение последней недели умерло 1308 человек. Первое место по смертности занимала наша «Малахитовая команда» с 234 умершими...

Трупы в крематорий Кведлинбурга все время отвозил один пожилой крестьянин из Лангенштейна, благодушно посасывая свою фарфоровую трубку. И ему лагерь приносил доход. В марте пароконная фура уже не вмещала все трупы, ей на помощь был выделен грузовой автомобиль с прицепом. После войны старый крестьянин рассказывал, что он сам отвез около 900 трупов. Позже стало не доставать бензина. Трупы сваливались в кучу за малым баракom. Оттуда в сторону площади поверок тянулся

гнилой след. Его засыпали хлорной известью, но уничтожить не могли.

С тех пор мы, обитатели лагеря, никогда не говорили, что условия здесь хуже не могут быть. И все же люди старались выстоять. За все время помню лишь четыре случая самоубийства. В туннеле повесился липайчанин, бывший баптистский проповедник Буш. Солнечным мартовским утром ночная смена, идя с работы, принесла его еще теплый труп. На меня тоже временами находило черное тупое отчаяние, которое здесь называли лагерным «коллапсом». Все же сознание, что я крепче тех, за которыми ухаживаю, что они ждут от меня помощи, помогало выдержать в трудную минуту. Много помог мне также товарищеский коллектив врачей и санитаров. Самым близким и первым другом в амбулатории для меня был чех, студент медицины Франтишек Хавранек. Хорошими товарищами были врач Шумаков из Ташкента, врач Назаров, французские врачи Рен и Шарф, заведующий хозяйством Дедье, который никогда не обходился без французской улыбки, вежливости и учтивости, санитар, голландский партизан Ван Боон, — всех не перечислишь. Лагерь учил, хотя и суровыми средствами, что выжить можем лишь в том случае, если товарищи всех национальностей крепко возьмутся за руки.

В ту весну лагерь походил на кошмарный остров смерти у подножья прекрасного Гарца, трава пускала первые зеленые ростки. Разумеется, по эту сторону забора ни травы, ни корней, ни коры на деревьях и в помине не было. За забором неровный откос, непригодный для пашни, он был засажен вишнями. Вишни уже протягивали к солнцу белые кончики распустившихся почек. Под этими вишнями вырыли огромные ямы. В сбитые из досок ящики заталкивали по два мертвеца. В целях экономии ящики были сделаны узкими и короткими. Когда останки двух мертвецов, весом в ржаной сноп каждый, несли шесть пошатающихся «мусульман», то в такт их шагам шевелилась перевесившаяся через край ящика рука или голова полусидя-

щего труппа. «Мусульманами» эсэсовцы издевательски называли тех беспомощных заключенных в полосатой одежде, которых ожидала скорая смерть, ибо «они похожи на мусульман, которые не хотят больше жить».

В лагере царила смерть. Еще в марте публично вешали людей. Со времени нашего прибытия здесь повесили около двадцати товарищей. Вешали за все, что только приходило в голову, лишь бы только устрасить остальных. Вешали за попытку к бегству, за плохую работу, за то, что возражал мастеру. Недавно я видел фотоснимок той ели, на суку которой рядом с забором лагеря были повешены многие заключенные. Теперь к стволу ели прикреплена памятная доска. Впоследствии вешали также на суках дуба в самой середине лагеря. Обычно в таких случаях к месту казни сгоняли всех свободных от работы заключенных. Согласно инструкции вначале произносили речь; ее переводили на три языка. Речь содержала одни угрозы. Затем приговоренного к смерти ставили на бочку из-под бензина, которую иногда поручали выбивать кому-нибудь из заключенных (тоже согласно инструкции); обычно это искусно и бесшашно проделывали сами эсэсовцы.

И все же ничто не могло сломить дух заключенных. Люди, хотя и умирали с голоду, морально были еще сильными.

Еще осенью в лагерь на несколько дней прибыл зубной врач Курт Келлер. В сопровождении конвоира он обошел внешние команды Бухенвальда. Келлер находился в заключении уже с 1933 года. У нас в лагере он лечил зубы и обдывал еще какие-то дела. Он вызвал к себе меня и Хавранека. Из беседы с ним мы поняли, что Келлер является связным Бухенвальдской интернациональной организации сопротивления. Этот смелый человек, которому был всего лишь 31 год и который после 11 лет заключения сохранил твердую веру в победу, вдохнул в нас новую силу воли и решимость выдержать, что в данном случае означало победить. После его отъезда связь с нами поддерживал руководитель амбулатории (капо) Печник, староста лагеря

Нейперт и заведующий складом Клуге, все трое — немецкие коммунисты. Они руководили подпольем в нашем лагере. И вот, когда приближался конец, оказалось, что эта организация в известной мере отвела от нас кулак, который должен был одним ударом раздавить всех, кто еще оставался в живых.

В первые дни апреля в стенах туннеля днем и ночью бурились шурфы для взрывчатки. Мы узнали, что решено завести нас в туннель и затем подорвать. В ночной темноте в горах в стороне туннеля мерцали лампочки, освещавшие подход к нему. Теперь их никак нельзя было сравнить с фонариками добрых гномов, ибо все время, как только замолкали сирены, оттуда отчетливо доносился гул электробуров.

Затем неожиданно, буквально в последнюю минуту, эс-совцы изменили свои планы. Мне не удалось больше встретить Нейперта, Клугу, капо амбулатории Тони, поэтому подробностей не знаю, но для нас было ясно, что они каким-то образом оказали влияние на отмену ужасного убийства. Самой верной, очевидно, будет версия о том, что они, рискуя жизнью, угрожали открытой борьбой, так как руководство СС позже сообщило, что не хватает конвоиров, чтобы довести нас до туннеля. В лагере в то время зрела твердая решимость: если поведут в туннель — борьба не на жизнь, а на смерть, хотя бы одними зубами.

Примерно в это же время в документах амбулатории согласно приказу врача лагеря были «исправлены» все записи о причинах смерти. После «исправления» все, оказалось, умерли как порядочные граждане германской империи. Никто больше не был убит, а умерли люди от паралича, вместо голодного поноса была записана язва желудка или обычная среди любителей пива болезнь печени. Крысы почувствовали, что корабль тонет, и искали себе алиби. К сожалению, по ту сторону Эльбы многие нашли его.

Наступило последнее утро в лагере. Как обычно, во время утреннего обхода я старался поздороваться с каждым на его

родном языке (несколько необходимых для этого слов я уже знал на каждом языке), прощупал пульс, смерил температуру, вынес последних умерших. Проверка пульса и измерение температуры, конечно, больному не помогали, даже кружка обратная сделала бы больше, но потерявшим силы людям иногда хоть чуточку помогало сознание, что о них все-таки заботятся. Это мы, санитары, учитывали, это было нашей обязанностью. Затем попрощался с товарищами своей комнаты и пожелал всем скорой свободы. Это было одно из немногих пожеланий, которое в лагере исполнилось, к тому же скоро. Так завершилась моя первая, самая ужасная медицинская практика.

Закончил я свой обход в маленькой комнатке, в которой лежали двое безнадежно больных с переломленными в туннеле позвоночниками, с переломами таза. Помочь им было не в наших силах. От ужасных пролежней их спины напоминали голое переплетение жил и мускулов. В этой комнате находился также житель Валки Бертулис, молодой, красивый парень с густыми черными бровями. Сюда я его кое-как устроил ухаживать за больными, ибо работать в туннеле у него не было сил. К сожалению, здесь его силы тоже иссякли; возможно это был туберкулез. Мы попрощались, — и... позже я узнал, что вскоре после освобождения он умер. После освобождения... Лагерь, как вампир в сказках, не выпускал своих жертв даже тогда, когда самого лагеря уже не было; в непонятном влечении убивать он продолжал судорожно душить людей. После освобождения лагеря умер и кримудец Август Круминь, сильный, рослый мужчина, хотя и с облысевшей макушкой. Волосы у него выпали после перенесенного в Центральной тюрьме сыпного тифа. С распухшим лицом, со вздувшимися, неподвижными ногами он остался сидеть в лагере у барака нетрудоспособных.

Всех, кто мог двигаться, выгнали за ворота лагеря. На этот раз мы ворота больше не приветствовали. Те, кто не мог идти, остались в лагере. Ухаживать за этими больными мы поручили врачам постарше. Тогда мы еще не знали, какая судьба ждет

ушедших и какая оставшихся. На сей раз последние почти все остались в живых.

И вот некоторые из тех, кто остался в лагере, использовали найденную в канцелярии картотеку и составили списки умерших. К сожалению, эти списки ошибочны и неполны. Ошибки в них двоякие — приятные и неприятные.

О первых. Спустя год после войны в Риге я встретил одного товарища, который в списке значится умершим. Выйдя из лагеря, он потерял силы. Ему также, как и другим оставшимся, выстрелили пулю в затылок. Однако на сей раз произошел редкий случай, когда пуля оказалась милосерднее стрелявшего — она скользнула по мягкой ткани шеи, не задев кости. Раненый упал без сознания. Придя в себя, наш товарищ сполз с дороги, спрятался в стогу соломы и, наконец, спасся.

Неприятных ошибок — когда по списку человеку следовало быть в живых, а на деле он мертв — гораздо больше. Так, например, не упоминается агроном Грислис. Нет здесь и валмиерского рабочего Брикшкиса, мужчины богатырского роста, с крепкими, татуированными руками моряка. Я ему еле-еле доставал до плеча. В Валмиерской тюрьме он еще был настоящим силачом. А из больницы Малахитового лагеря я его вынес как ребенка на руках, хотя в ту пору меня никак нельзя было назвать силачом.

В этих списках не значатся и те заключенные, трупы которых в полосатых лохмотьях, как ужасные путевые знаки, указывали маршрут нашей поездки.

В садах цветут вишни, по обочинам дорог там растут яблони, на вершинах гор высятся увитые диким виноградом замки. А мы усталые, поддерживая друг друга под руки, тащились вперед, стараясь не отставать. Отстать — это означало смерть. За нами шла специальная команда эсэсовцев, которая каждому отставшему из маленького итальянского карабина «Балилла» пускала пулю в затылок.

Однажды солнечным утром мы шли хорошо прибранным

сосновым лесом. Казалось, на меховой подстилке можно сосчитать каждую упавшую шишку. На протяжении восемнадцатикилометрового пути прозвучало сорок пять выстрелов. Те, кто во время этой последней кровавой оргии немецких фашистов остался на дороге, не внесены ни в какие списки.

Преступление, которое началось после того, когда невинных людей с полей и городов Латвии согнали в Саласпилс, продолжалось в Германии. Как в Саласпилсе, так и в Германии оно достигло таких чудовищных размеров и такой бесчеловечности, что умом этого не постичь. Мы это можем объяснить лишь одним словом — таково лицо фашизма.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Язеп Каусинiek



Каторжником я стал во время немецкой оккупации в камерах Лудзенской тюрьмы. Каждая минута тянулась там, как час, а час, как день... Ни малейшего представления о будущем.

Вечером 16 августа 1942 года в нашу камеру вошел гестаповец и сообщил, что мне и еще 30 политическим заключенным завтра есть не дадут. Из Лудзенской тюрьмы нас переводят.

Что сделают с нами? Куда нас отправят? Может быть, в Гарбарский сосновый бор, в песках которого зарыты тысячи невинных людей. Сведующие люди рассказывали, что в уездной управе все погреба забиты до отказа и арестованных девять больше некуда. Значит, необходимо освободиться от нескольких лишних душ. Другие утверждали, что Гарбарские сосны стали уж слишком популярными, поэтому гитлеровцы теперь расстреливают людей на Анчупанских холмах близ Резекне.

Мы долго рассуждали о своем будущем. В ту ночь нам было не до сна. И когда в зарешеченное окошко нашей камеры проникли первые лучи восходящего солнца, в коридоре прогремели кованые сапоги. Глухо лязгнули ключи, и в камеру вошла группа вооруженных эсэсовцев. Нам приказали выйти во двор и построиться в колонну по два! Во дворе еще раз проверили по имени и фамилии, и тогда кто-то скомандовал:

— Вперед, шагом марш!

...Скоро поворот. Если погонят налево, тогда прощай, жизнь,

— этот путь ведет к Гарбарским соснам, — если направо, то, может быть... Может быть... Это для нас единственное утешение.

— Левое плечо вперед!

Мы словно ожили и полной грудью вдохнули чистый утренний воздух, который после вонючих камер нам казался чудесным нектаром. У каждого из нас появилось неукротимое желание жить, трудиться, быть свободным.

Несмотря на ранний утренний час — лудзенцы уже на ногах. Они узнали, что из тюрьмы будет отправлена группа заключенных. Люди осторожно идут по тротуару рядом с нашей колонной. Делают они это настолько незаметно, что у эсэсовцев, охраняющих нас, возникает впечатление, будто эти люди торопятся на работу. Один-другой быстрыми шагами обгоняет нас, сворачивает во двор какого-нибудь дома или в переулочек и через несколько мгновений снова идет нам навстречу. Мы понимаем, что люди в мыслях и чувствах с нами. Это для нас большая моральная поддержка.

Вот и станция Лудза. Здесь нас уже ждет товарный вагон. Вскоре раздастся приказ:

— Залезай!

Эсэсовцы сегодня удивительно благожелательны. Знакомым они разрешают подойти к вагонам и поговорить с нами. Лудзенцы используют ситуацию и подходят, конечно, выдавая себя за родственников или знакомых политзаключенных. Наши вещевые мешки наполняются запасами продуктов, а сердце — человеческой теплотой.

От пестрой толпы отделяется девочка лет пятнадцати с густыми косами. У нее в руках увесистый чемодан. Девочка подходит к дверям вагона. Спрашиваем:

— Кому вы хотите это передать?

— Тем, кого сегодня никто не навестил, — тихо отвечает девочка.

— Спасибо, дитя!

Продукты мы делим на равные части. Их нам прислала подпольная организация Лудзенского уездного Комитета Коммунистической партии Латвии.

Паровоз подали только к вечеру. Под строгой охраной нас привезли в Резекне. Там к составу поезда прицепили еще один вагон заключенных. Значит, и здешняя тюрьма переполнена! Гитлеровцам не так уж легко дается установление «нового порядка». Ему сопротивляются все.

Когда мы наконец прибыли в Даугавпилс, резекненцев поместили в какой-то склад, а нас, лудзенцев, — в тюремную церковь.

Угрюмые церковные кельи были превращены в тюремные камеры. В церковь каждый раз, перед тем как отправиться на очередную акцию, приходят фашисты и, опустившись на колени, молятся богу. Помолившись, они «во имя господа бога» идут пытать и убивать невинных людей.

Один из политзаключенных, по фамилии Яковлев, тоже захотел «помолиться». После перенесенных бесчеловечных мучений и истязаний с ним часто случались нервные припадки. И здесь, в тюремной церкви, находясь в нервном трансе, Яковлев полез на амвон и начал проповедь.

«Какой же ты нам отец», — потрясал он кулаками в сторону неба, — что не даешь своим детям хлеба?» Товарищи с трудом утихомирили его. Волоком оттащили от амвона, зная, что психически больных эсэсовцы убивают.

В Даугавпилсе сообщили, что нас отправят дальше — в Саласпилсский концентрационный лагерь. Под вечер 21 августа мы получили распоряжение собраться во дворе церкви, куда уже были согнаны сотни заключенных. После тщательной проверки началось «шествие» на станцию. Там для нас были приготовлены товарные вагоны с зарешеченными окнами. В каждый вагон загнали около восьмидесяти человек. Двери заперли. Итак, мы поехали в Саласпилс.

Саласпилс... Этот страшный лагерь истребления я увидел 22 августа 1942 года. Наш эшелон остановился на станции Саласпилс. Двери вагона открылись. Толпа голодных и измученных людей после утомительной поездки наконец оказалась на свежем воздухе.

— В колонну по четыре становись!

Когда приказ был выполнен, нас под строгой охраной погнали в концентрационный лагерь. Еще сегодня перед мысленным взором встает высокий проволочный забор лагеря, за который были согнаны тысячи людей, обреченные на медленную, мучительную смерть. И этих изнуренных голодом, исхудалых людей гитлеровцы еще заставляли выполнять тяжелые физические работы.

При входе в ворота нас поразило невиданное зрелище. В лагере вертелась живая людская карусель. Узники с носилками бегом передвигались по большому кругу и без всякой надобности переносили песок с одного места на другое. Гестаповец презрительным взглядом наблюдал за этим бессмысленным занятием и время от времени покрикивал:

— Быстрее, быстрее!

Второй гитлеровец, ударив нескольких носильщиков палкой по спине, добавил:

— Быстрей, проклятый!

И люди бегут. Потные, голодные, измученные.

Поодаль виднеется груда мешков с песком. Арестованные по команде торопливо переносят эти мешки на другое место, метров на 150 дальше, и сбрасывают их там в новую кучу. И все это делается без всякой надобности, единственно для того, чтобы по возможности больше мучить людей.

Нас встревожила и другая картина. В конце лагеря двигалась толпа оборванных и переутомленных людей. На груди и на спине у них были круглые белые нашивки. У некоторых

на шее висела доска с надписью на немецком языке: «Беглец». Люди шли парами. У каждой пары на плечах длинная жердь. На ней объемистая посуда, наполненная в лагерной уборной. Эту ношу каторжники должны были таскать четырнадцать часов в сутки.

За обедом носильщики получают лишь полпорции. Отдыхать не разрешается. Люди идут, пока не валятся с ног. Это заключенные, за мелкие проступки зачисленные в так называемую штрафную группу.

* * *

Нас сразу же зарегистрировали, разделили на группы и назначили на работу в каменоломни Бэма. Там работало около 200 узников, в том числе и я. За день каждый должен был наколоть камни и нагрузить ими семь-восемь вагонеток. Того, кто за двенадцать-четырнадцать часов не справлялся с этой нормой, считали вредителем. А судьба вредителя хорошо известна — его ждет виселица. Однако между заключенными существовал неписанный закон — группы каторжников, первыми выполнившие свои дневные нормы, шли на помощь остальным.

Старый каменный хлев, где мы должны были жить, вначале еще не был готов к приему арестованных, — вокруг еще не было забора из колючей проволоки. Поэтому мы каждый день мерили семикилометровый путь от Саласпилсского лагеря до каменоломни и обратно. Так как надо было проходить мимо комендатуры, мы не могли идти как попало. Нас заставляли маршировать, словно солдат, — твердым шагом, с высоко поднятыми головами. Если кто-либо этого не делал, наказывали не только виновного, но и всю группу. Как наказывали? Утомленных на тяжелой работе людей заставляли ложиться и вставать, валяться в грязи, прыгать как заяц, идти гусиным шагом. А гитлеровцы стояли перед комендатурой и наслаждались муками несчастных.

Для истязания людей в Саласпилском лагере широко использовались также дрессированные собаки. Это были специально обученные псы, которые по приказу хозяина бросались на людей. Свои острые клыки собака вонзала в голень, в бедро, спину заключенного, — во все части исхудалого тела, прикрытого лохмотьями одежды.

На эти сцены, когда собаки терзали людей, гитлеровцы всегда смотрели с большим удовольствием, как на праздничное представление.

* * *

Тяжелый труд в каменоломне Бэма окончательно подорвал наши силы и здоровье. Когда кончатся эти муки — этого не знал никто. Но надежду, что час свободы все же придет, хранил в глубине своего сердца каждый заключенный.

20 июля 1944 года на Сауриешские каменоломни, где я тогда работал, приехали четыре грузовые машины. В них посадили 80 заключенных и увезли в центр лагеря — в Саласпилс. Через неделю примерно две тысячи политических заключенных погнали на станцию Саласпилс и затолкали в зарешеченные вагоны. Снова нас повезли навстречу неизвестному будущему. Гитлеровцы бежали назад в свое логово и тащили нас за собой. Чтобы избежать воздушных налетов, эшелон двигался только ночью.

После шестидневного пути поезд остановился недалеко от Гамбурга. Отсюда меня и еще четыреста политических заключенных отправили в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Каждый раз при слове Бухенвальд руки еще сегодня сжимаются в кулаки. Сколько невинных людей здесь погибло, сколько искалечено на всю жизнь!

Узник лагеря директор Лиелвардской школы Голдшмит был настолько обессилен, что не мог больше двигаться. Когда поли-

дейские пришли проверить, все ли вышли на работу, они нашли Голдшмита, свернувшегося в клубок у барака. Полицейские пустили в ход палки, но Голдшмит все же не смог встать. Тогда на него натравили собаку. Пес вцепился в руки и ноги несчастного, вонзал зубы ему в спину.

Наконец учитель с большим трудом поднялся и, пошатываясь, пошел на работу. Там мастер снова побил его палкой.

Вечером мы принесли Голдшмита в барак полуживым, лишившимся речи. В тот же самый вечер он скончался.

— Нет! — твердо останавливаем мы сегодня агрессоров, которые снова начинают бряцать оружием. — Мы этого больше не допустим!

Узников в Бухенвальде не называли по имени и фамилии, а по номерам, выжженным на руках. Я был номером 74074.

Из Бухенвальда нас отправили на работу в Цвиберг. В этом трудовом лагере содержались представители разных национальностей: русские, поляки, французы, итальянцы, испанцы, бельгийцы, голландцы, чехи, литовцы, эстонцы и около 400 латышей.

В Цвиберге барачников не было. Люди ночевали под открытым небом. Вначале нам выдавали в сутки по 350 граммов хлеба с примесью опилок и тарелку супа — смесь воды и гнилых овощей. Позже хлебный паек сократили до 220 граммов, а суп заменили помоями.

На работе нас разбили на группы по 15 человек. Работать заставляли по двенадцать часов в день. Мы строили подземный авиационный завод. Наша задача заключалась в том, чтобы вывозить из туннеля на вагонетках взорванную породу. На самолетостроительном заводе работало около 600 мастеров. Среди них не было ни одного, кто бы не бил и не ругал заключенных.

В начале 1945 года на этой каторге ежедневно умирало около 70 человек.

* * *

9 апреля 1945 года началась эвакуация лагеря. Изможденные и голодные, мы брели по дорогам Германии под строгой охраной эсэсовцев. Чтобы как-нибудь успокоить голод, мы грызли кору деревьев, ели траву.

Однажды нам разрешили передохнуть у небольшого пруда, где росли ивы. Мы сорвали с них и поели все почки.

Чем дальше мы шли, тем меньше оставалось сил. Тех, кто идти больше не мог, пристреливали на месте. Почти через каждые двадцать метров на обочине дороги оставался труп.

Чтобы скрыть следы преступлений, за нашей колонной следовали эсэсовцы. Они подбирали и сжигали трупы.

* * *

Стояла теплая апрельская ночь. Моросил мелкий дождик. Наша колонна отдыхала где-то в лесу. Медленно сгущался туман.

— Лучшее время для побега, — шепчет мне тихо на ухо Казимир Брицис.

— Попробуем...

Мы начали ползком удаляться от места, где лежали. Удачно миновали охрану эсэсовцев. Еще не успели достигнуть леса, как раздалась команда:

— Встать!

Может быть, нас не заметят. Может быть...

Нас не заметили. Мы уже в лесу. Зарылись в мох и лежим тихо, как мыши.

Уже второй день мы ничего не ели. Решили зайти в дом к крестьянину и попросить хлеба.

Там, за лесом, виднелось несколько домов. Рисуем, идем туда и, боязливо постучав в дверь, просим кусочек хлеба.

Но в ответ звучит:

— Хлеба у нас нет.

Картофеля тоже не имеется. Ничего нет. Крестьяне недоверчиво оглядывают нас. Дают все же соли.

Соль нам пригодилась. В лесу нашли попавшего в охотничью петлю зайца. Посыпали его солью и съели. Затем опять зарылись в мох, проспали четверо суток и снова отправились на поиски еды в крестьянские дома. На этот раз нас принимают гостеприимно. Но приятнее всякой еды была весть, которую передал нам немецкий крестьянин: в этот район уже вошли советские войска!

Свобода! Наконец мы на свободе!

Вместе с Казимиром Брицисом идем по шоссе в город Швейниц, где находится штаб Советской Армии. Было свежее весеннее утро. Раньше, когда в сопровождении охраны эсэсовцев нас гнали через лес, мы совсем не слышали мелодичных трелей птиц. Теперь они звучат как музыка, как чудесная музыка!

Вот и городок Швейниц. На улице встречаем лейтенанта Советской Армии. Вид наших худых, заросших бородой лиц и рваной одежды ему сразу говорит, откуда мы.

— Поздравляю с освобождением! — Он прикладывает руку к фуражке.

Первые минуты встречи с освободителями были сердечными и горячими. Мы обнимали и целовали молодого лейтенанта, на фуражке которого сверкала пятиконечная красная звезда.

Заботиться о нас поручили старшине роты. Впервые после более чем трехлетнего голода мы поели досыта. Нам дали чистую одежду, отвели к парикмахеру. Постепенно мы начали приобретать человеческий вид.

СМЕРТЬ ХОДИЛА И ЗДЕСЬ

Владимир Батаревский



еденящий северный ветер превращает дождевые капли в мелкие зернышки града. Как острые иголки, они вонзаются в лицо и руки, кажется, пробираются сквозь серую одежду узников. Выдолбленные из дерева башмаки голландского типа облипают грязью и снегом. При каждом шаге ноги безжалостно болят, как вывихнутые в суставе.

На работу нас всегда сопровождает строгая охрана. Вокруг лес винтовочных штыков. Как неотразимое пугало, в темноте сверкает блестящая сталь. С перекошенными от боли лицами, угрюмо и подавленно бредем мы по грязной дороге — ноги у всех стертые до крови, от непосильной работы ноет все тело. Хочется скорее попасть в барак и упасть на холодные голые доски — хочется спать, спать и забыть все — голод, побои, унижения, которыми нас так щедро одаривают руководители работ.

Мы, группа политических заключенных, работали на аэродроме Спилве. Жили в бараках за летным полем. Кроме политических заключенных на аэродроме были заняты также военнопленные. Работа была бесчеловечно тяжелой. Мы рыли и разравнивали землю, отвозили на вагонетках песок.

Вагонетки надо было нагружать с верхом. Если этот груз приходилось толкать в гору, мы облипали вагонетку, как муравьи. Измученные голодом и побоями люди еле держались на ногах. Часто тяжелые вагонетки одолевали наши силы.

Они скользили назад, люди попадали под колеса и больше не вставали.

Погибших товарищей мы уволакивали подальше и зарывали в песчаных буграх. Если вагонетка сходила с рельс и переворачивалась — на наши спины сыпался град побоев. Кроме палок и тростей пускались в ход штыки. В таких случаях, конечно, не обходилось без человеческих жертв. Так, на аэродроме Спилве лишились жизни чехи Дирба и Штробе, французы Люсьен и Оже, русские Сидоров и Нестеров, латыши Грабовский, Калнынь и сотни других людей разных национальностей. Гитлеровские садисты считали геройством мучить изнуренных голодом людей. Они понимали: если заключенные будут здоровыми и сильными, они станут сопротивляться, и тогда их палкой или кулаком так легко не убьешь. Поэтому продовольственный паек был ничтожно мал: тарелка силовосупа, который мы называли не иначе, как «новой Европой», и 200 граммов хлеба со значительной примесью древесных опилок.

Пытки, голод и унижение человеческого достоинства могли сломить нас физически, но не морально. Среди арестованных царил дружба и товарищество.

Вместе с нами на строительстве аэродрома по вольному найму работало несколько десятков поляков. Они давали заключенным хлеб и не одного спасли таким образом от голодной смерти. Они шли на большой риск, ибо за передачу арестованным продовольствия виновного строго наказывали.

...Колонна из двухсот заключенных медленно движется вперед.

— Стой! — доносится в ночной тишине со стороны головы колонны голос, похожий на звериный рев. Через несколько мгновений нас окружает цепь фашистов.

Холод и ветер захватывает дыхание. Было невыразимо трудно идти, а стоять — просто не вмоготу. Казалось, что в жилах начинает застывать кровь.

— Что же будет? Почему внезапно заставили остановиться? Что с нами будут делать? Какой вид истязаний фашисты придумали на этот раз?

— Обыск! — пришел с головы колонны тихий сигнал.

Странно. Обычно нас обыскивали на конечном пункте, незадолго перед входом в бараки. Почему на сей раз такое исключение?

— Бросайте хлеб! — предупреждают товарищи друг друга.

Выбросить хлеб, который нам дали польские рабочие? Мы его заботливо спрятали, чтобы в лагере «Волери» поделиться с товарищами. Нет, хлеб, благодаря которому в нас еще теплилась жизнь, не должен пропасть. Как по команде начинаем закидывать его в рот, даем рядом стоящим товарищам. Надо торопиться. Глотаем хлеб неразжеванным.

Приближается эсэсовец. Приходится прекратить есть. Иначе выбьют зубы. По прежним обыскам знаем — скрывающий хлеб строго наказывается. Его гонят к помещению охраны, где применяют так называемую «новую систему кормления». Резиновой дубинкой бьют несчастного по животу и по пяткам. В голове появляется тупая боль. Человек не может больше свято думать. Удары по животу вызывают нарушения в дыхательной системе, начинается длительный кашель.

Подошла моя очередь. Один эсэсовец, лицо которого закрывал большой козырек фуражки, ощупывает мне грудь и плечи, а второй светит карманным фонариком.

— Проклятье! — звучит у самого уха так часто слышанное и хорошо известное ругательство.

— Свинья! — пронзительно кричит второй фашист и ударяет мне кулаком в лицо.

Падаю. Меня поднимают и снова ставят на ноги. Звучит приказ раздеться догола.

Раздеваюсь. Гитлеровцы тщательно ощупывают каждый шов одежды. Не найдя ничего подозрительного, фашист ругается и плюется.

Примерно через полчаса мне позволяют одеться. Тело, кажется, совсем остыло. С трудом надеваю длинную «рубашу». Оказывается, что именно этот кусок одежды привлек внимание гитлеровцев.

У нас не было белья. Тонкая одежда заключенных не могла защитить их от ветра и дождя. Мы искали выход и нашли его. У использованных мешков из-под цемента извлекали внутренний слой бумаги, вырезали отверстия для головы и рук. Такая «рубаша» защищала от холодных порывов ветра. При ходьбе она неприятно шуршала и этим взбудоражила эсэсовцев.

Вскоре после этого происшествия работа на аэродроме Спилве кончилась и нас доставили обратно в Саласпилсский лагерь смерти.

ПО ДОРОГАМ СМЕРТИ

Антон Бондар



линная колонна заключенных покидает Саласпилсский лагерь. Это истощенные, оборванные, измученные бесчеловечным физическим трудом люди. На этот раз далеко идти не надо, здесь же через шоссе Рига—Даугавпилс, мимо Румбульских сосен в Юмправмуйжу, где оборудован филиал Саласпилсского лагеря.

Ветер доносит влажное дыхание Даугавы. За забором из колючей проволоки появились первые всходы. Началась весна. Светит солнце, а лица у всех бледные, мрачные.

До нашего прихода в Юмправмуйже размещались евреи. Об этом узнаем по молитвенникам, разбросанным в жилых помещениях. Здесь много одеял, подушек. Мы знаем, куда девались жильцы барака. Вещи обычно остаются в бараке тогда, когда его обитателей уводят на расстрел.

В первые дни мы убираем наше новое жилье и все вокруг. Весь лагерь захламлен осколками, досками, щепками, разными тряпками и рваной одеждой. Под постелями, в щелях стен находим завернутые в тряпочки драгоценности: часы, серебряные ложки, ножи, вилки, золотые кольца. Это заметили охранники. Начинается обыск. Фашисты ощупывают нас, залезают в каждую щель, отрывают доски, и драгоценности перекочевывают в их карманы.

Убирая берег Даугавы, находим много медикаментов, химикатов, брезентов и банок с надписью «Яд». Химикаты немцы заставляют тщательно собрать, упаковать и погрузить в ма-

шину. Видимо, здесь не только расстреливали и вешали, но и травили газом.

С тех пор как мы прибыли в новый лагерь, прошло несколько дней. Однажды я заметил, что над сосновым бором поднимаются клубы дыма... В безветренную погоду дым стелется над верхушками сосен, как черная простыня. Ветер доносит запах паленого мяса и горящего масла.

— Сжигают трупы, — шепнул один из наемных рабочих.

Фашисты замечали следы. Ужасные преступления, совершенные в сосновом бору, не давали гитлеровцам покоя ни днем ни ночью. Приближался час расплаты. Спасая свою шкуру, палачи старались уничтожить следы кровавых злодеяний. Горы трупов должны были исчезнуть, чтобы они не могли рассказать о страшных делах, свершившихся здесь, в Румбульских соснах.

В последние дни апреля нас послали на станцию разгружать вагоны. Подойдя к платформам, мы услышали выстрелы. Охранники торопили нас начать работу, а сами посматривали в сторону, откуда доносились выстрелы. Я находился на одной из платформ и сбрасывал с нее доски. Повернув голову, я увидел недалеко от железнодорожного полотна по всему лесу голых людей. Они что-то копали. Около тридцати человек ходили с носилками. Они поднимали из ям трупы и несли их глубже в лес, где пылал огромный костер. Своими глазами я увидел то, о чем говорили уже несколько дней подряд: немцы откапывали массовые могилы и сжигали трупы.

* * *

В конце мая группу заключенных в около двухсот человек нарядили на работу недалеко от станции Шкиротава. Около 70 человек скатывали к речке в сторону Саласпилса бетонные трубы. Дорога вела вдоль леса, где по-прежнему горели костры, валил дым и откуда доносился ужасный запах.

Товарищи рассказывали, что сосновый бор очень строго охраняется. Я пристроился с правой стороны дороги, ибо нас предупредили, что смотреть налево от дороги нельзя. Когда мы приблизились к лесу, я действительно убедился, что лес тщательно охраняется. Недалеко от караульных солдат — надпись на немецком и латышском языках: в тех, кто приблизится к запрещенной зоне, огонь будет открыт без предупреждения.

В метрах 100 от шоссе стояла небольшая черно-белая полосатая будка. Оттуда непрерывно доносились выстрелы. На соснах в стороне Саласпилса висели колокола. Там же сидела группа эсэсовцев. Громко играла радиоло.

Два вооруженных автоматами фашиста вели голого по пояс загорелого человека. Я видел, как его вывели на бугор из свежего песка. Раздался выстрел, и человек куда-то упал. Я понял, что выстрел исходил из полосатой будки. Через минуту палачи в зеленой одежде привели следующую жертву... Десять метров ходьбы до обрыва. Последние шаги... Струя пуль сбрасывает его в яму. Кто-то в отчаянии сопротивляется. Напрасно. Его хватают крепкие руки и волокут по земле до обрыва. И снова выстрел.

Все это время на соснах гудели колокола, завывала радиоло.

Остальные заключенные тоже видели это убийство. Вечером мы собрались и толковали о том, что будет с нами. Это заметили охранники.

— Марш по хлевам! — разогнали они нас.

Станислав Апш из Ругаи не выдержал.

— Зачем вы губите невинных людей? — воскликнул он.

Апша увели в дом охраны, велели приготовиться к «отъезду» в Саласпилсский лагерь.

Больше я его не видел.

* * *

В июне нас разбили на несколько групп. Человек шестьдесят назначили рыть дзоты недалеко от соснового бора.

И теперь в эту сторону ехали закрытые машины. За ними следовала большая цистерна. Вскоре в лесу раздались крики женщин и плач детей. Снова заработали колокола и громкоговорители. Гул колоколов, рев музыки, вопли и выстрелы слились в неопишуемый адский шум. Вскоре автоматные очереди умолкли, раздавались лишь отдельные выстрелы. Под вечер над макушками деревьев начал подниматься черный дым. Сжигались люди, которых оккупанты несколько часов назад лишили жизни. Здесь сгорели старики и юноши, матери и дети.

Позже выяснилось, что заключенных чешских евреев, которых немцы использовали при эксгумировании и сжигании трупов, вечером тоже расстреляли и сожгли. Свидетели кровавых дел не были нужны.

Было ясно, что живым нам из этого ада не уйти. Мы начали подумывать о побеге. Но это не удалось. Однажды утром нас вызвали по списку.

— Здесь работа кончилась, — сообщили нам, — вас переводят в другое место.

Оставшиеся в живых заключенные движутся в сторону Саласпилса. Дорога охраняется, конвой удвоен. Впереди сосны... Нет, их счастливо миновали.

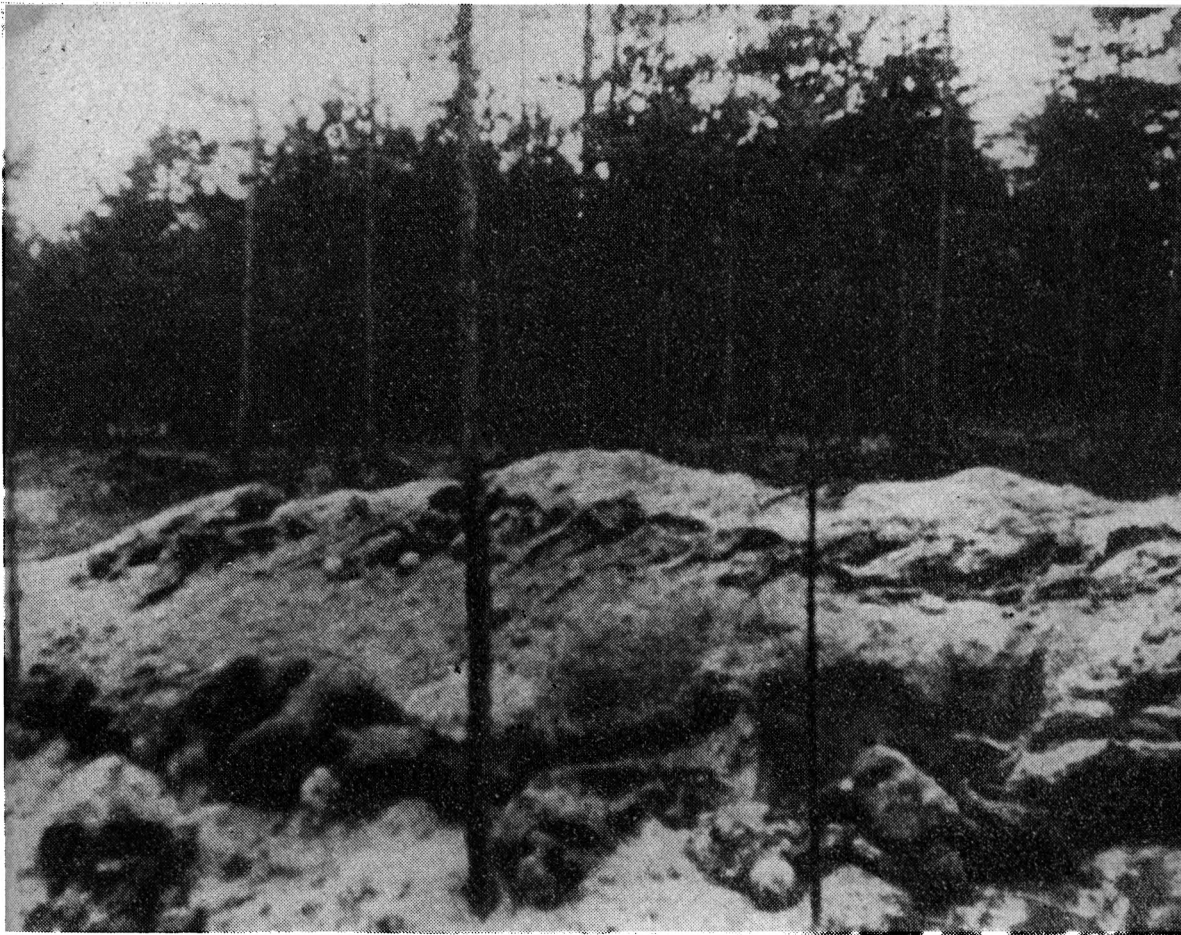
Во второй половине дня нас загнали в товарные вагоны. В них невообразимая теснота. Из вагонов никого не выпускают. Очень душно.

— В Германию, — шепчут кондукторы.

Стучат колеса, скрипят доски старых вагонов. Где-то далеко впереди пыхтит паровоз, в лесу глухо отзывается эхо его гудков. Все молчат.

Наш эшелон уже вблизи Тильзита. Где-то в воздухе проносятся самолеты, грохочут взрывы авиабомб. Подъезжаем к станции. Она окутана в облако дыма. Чувствуется запах гари, виднеются обгорелые составы поездов.

— Наши здорово надали фрицам. — Мы подмигиваем друг другу.



Вокруг Саласпилса стлался дым. Гитлеровские палачи, скрывая следы своих преступлений, вскрывали массовые могилы и сжигали трупы. Однако трупов было слишком много... Не помогли ни костры, ни цистерны горючего. Массовые кладбища навсегда останутся суровым обвинением фашизму

Наконец прибыли. Гамбургский лагерь. Здесь нас тщательно обыскивают. Отбирают все, как говорится, до нитки. У одного заключенного на шее золотой крестик.

— Давай сюда! — показывает немец на крестик.

— Это мой, я католик. Верю в бога, — пробует защищаться заключенный.

— Катись ты со своим богом к черту! — кричит немец, и крестик исчезает в его кармане.

Через два дня снова стучат колеса вагонов, снова скрипят старые доски.

— Далеко ли еще? — гадаем мы. — Куда же нас везут?

Бухенвальд... Остаемся там пять суток, затем снова в путь. И вот конечная остановка — подземный авиационный завод.

Глухо гудят под землей машины. При электрическом свете прорубаем в камне ходы. Временами странно дрожит серая каменная стена. Это взрывами расширяют проходы. Обессиленные, мы часто падаем на острые камни. Голод, тяжелый труд и несчастные случаи уносят бесконечно много жизней. Ежедневно узнаем, что умерли несколько товарищей. У подножья горы вырастают ряды свежих могил. Смерть косит основательно. Но через несколько дней наши ряды снова пополняются: сюда пригоняют новые толпы заключенных.

В апреле 1945 года нас отправляют дальше. Куда? Этого никто не знает. Кто еще в силах двигаться, тот идет. Иначе — смерть.

Уже семь дней и ночей находимся в пути. Продовольствия не выдают. Многие уже после первой ночи остаются лежать. Из четырехсот латышей нас осталось в живых около восьмидесяти.

В отдаленном углу леса я заметил, что недалеко от дороги обгорела трава и кусты. От обуглившихся человеческих тел медленно поднимались столбы дыма. Это отставшие от предыдущей колонны. Люди, у которых не хватило сил. Значит, надо двигаться. Но и это предупреждение не помогает. После при-

вала на сыром лугу поднялось не больше половины. У оставшихся сине-желтые лица. Они умирают или уже умерли.

Продовольствия не выдают. Проходя по селениям Германии, видим, что люди хотели бы нам помочь, но конвой не позволяет. Издали нам бросают куски хлеба, но поднять их мы не в состоянии. Идем, сцепившись по два, по три. Сил больше нет.

По моим подсчетам должно быть 11 апреля. Отдыхаем у какого-то сахарного завода. Жадно хлебаем мелассу, приготовленную для скота. Начинается понос. Тают последние силы. Через километров пять чувствую, что и мои силы на исходе. Начинаю отставать, хотя хорошо понимаю, что меня ожидает.

— Друзе! — Ко мне торопятся двое польских товарищей и хватают под руки...

Проснувшись, вижу — лежу на соломе. Смотрю вокруг и не понимаю, жив ли я.

— Налет, — рассказывают польские друзья. — Конвоиры разбежались. Крестьяне нам дали хлеба.

Они суют мне кусочки хлеба в рот.

Воют самолеты, рвутся бомбы. Вокруг горят дома. Все заволакивает густой черный дым...

Конвоиры появляются снова. Самые заядлые, очевидно, но их очень мало.

«Бежать, бежать», — словно молотком, все время стучит в голове.

Выходим из селения и двигаемся дальше по проселочной дороге, окаймленной кустами.

— Только десять метров, всего лишь десять метров, — стучит в мозгу.

Я чувствую, что тело налилось чем-то теплым, укрепляющим. Это поданный товарищами кусок хлеба.

— Только десять метров...

В этом конце колонны конвоиров нет. Посчастливилось — и я, пошатываясь, скрываюсь в кустах.

Утром 13 апреля меня будят две женщины. Они льют мне

в рот горячий кофе, что-то говорят. Затем прячут меня в стог соломы, а вечером переводят в сарай, находящийся подальше от селения.

Ни утром следующего дня, ни вечером спасительницы не приходят. Есть нечего. Я грызу кормовую свеклу. Так проходит еще один день и ночь. Вокруг словно все вымерло. Где-то воеет пес. В кусты забегает испуганный бело-пестрый кот.

За ельником широкое шоссе. Иду и думаю, где мои товарищи, что произошло с ними. Видят ли они еще это ясное солнце?

Услышав шум автомашины, хочу бежать, но уже поздно. Меня окружают молодые парни. Нет, это не немцы. Звучит английская речь.

— Француз? Итальянец? Русский?

— Латыш.

Они не знают такой страны.

— Русский, — говорю я и киваю головой. — Русский, русский!

Парни мне улыбаются. Один протягивает сигарету, другой сухари или шоколад.

— Ешь вволю, ешь. Войне конец.

И я, опухший от голода, оборванный и обросший бородой, с взлохмаченными волосами, исходивший дороги смерти, сижу и плачу. Тяжело дыша, плачу крупными детскими слезами.

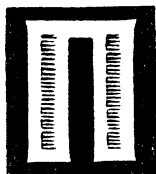
Это произошло в поселке Киндсдорф, недалеко от Галле.

* * *

24 мая 1945 года я уже возвращаюсь на Родину.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ САЛАСПИЛСА

Арвид Рупейк



Последний период моего заключения в Саласпилсе прошел главным образом в бараке А-5. Там на длинных многоярусных полках хранились свертки с одеждой узников, которую им в лагере пришлось обменять на арестантское обмундирование. У каждого такого свертка, который со временем покрывался густым слоем плесени, была своя карточка с порядковым номером, именем и фамилией бывшего владельца. Эти карточки были своего рода «картотекой живых» (так называется популярная книга чеха Норберта Фрида), позволяющей проследить за судьбами обитателей лагеря смерти. О каждом событии в жизни заключенного была своя запись на карточке, например «умер», «увезен в Германию» и тому подобные. Карточек с отметкой «освобожден» было очень мало. Зато было бесконечно много таких, где над именем и фамилией значилась отметка «Überstellt nach Z G». В переводе это означает — переведен в Центральную тюрьму.

Однако напрасно было бы искать этих людей в Рижской Центральной тюрьме. Убийство немецкие фашисты подлинным именем не называли. Для Адольфа Эйхмана истребление миллионов евреев Европы было «окончательным разрешением еврейского вопроса», а на языке саласпилских эйхманов «Überstellt nach Z G» означало — заключенный с таким-то порядковым номером уничтожен...

В конце лета 1944 года пришел день, когда заплесневевшие

свертки одежды один за другим оставляли свои привычные места. Это было самым первым признаком того, что назревают чрезвычайные события. В барак А-5 из Риги прибыло несколько гестаповцев и в большой спешке стали просматривать оставленное «перемещенными», а фактически убитыми, скудное добро, приведенное временем в еще более жалкий вид. Они уничтожали каждую найденную в одежде бумажку, которая могла бы освидетельствовать личность бывшего владельца. Заодно уничтожались и свертки тех заключенных, которые еще находились в лагере, и пол склада вскоре покрыли горы небрежно разбросанной одежды.

В этом поспешном уничтожении следов преступлений участвовал также «чиновник по особым поручениям» лагеря — бывший надзиратель Рижского 8-го полицейского участка Улдрикис Селис. Он лазил по высоким полкам и, весь в пыли, рылся в оставшихся вещах жертв фашизма.

Многое повидали и пережили мы за эти годы, и все же без презрения не могли смотреть на жадность, обуявшую «ревизоров», если они находили в свертке хоть сколько-нибудь пригодный к носке предмет одежды. К нему сразу тянулось несколько рук. Тогда забывалось арийское происхождение, пропадала надменность слуг немецких фашистов...

Самым большим приобретением, кажется, была когда-то бывшая белой рубашка. Первым ее схватил «чиновник по особым поручениям», однако после примерки ему пришлось с сожалением вздохнуть:

— Черт поberi, не мой размер...

Ценная находка перешла в руки длинного гестаповца.

Возможно, что белая рубашка когда-то принадлежала одному из непосредственных жертв Селиса.

Пост, который занимал Селис, был придуман для того, чтобы жизнь заключенным сделать сущим адом. Его задачей было найти предлог для пыток заключенных. Наказания сыпа-

лись как из рога изобилия. Никогда не прекращались крики и стоны, доносившиеся из конюшни.

Селис был таким же безжалостным палачом, как и его предшественник Артур Кандер, которого смерть настигла тут же, в лагере.

Ярче всего сохранилась в памяти одна из многих трагедий, прямым виновником которой был этот кровожадный «чиновник по особым поручениям». Это случилось летом 1944 года. В знойный день несколько десятков оборванных, переутомленных, измученных жаждой заключенных, как серые тени, двинулись в облаке пыли. Они выпрямляли дорогу, ведущую от шоссе Рига—Даугавпилс в Саласпилсский лагерь смерти.

Когда бдительность конвоиров несколько притупилась, пятеро заключенных опустили на край ямы с гравием передохнуть. Усталый мозг сверлила одна мысль, наполняло одно горячее желание — быть свободным, быть снова людьми.

— Надо бы попытаться... — как бы невзначай, тихо проорал мужчина невысокого роста. Он смотрел через край ямы вдаль, где вилась среди полей широкая белая дорога.

Вскоре снова раздалось понукание конвоиров, прервавшее недолгие мечты обессиленных людей о свободе, и они снова кололи камни, тащили тяжелый дорожный каток. Но вечером, когда они собирались лечь на свои деревянные нары, появились конвоиры и бросили всех в бункер. Начался допрос. Теперь-то мечтатели поняли, что кто-то их подслушал. Узники, конечно, отпирались, ибо в действительности еще никто и не пытался бежать. В комендатуре была тяжелая атмосфера: каждый новый день приносил фашистам неприятные вести с фронта. Поэтому они старались мстить, им нужны были стоны и кровь. Признания надо было добиться любой ценой. Эту «работу» поручили Селису. Несколько дней и ночей продолжались пытки. Чтобы положить конец невыносимым мукам, все пятеро «признались». Обвинение было поистине строгим: побег — организованное бегство, чтобы присоединиться к крас-

ным партизанам! Вскоре был готов и приговор: зачинщика повесить, остальных расстрелять!

На следующий день у виселицы построили всех обитателей лагеря. Из Риги, как обычно в подобных случаях, прибыл Ланге и другие «гости». Шарфюреры комендатуры подали им удобные кресла. Когда один был повешен (если не подводит память, его фамилия была Дарзинь), четверо остальных увели за ограду лагеря, и автоматы оборвали их мечты о свободе.

Да, до сего времени Селис мог еще ходить с гордо поднятой головой. Он был здесь, в лагере, «личностью», ему было доверено важное задание — распоряжаться жизнями людей. Но когда гул фронта раздавался совсем близко, он почувствовал приближение конца своей власти. Он стал менее взыскательным и был готов довольствоваться меньшим — рубашкой убитого заключенного... Но он не был единственным, кто в последние дни лагеря из надменного фашистского слуги превратился в разбойника с большой дороги.

Преданный слуга коменданта Чмутов в лагере был известен тем, что из деклассированных и окончательно разложившихся в заключении элементов создал группу предателей. Одним из главных доносчиков был начальник «Ордунгсдинста» (так называли сколоченную из самих заключенных полицию лагеря) Оскар Берзинь. Он надеялся заработать освобождение самой гнусной ценой — выслеживанием и предательством своих товарищей. Между прочим, этот предатель — прямой виновник того, что на виселице в Саласпилсе кончил свою жизнь комсомолец Язеп Канепе, бежавший из лагеря.

Когда в июле 1944 года грохот танков Советской Армии разбудил елгавчан и барона фон Медема, считавшего, что он еще спокойно живет в надежном тылу, как скопление гадюк, в паническом страхе зашевелились гестаповцы в своих учреждениях инквизиции по всей Латвии. Они спешили пролить по возможности больше крови. В Саласпилсе разразился самый безжалостный террор. Не проходило дня, чтобы садисты Крау-

зе, Теккемейер и Хойер не уводили бы на расстрел группу заключенных, особенно из тех, кто прибыл в Саласпилс из Даугавпилса, Резекне или других тюрем Латгалии.

Видя, как сгущается тень смерти, двенадцать товарищей решили бежать. План побега был успешно осуществлен в ночь на 30 июля. Все же через несколько дней гестаповцы двоих беглецов поймали. Это был елгавчанин Декснис и латгалка Опинцане. Как только их привели обратно в лагерь, началась кровавая оргия. Каждый день в лесу трещали автоматные очереди и взвивались в воздух струи черного дыма.

Кроме Дексниса и Опинцане погибли такие славные товарищи, как Рыбак, Страутманис, Дрей-Трей, Озолинь и другие. Но этим дело двенадцати беглецов еще не кончилось. Об этом позаботился «префект» Оскар Берзинь. Однажды, покорно согнув свою длинную фигуру в три погибели, он зашел к «чиновнику по особым поручениям» Селису и гауптшарфюреру Чмутову. Предатель сообщил, что ему удалось напасть на след Язепа Канепе. В Саласпилсе из Рижской Центральной тюрьмы был привезен бывший караульный Саласпилсского лагеря по фамилии Сулайнис. Совершенно случайно этот гестаповский холуй, попавший сам в заключение, видел Язепа Канепе и знал, где он находится. Об этом он рассказал Оскару Берзиню, и судьба Язепа Канепе была решена...

Однако судьба фашистов также была решена. Об этом говорили клубы черного дыма, нависшие над соснами Румбульского леса. Фашисты начали уничтожать следы своих преступлений, значит поняли, что придется держать ответ.

В декабре 1943 года в лагерь прибыл отряд гитлеровской полиции с обозначением «Зондеркомmando 1050». В тот же день из Риги в Саласпилс привезли 44 обессиленных еврея. Их одели в лохмотья и отдали в распоряжение этого отряда. Этим людям пришлось отрывать массовые могилы в окрестностях Саласпилса. А их было немало. Надо было вытащить из ям всех убитых, облить нефтью и сжечь. Днем евреи вскрывали

могилы и готовили костры, на которые укладывали не одного близкого или знакомого, а ночь проводили там же в лесу. Чтобы евреи не сбежали, их привязывали к деревьям. Через неделю из Риги привезли новых могильщиков, ибо первые 44 умерли и были сожжены. Вскоре вторую группу сменила третья...

Миновала зима, наступила весна 1944 года, солнце припекло по-летнему, а костры из трупов все еще продолжали дымить. У лагерной больницы росла гора пустых нефтяных бочек. Работа отряда «Зондеркомmando 1050» принимала все более широкий размах: сжигали не только вырытые из старых массовых могил трупы, но и всех жертв очередных акций, привезенных сюда из Рижской Центральной тюрьмы. Дым тогда становился гуще, зарево — страшнее. И лишь когда по ту сторону Даугавы в нескольких километрах от Саласпилсского лагеря загремели пушки Советской Армии, страшные костры перестали чадить. Перед тем как покинуть лагерь, зондеркоманда построилась перед комендатурой, чтобы получить благодарность от оберпалача Краузе. С улыбкой на губах Краузе сердечно жал руку всем осквернителям трупов и тут же вместе с ними опустошил несколько бутылок водки. В ночь перед отъездом осквернители трупов ворвались в барак Ц-12, где в одном маленьком отделе ютились двое евреев — зубные врачи из Вены, которых Краузе еще не успел расстрелять. Этих людей убийцы из зондеркоманды прикончили в надежде пожить их добром. Но вещей у них, разумеется, давно уже не было.

В последнюю ночь Саласпилсского лагеря смерти, в ночь на 29 сентября 1944 года, гауптшарфюрера Чмута уже больше не интересовали доносы предателей. Он решил, что следует обеспечить себя более реальными ценностями. В течение трех с половиной лет, пройдя сквозь Саласпилсский ад, многие тысячи заключенных оставили там и свои драгоценности — часы, кольца, портсигары. Они находились в сейфе в отдельном по-

мещении барака А-5. (В этом сейфе не хранились драгоценности зарубежных евреев и эвакуированных — они были ограблены раньше.)

В эту последнюю ночь гауптшарфюрер один, без провожатых, зашел в барак, одетый в обычную форму СД, но со старой шляпой на голове. Электричества в лагере в то время уже зачастую не было. При свете карманного фонарика Чмутов вскрыл сейф, и все его содержимое сгреб в большой мешок. Позвав узников, работавших на складе, он предупреждающе положил руку на кобуру своего пистолета и пояснил:

— Меня здесь не было... Говорите, что сюда явились несколько человек СД из Риги и забрали все драгоценности... Ясно?

Видимо, он решил с другими грабителями добычу не делить. Забросив мешок на плечо, натянув шляпу плотнее на глаза, гауптшарфюрер исчез в ночной темноте.

Саласпилсский лагерь в последние дни охранял литовский отряд СД. Неизвестно, что их заставило «отступить» — близкая ли канада, угрожающий рев советских самолетов или панический страх перед советским парашютным десантом, но 29 сентября под прикрытием ночи они исчезли.

Проснувшись утром, мы обнаружили, что за оградой из колючей проволоки охраны больше нет. Тем немногим заключенным, которые остались в лагере (другие уже были эвакуированы в Германию), эсэсовцы уделяли мало внимания. Убийца Краузе ручными гранатами взорвал фонтан, который он заставил соорудить перед комендатурой, сел в машину и уехал. Внутренняя охрана лагеря — латышские наемники СД торопливо перетаскивали наиболее ценные вещи из барака А-2 в комендатуру. В этом бараке хранились вещи уничтоженных евреев. Тысячи свертков оттуда уже были отправлены в Ригу, в гестапо, но кое-что здесь еще осталось. Теперь это торопились разграбить подручные Краузе. Запрягшись в телегу, они,

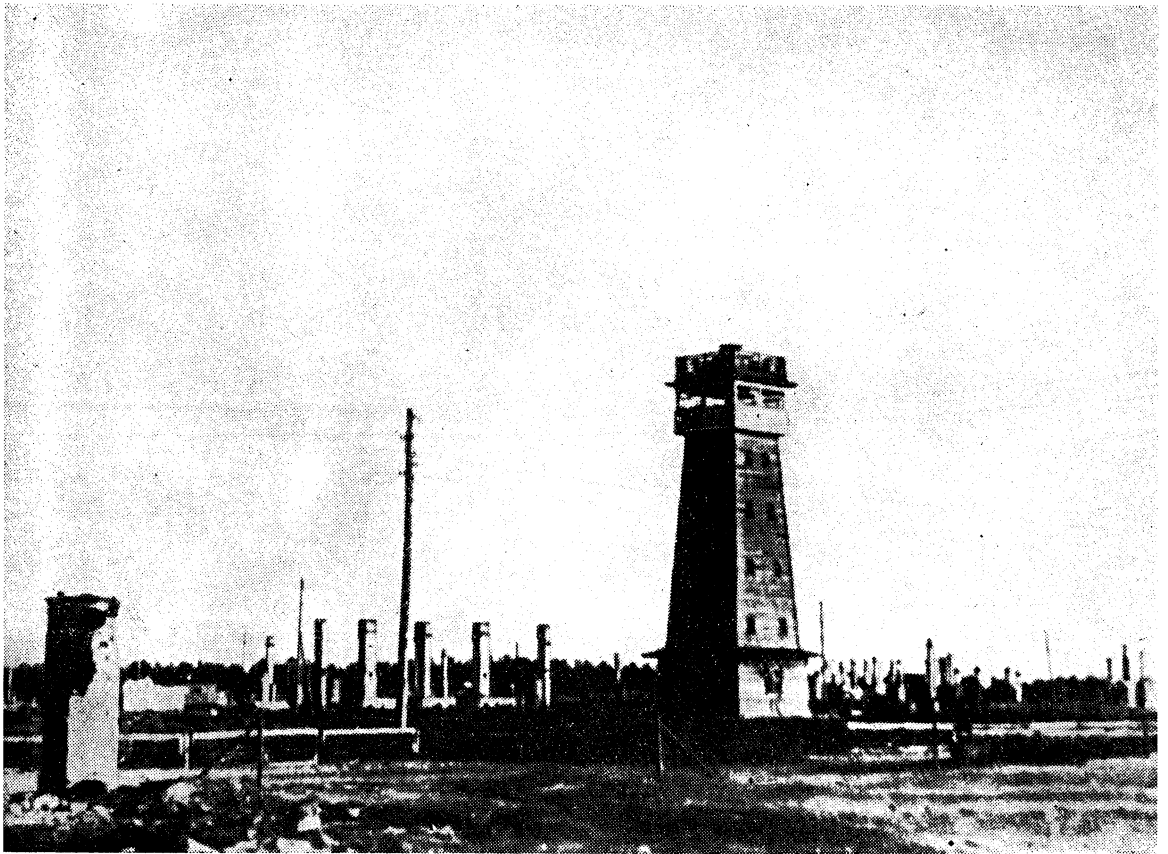
утирая пот, перевозили вещи из барака А-2 в комендатуру, где их разбирали. Затем, навьючившись как ослы, исчезали.

Ворота города смерти фактически были открыты. Но убежать на волю в одежде заключенных мы не могли. Мы же еще находились на оккупированной фашистами земле. Но не менее опасно было излишне медлить. От Саласпилсского лагеря до Риги всего 18 километров, и кто мог ручаться, что оттуда не появится какой-нибудь отряд убийц. Поэтому решение было быстрым — мы действовали. Несколько заключенных выбрасывали в окна и двери барака А-5 разную одежду, и каждый надевал то, что казалось ему наиболее подходящим. Затем — через ворота на свободу! Свобода! Это слово, как эхо, отдавалось в быстрой поступи боев, с которыми приближалась наша освободительница — Советская Армия.

В лагере остался лишь один заключенный. Это был еврей Феддхейм из Франкфурта-на-Майне. Он работал на вещевом складе А-2. Может быть, у него не хватило мужества уйти отсюда? Очевидно, он, многое перетерпевший, потерявший всех своих близких, не надеялся на чужой земле, которую еще топтал сапог фашистов, найти себе надежное пристанище. Он доверился судьбе. Но как она сложилась, осталось неизвестным.

Убегая из лагеря, мы выбирали кажущиеся наиболее безопасными направления и окольные пути. Оказалось, что наша предосторожность была уместной. Еще не все беглецы достигли своего убежища, когда над горизонтом в стороне Саласпилса взвились клубы черного дыма. Из Риги поспешно явился отряд убийц. Не найдя больше в лагере заключенных, они предоставили огню превратить в пепел то место, где десятки тысяч людей прошли сквозь страшные муки, натерпелись невыносимых унижений и научились глубоко ненавидеть самое жуткое, самое подлое, самое гнусное, что бесчеловечность и зло могут создать — коричневую чуму фашизма.

Много лет прошло с тех пор. Однако из памяти никогда не исчезнут те тысячи людей, с которыми вместе исхожены мрач-



Саласпилский лагерь смерти больше не существует. Фашисты сами его уничтожили. Остались лишь воспоминания. Их не забыть, не изгладить из памяти...

ные пути лагеря смерти, вместе выпестована жажда свободы. Но многие, очень многие из них не дождались свободы. И в этой бесконечной веренице образов, которая часто встает перед глазами, я всегда вижу одно незабываемое лицо. Вижу мальчика с клоком светлых волос на лбу, нежными чертами лица, теплыми голубыми глазами, которые мечтательно смотрят сквозь стекла очков. Имени его я не знаю. Помню лишь, что он был с восточной окраины Латвии. В лагерь смерти его, тринадцати-четырнадцатилетнего парнишку, привели вместе с большой группой мужчин и женщин, которых фашисты подзревали в связи с советскими партизанами.

Палач Краузе всех их, в том числе и мальчика, обрек на смерть в Саласпилском сосновом бору. Конвоиры грубо гнали несчастных в бункер лагеря, чтобы вскоре вывести их оттуда и поставить на край ямы. Но прежде этим людям надо было отдать все свое имущество. Отдав карманный нож, еще не понимая, что его ожидает, мальчик спросил:

— Могу ли я оставить свои очки?

Фашисты заготовали. Сразу же поднялась рука убийцы, и лицо ребенка настиг тяжелый удар... Из его полных удивления глаз покатались слезы...

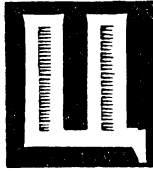
Вот уже более восемнадцати лет, как мальчика нет в живых. Но мы, бывшие заключенные, еще сегодня ощущаем боль от этого удара. Мы клянемся быть бдительными, никогда и нигде не дать фашистскому зверю еще раз поднять голову. Вместе с честными людьми всего мира мы говорим:

— Нет — фашизму, в каких бы формах он ни возрождался!

— Нет — поджигателям новой войны, пытающимся сжечь свободу народов в атомном пламени!

— Да — свободе всех народов, миру и счастливой жизни!

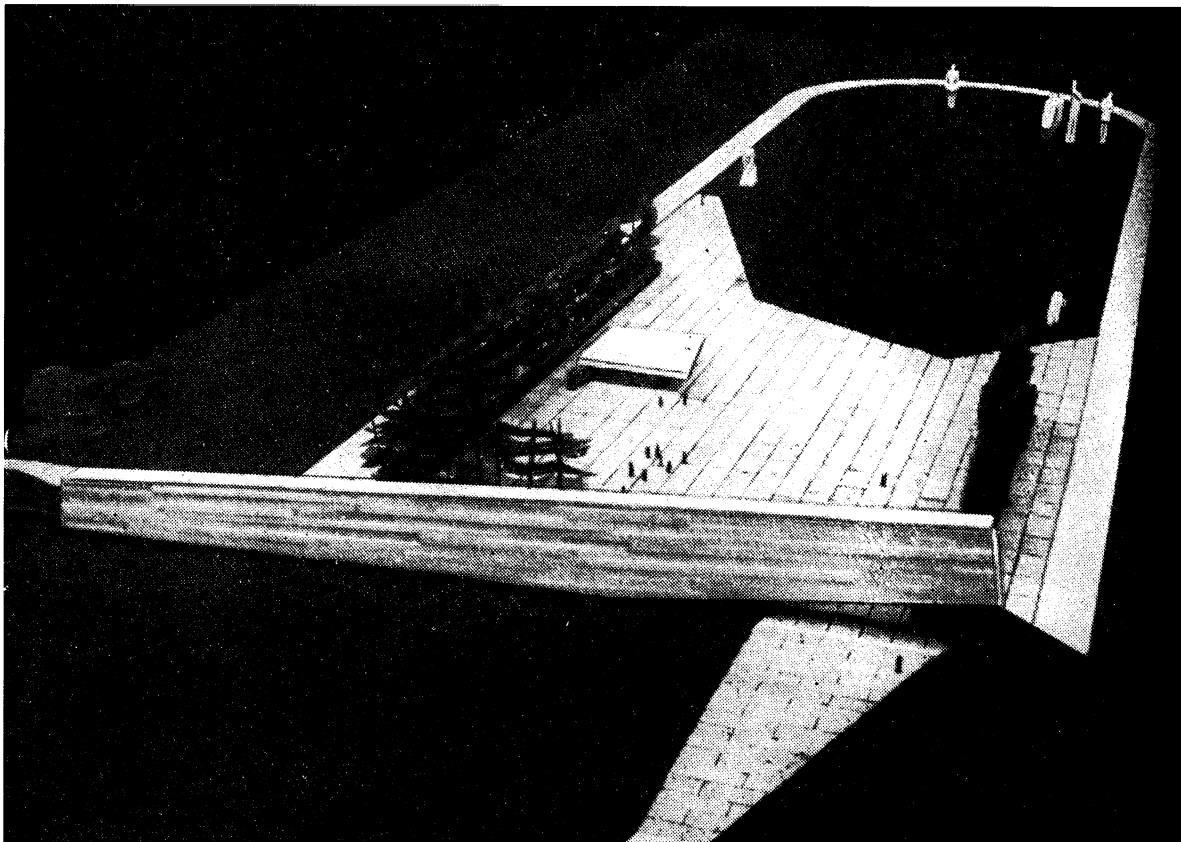
О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА В САЛАСПИЛСЕ



Центральный Комитет Коммунистической партии Латвии и Совет Министров Латвийской ССР приняли постановление навсегда сохранить память о замученных в Саласпилсском концентрационном лагере жертвах фашистского террора.

Министерству культуры республики, Государственному комитету Совета Министров Латвийской ССР по строительству и архитектуре, Союзу архитекторов и Союзу художников Латвии, исполнительному комитету Рижского районного Совета депутатов трудящихся было поручено объявить открытый республиканский конкурс на создание памятника жертвам фашистского террора и архитектурно-скульптурное оформление территории бывшего Саласпилсского концентрационного лагеря.

Решение партии и правительства о сохранении навеки памяти о Саласпилсе широкие массы народа восприняли с большим воодушевлением и благодарностью. В объявленном конкурсе на создание проекта Саласпилсского монумента участвовало много скульпторов, архитекторов, художников. За лучшие проекты были присуждены премии. Чтобы завершить ансамбль памятника, коллектив архитекторов и скульпторов (архитекторы Г. Асарис, М. Гундар, Г. Минц, О. Остенберг, А. Паперно, И. Страутманис и О. Закаменный; скульпторы А. Антинис,



Макет ансамбля памятника жертвам фашистского террора в Саласпилском лагере смерти

Л. Буковский, Х. Фишер, А. Скарайнис и Я. Заринь), используя идеи премированных проектов, создали новый проект ансамбля памятника, который был выставлен в Музее революции для всеобщего обозрения и оценки. Утвержденная Советом Министров Латвийской ССР комиссия по строительству ансамбля памятника признала работу архитекторов в целом удачной.

Ансамбль Саласпилсского памятника на территории бывшего концентрационного лагеря будет создан на площади 300 метров в длину и 100 метров в ширину. Приближаясь к нему по лесной дороге, уже на расстоянии 150 метров будет видна 10-метровая железобетонная стена, символизирующая границу жизни и смерти. Через нижний край стены откроется вид на площадь торжественных церемоний и на место возложения венков. С боков площадь окружают ряды сосен, которые посадили сами заключенные. Площадь церемоний будет вымощена большими бетонными плитами.

На месте возложения венков под полированной плитой из черного гранита будет храниться земля из всех концентрационных лагерей, которые фашисты понастроили в годы оккупации во многих местах нашей республики.

Полностью сохранится построенная заключенными кольцевая дорога — дорога страданий, охватывающая поле вереска. На этом поле в определенной композиции словно из-под земли поднимутся фигуры памятного ансамбля. Скульпторы сейчас напряженно трудятся, чтобы их творения выглядели внушительно и символично, чтобы они выражали большую глубину мыслей и чувств.

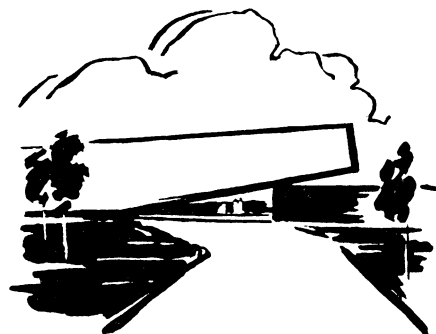
На месте барачных лагеря будут посажены розы. Там поднимутся также бетонные столбы с номерами барачных. На территории лагеря возникнут пояса из деревьев и зелени. На площадке, где фашисты приговаривали заключенных к телесным наказаниям, уже посажена дубовая роща. Оставшиеся в жи-

вых бывшие заключенные на территории лагеря посадят каждый по одному памятному дереву.

Памятник над братскими могилами военнопленных поднимется на 17—18-м километре шоссе Рига—Даугавпилс на пустыре между железной дорогой и шоссе, где зарыты тысячи умерших от голода и убитых советских воинов, попавших в плен к немецким фашистам. Эскиз этого памятника архитекторы и скульпторы сейчас разрабатывают.

Чтобы эти два памятных места — бывшую территорию лагеря и братские могилы военнопленных соединить воедино, от шоссе к ним поведет новая дорога, возле которой будет стоять монументальный указатель. Дороги от перекрестка к памятным местам закончатся в 200 метрах от памятников. Там будут оборудованы стоянки для автомашин. Остаток пути до бывших мест страданий посетители пройдут пешком.

Ансамбль памяти жертвам фашистского террора в Саласпилсе навеки станет символом борьбы против фашизма, против войны.



1. О трагической судьбе Волдемара Хинера его родственники узнали лишь после опубликования воспоминаний С. Розанова. За несколько дней до расстрела В. Хинер нелегально отправил жене письмо, в котором, между прочим, писал: «Можешь себе представить, как я чувствую себя, если за день съедаю кусочек хлеба и мисочку баланды... Ах, как бы я сейчас съел все то, что бабушка дает своей свинье...»

В. Хинера фашисты арестовали за то, что при Советской власти он — до того простой рабочий — стал заведующим мельницей.

2. Автор помещенных в этой книге двух рисунков Александр Грибулис в 1941 году работал в Сигулдской МТС. Во время фашистской оккупации его арестовали за участие в выпуске стенной газеты МТС. Из Рижского гестапо его вместе с другими заключенными ежедневно возили на принудительные работы в Саласпилс. Там установили пилораму, пилили доски и строили первые бараки для лагеря смерти. Позднее мобилизованные на работу ремесленники были поселены на хуторе «Эглитес» вблизи Саласпилса, и А. Грибулис долгое время был свидетелем трагедии заключенных в лагере людей. После войны он пытался все виденное воспроизвести в рисунках.

Пенсионер А. Грибулис уже сделал более 10 рисунков по памяти.

3. Из тюремных поэтов, которых Рудольф Эгле учил теории поэзии, кроме Фрициса Стуриса следует еще упомянуть Яниса Атвара, Отомара Куна и Карла Сауснитиса.

Ночью, когда надзиратели спали, авторы читали заключенным свои лучшие произведения. Их слушали все 230 узников так называемой интеллигентной камеры. На тайных вечерах с тихим пением песен и декламациями выступали и заключенные артисты — оперный певец Александр Вилюман и актер Отомар Кун.

Первая такая литературная ночь состоялась в середине октября 1941 года. К. Сауснитис прочитал тогда свое сочинение:

ПОСВЯЩЕНИЕ ТЮРЕМНОЙ ВШИ¹

Видно, любишь ты меня упорно,
От меня никак не отстаешь,
Притаившись в шве рубахи черной,
Скромный пир свой ты готовишь, вошь.

Голод. Мрак. В бессоннице суровой
Раны на лице моем горят.
На щеке рубец темно-багровый —
Это все, чем я сейчас богат.

Раз уж крови суждено пролиться
Без вражды, пусть в радостной волне
Не для хлеба сердце будет биться,
Лучше подари улыбку мне.

Был мой каждый мускул гол и гладок,
Ты теперь такого не найдешь,
Вот когда ты пировать могла бы,
Жадная до крови нашей вошь!

Что ж ты ищешь в этом мертвом мире,
Где вот-вот последний вздох замрет?..
У фашиста поселись в мундире,
Пей ты кровь его, ведь он-то нашу пьет.

Это стихотворение и работы других авторов были записаны в общую тетрадь, тайком принесенную в камеру заключенным, работавшим в переплетной тюрьмы. Во время очередного обыска тетрадь нашел убийца Фрициса Стуриса старший тюремный надзиратель Микельсон (в конце 1944 года трибунал приговорил его к высшей мере наказания). Следовало ожидать жестоких репрессий, но... на следующий день тетрадь принес обратно в камеру заключенный инженер-химик Арвид Вискна (замучен в концентрационном лагере), работавший в тюремных мастерских. Тетрадь на столе начальника Центральной тюрьмы заметил тюремный архитектор, прочитал и понял, что авторам грозит опасность. Он сунул тетрадь в карман и позднее отдал ее А. Вискне. Так он тюремным поэтам спас жизнь и вместе со стихами прислал гонорар — шесть красивых яблок, аромат которых заполнил всю камеру.

¹ Перевод с латышского Григория Горского.

Какой радостью для заключенных было встретить человека в волчьем логове!

Сохранилось и другое стихотворение К. Сауснитиса.

РУКИ ПАХНУТ ХЛЕБОМ¹

Мешок под головой; лежу;
Едва успев прикрыться,
Я руки на груди сложу,
Чтоб хлебу помолиться.

Дыхание земли самой
Храню под одеялом,
Чтоб было навсегда со мной,
Чтоб чудо не пропало.

Ведь эти руки, хлеб держа,
Кусочек отломил,
Последней крошкой, дрожа,
Голодного кормил.

Жду, руки на груди сложив,
Чтоб к хлебу быть поближе:
Быть может, рожь цветущих нив
Я в светлом сне увижу.

Оба эти стихотворения были написаны в тюрьме на папиросной бумаге, спрятаны в обувь и таким образом занесены в Саласпилсский концентрационный лагерь, откуда нелегально отправлены на волю.

Как и Фрицис Стурис, трагической смертью погиб и Янис Атвар. Фашисты расстреляли его в ноябре 1941 года.

4. Случай, о котором рассказывал Теккемейер, произошел в мае 1942 года, Очевидцы вспоминают:

За лагерной кухней поднимался легкий дымок. Там, стоя на коленях, какой-то невысокого роста смуглый еврей из Вены что-то долго варил а алюминиевом котелке. Он так был погружен в работу, что не заметил, как подошел ротенфюрер Теккемейер.

¹ Перевод с латышского Григория Горского.

Разжигать костер и варить пищу в лагере строго запрещалось. Теккемейер, не вынимая изо рта трубки, по-звериному рывкнул.

Варивший обед вскочил на ноги, сорвал шапку и вытянул руки по швам. Ротенфюрер пнул кованым сапогом закоптевший котелок. Он опрокинулся. На вереск полилась коричневатая жидкость, в которой плавали три-четыре кусочка подметки.

— Так, так, — помощник коменданта, нагнувшись, рассматривал содержимое котелка. — Саботаж...

— Простите, господин ротенфюрер. Есть хотелось... — У заключенного начал дрожать небритый подбородок.

Теккемейер взгляделся в лицо смуглого мужчины и что-то вспомнил.

— Постой, постой. Мне твоя морда знакома.

— Я сапожник, господин комендант. — Он умышленно повысил ротенфюрера в должности. — Я на прошлой неделе вам новые сапоги...

— У меня с тобой были другие счеты. Тебя не наказывали в лагере?

— Наказывали, господин комендант...

— Пороли за неприветствие?

— Нет, господин комендант, я вас всегда приветствую.

— За что же тогда?

Короткое молчание.

— За варку супа из подметок, господин комендант. С обрезков, которые на обувь не годятся. — Сапожник с сожалением посмотрел на опрокинутый котелок.

— Не ври! — Теккемейер замахнулся палкой. — За такие дела мы вешаем. Вчера еще...

Сапожник обеими руками разодрал у рубашки воротник и запрокинул голову. Казалось, что у него под подбородком повязана синяя, полинявшая лента.

— Господин комендант, вы уже вчера меня... Вот!

Теккемейер вынул изо рта трубку и с неподдельным любопытством стал рассматривать синюю полосу.

— Верно, — со знанием дела констатировал он. — Но как это так: тебя же вчера повесили!

— Господин комендант, меня только вешали, а не повесили. — Сапожник опустил голову. — Когда меня сняли из петли, я был еще жив. Я лишь притворился мертвым, чтобы меня унесли. Заговорил я только около ямы. «Дружочки, милые, — сказал я носильщикам, — мне повезло, я остался жив!» Друзья ужасно перепугались. Потом начали ругаться: «Мошенник, — говорили они, — а мы тебя тащили. Хотя бы от ворот шел сам». Они правы, я позволил им вести себя такой кусок, а сил у них мало. Мог ведь от ворот идти.

Теккемейер слушал, не шевелясь. Тонкие губы нервно жевали мундштук трубки, язык передвигал ее из одного угла рта в другой.

— Так, так. А как ты попал обратно в лагерь?

Еврей безнадежно развел руками.

— Некуда идти, господин комендант. Знакомых нет, языка не знаю. Упротсил могильщиков, чтобы разрешили идти обратно, только никому не говорили... Так я снова работаю в мастерской, шью сапоги. Только с едой плохо. Старший барака говорит, что я снят с довольствия. Не дает ни хлеба, ни супа. Лишь потому и вожусь с этими кожаными лоскутами...

— Пойдем! — Теккемейер прервал рассказ и указал палкой в сторону еврейского барака. — Ты покажешь мне виновных.

Живой мертвец, ничего не понимая, заморгал глазами.

— Могильщиков покажешь, — пояснил ротенфюрер. — За обман коменданта их надо повесить. Сейчас же.

Сапожник упал на колени. Нет, товарищей выдать он не может. Он и так наказал их, заставив нести себя... У них было так мало сил...

— Хорошо, — спокойно рассудил Теккемейер. — Повесим тебя вторично.

Из барака прибежали двое полицейских и поволокли опустившегося на землю человека к месту казни.

Однако вторично сапожника не вешали. Когда он отказался выдать своих товарищей, Теккемейер убил его палкой.

5. За что убили зубного врача? Этот великолепный специалист, пригнанный сюда из Чехословакии, лечил зубы самому коменданту Краузе и его помощникам.

В тот день Краузе вошел в комнату зубного врача, открыл шкафчик для медикаментов и увидел ломоть деревенского пшеничного хлеба.

Следует отметить, что прибывшие сюда из тюрьмы заключенные были настолько слабы, что даже вшестером не могли нести одну доску. Чтобы работа спорилась комендант лагеря разрешил родственникам заключенных присылать в лагерь продовольственные передачи. Этими продуктами заключенные делились между собой.

— Что это за хлеб? — спросил Краузе.

Зубной врач молчал.

— Это не лагерный хлеб. Где взял?

— Политические дали, — ответил зубной врач. — Друзья...

Краузе задумался и заключил:

— Значит, ты занимаешься комбинациями? Лечишь преступникам зубы нашими материалами? И теми же инструментами, что кладешь в рот своему коменданту? Марш — вон!

Через час Рольф — овчарка коменданта — загнал врача до смерти.

6. Поддерживать связь с внешним миром заключенным тайком помогал также техник Саласпилсской строительной конторы Я. Озол и студент К. Заде. Последний поступил на службу к эсэсовцам. Он охранял заключенных еще в Центральной тюрьме, позднее часто появлялся и в Саласпилсе, сопровождая автомашину, доставлявшую в лагерь продовольствие. Из Центральной тюрьмы К. Заде неоднократно выносил по сотне писем, собранных в камерах. Письма доставлялись в пять-шесть мест, где они сортировались и отправлялись адресатам. Таким же смелым и бескорыстным связным был К. Заде и в Саласпилсе. Он никогда не брал от родных заключенных плату за оказанные услуги.

К. Заде очень сожалел, что связался с гитлеровцами, но дорогу обратно не нашел. С начала 1944 года о нем нет никаких сведений.

7. Организатор и руководитель движения сопротивления в Саласпилском концентрационном лагере — Карл Фелдманис родился в 1895 году в Риге. Отец его был официантом, мать — дочерью бедного курземского крестьянина. Карл учился в гимназии и электромеханическом техникуме. В первую мировую войну его отправляют на Южный фронт, где он получает тяжелое ранение и демобилизуется.

В 1919 г. К. Фелдманис женится на Екатерине Чернышевой и переезжает в Москву, а в 1921 году возвращается в Ригу. Вначале работает у разных мелких предпринимателей, а с 1927 года — техником у подрядчика Нейбурга. Реакционный капиталист в 1935 году увольняет К. Фелдманиса с работы за дружбу с коммунистами, ибо К. Фелдманис внес залог за подпольщика, который сбежал в Советский Союз.

Несколько лет подряд К. Фелдманис не может устроиться на постоянную работу. В этот период его преследует и даже арестовывает охранка.

В 1940 году К. Фелдманис руководил строительными работами по оборудованию на территории Латвии оборонных пунктов Советской Армии. На этой работе он показал себя умелым организатором и деятельным советским активистом. После вступления фашистов в Латвию его сразу же арестовали и заключили в Рижскую Центральную тюрьму, а позднее отправили в Саласпилский концентрационный лагерь.

Незадолго до вероломного нападения гитлеровцев на Советский Союз жена К. Фелдманиса Екатерина, работавшая в 1-й Рижской городской библиотеке, находилась в командировке в Москве и вернуться в Ригу не успела. А К. Фелдманис, в свою очередь, ожидал жену и не успел эвакуироваться.

Сын К. Фелдманиса — Вадим с 1941 по 1945 год сражался против оккупантов в рядах Советской Армии.

Родственники К. Фелдманиса после войны живут в Риге.

8. Стихи Яниса Погулиса заключенные знали наизусть. Особенно популярной была его сатира о разгроме фашистов, например «Африканский Наполеон» или баллада о разгромленном фельдмаршале Роммеле» и «Тренка у Волги». Последнее стихотворение сохранилось у одного из бывших заключенных.

* * *

Фриц от страха стал зайкой,
Смерть пришла к зверюге дикой,
Воет, словно в клетке волки:
«Подыхать нам здесь на Волге!»

Вот уж скоро три недели
Нет ни хлеба, ни шинели.
Фюреру молись иль богу, —
Русских бить нам не помогут.

Блицкриг — нет глупее бреда!
Блицкриг сдох, а с ним победа;
Понял глухой фриц: пропало
Для фашистов масло, сало.

Кончен бал!.. Куда девалась
Песня «Дейчланд юбер аллес»,
Гитлер жаждал славы, с нею
Заслужил петлю на шею¹.

Весной 1943 года Яниса Погулиса вместе с многими другими увезли из Саласпилсского лагеря в Рижскую Центральную тюрьму. Его обвинили в участии в организации движения сопротивления, в подстрекательстве заключенных и распространении «слухов» о событиях на фронте. На допросах поэт жестоко били и пытали. Возможно, что в руки фашистов попало и какое-нибудь его стихотворение.

Янис Погулис расстрелян и зарыт среди Бикерниеких сосен.

В Саласпилском лагере смерти писал стихи также Янис Логин, Петерис Вигант, Конрад Лея, Антония Цируле и другие. Яниса Логина убили вместе с Янисом Погулисом, а Конрада Лею — удушили газом. После того как у него три раза брали кровь для нужд фашистской армии, Лея заболел чахоткой. Приехала душегубка, и его втолкнули туда вместе с другими тяжелобольными...

¹ Перевод с латышского Григория Горского.

В Саласпилсском лагере большой популярностью пользовались стихи Яниса Логина — фрагмент из поэмы «Последний бой». Это стихотворение заключенные часто декламировали в бараках.

Завтра будет солнце
Радостно светить.
Это наша доля —
Новый день творить!
Мы стальной мощью,
Верностью сильны:
Новый мир грядущий
Мы ковать должны!
Строим жизнь и знаем:
Свет придет в сады.
Пусть в труде устанем,
Мир пожнет плоды.
В сердце бьется радость,
Солнце всходит выше:
О победе нашей
Все же мир услышит,
Мир, который в рабстве
Сотни лет держали,
Голодом томили,
Били и пытали,
Чей в оковах разум
Палачи давили,
Огненное сердце
Кровью обагрили.
Но напрасно нечисть
Нам могилу роет,
Все ж навстречу солнцу
Мир глаза откроет!
Это наша доля —
Наш последний бой,
Хоть и не увидим
Солнце над землей¹.

9. Трифилий Лакомка был одним из организаторов движения сопротивления в Сауриешских каменоломнях. Этот верный друг и товарищ за свою ко-

¹ Перевод с латышского Григория Горского.

роткую жизнь пережил немало. Об этом свидетельствовали два широких шрама на его лице.

После вероломного нападения фашистов Т. Лакомка уходит из Риги как гвардеец. В Видземе около одного хутора происходит стычка с противником. Трифилию пуля пробивает грудь. Он падает около сарая. Сарай загорается, но у раненого нет сил подняться и отползти в сторону. Огонь уже жжет лицо, вот-вот воспламенится одежда. В этот момент к раненому подходит немец и из винтовки стреляет ему в голову...

И все же Трифилий выживает! Когда враг уходит, крестьяне раненого парня, который еще дышал, отвозят в больницу. Сильный организм побеждает смерть.

После выздоровления Т. Лакомку заключают в тюрьму. Парня безжалостно пытаются и бьют. Потом его отправляют в Саласпилс.

В Саласпилсе Лакомку посылают на самую тяжелую работу — он колет камни в Сауриешских каменоломнях. Но не только камни. Он пытается порвать оковы неволи — начинает изготавливать гранаты и готовить заключенных к восстанию.

Он умер как герой. Изверги снова ничего не добились. Своих друзей, с которыми вместе делал гранаты, Лакомка не выдал.

10. Блум был резчиком по дереву. В специальной мастерской, оборудованной по распоряжению коменданта Саласпилсского лагеря Никкеля, он мастерил красивые портсигары, шкатулки для рукоделия и другие сувениры.

Особенно усердным «заказчиком» был сам начальник гестапо и СД Ланге. Шесть месяцев Блум должен был вырезать свадебный подарок жене Ланге — целую коллекцию.

— Постарайся, — поторавливал Ланге, — если справишься с заданием — будешь свободен.

Блум работал день и ночь. Заказ был выполнен в срок.

Ланге сдержал слово. Блума из заключения освободили.

Когда он укладывал в бараке свои вещи, к нему подошел всем известный предатель Изар.

— Господин Блум, — он покорно изогнулся крючком, — не могли бы вы оставить мне что-нибудь на память о себе?..

— Это можно, — немного подумав, спокойно ответил Блум, — и, размахнувшись, влепил предателю пощечину.

Да, Ланге слово сдержал...

Через некоторое время Блума арестовали, заключили в Рижскую Центральную тюрьму и расстреляли.

Некоторые работы Блума, нелегально вынесенные из Саласпилсского лагеря, сейчас хранятся в Музее революции Латвийской ССР.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРАХ КНИГИ

ИОЗЕФ ГЕРТНЕР. Осенью 1941 года рижане наблюдали печальное шествие. Вооруженные эсэсовцы и шутманы гнали по улицам Риги измученных молодых и пожилых мужчин. Этим людей заключили в Саласпилский лагерь смерти, который в то время начинал создаваться. Иозеф Гертнер — единственный нам известный узник этого лагеря, оставшийся в живых из всех граждан Чехословакии, Польши, Австрии и других стран Европы, которых гитлеровцы пригнали в Саласпилс.

Как ему удалось остаться в живых, об этом И. Гертнер рассказывает в своих воспоминаниях.

По возвращении на родину И. Гертнер стал переписываться со своими друзьями в Латвии. Когда возникла идея издания этой книги, он описал тот период жизни в лагере, когда там еще не было заключенных из Латвии.

И. Гертнер в Саласпилском лагере работал механиком. Его маленькая мастерская, куда гитлеровцы часто сдавали ремонтировать радиоприемники, была хорошим источником информации положения на фронте. Если фашистам было плохо, И. Гертнер издали кричал: «Добре! Хорошо! Лаби!»

Чтобы поддержать настроение заключенных, механик нередко и сам придумывал хорошие вести.

Иозеф Гертнер родился в 1906 году в Праге. Его мечта стать врачом не исполнилась, ибо учеба стоила слишком дорого. Иозеф выучился на механика.

Немецкие оккупанты выслали И. Гертнера с матерью в Ригу. Мать расстреляли, а сына заключили в Саласпилский лагерь.

Сейчас И. Гертнер живет в городе Брно Чехословацкой Социалистической Республики и работает на тракторном заводе.

МИХАИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ. В первом латышском издании книги статьи этого автора нет. Тогда еще не знали, что в Риге живет человек, прошедший через Саласпилский лагерь военнопленных и оставшийся в живых. Адрес М. Зеленского мы узнали в Верховном Суде Латвийской ССР, куда он несколько лет назад был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего начальника строительства Саласпилского лагеря М. Качеровского.

М. Зеленский родился в 1919 году в Донецке Украинской ССР. После окончания семилетки и ремесленного училища он работал электриком в городском трамвайном парке. В 1939 году был призван на действительную службу — во флот. В 1941 году после вероломного нападения гитлеровцев на Советский Союз, участвовал в обороне острова Сарема. В октябре он попал в плен и несколько лет провел в Саласпилском и других лагерях военнопленных.

Осенью 1944 года М. Зеленский бежал из плена и после освобождения Риги снова вступил в ряды Советской Армии.

После демобилизации он живет в Риге и работает заведующим отделом Центрального универмага.

СТАНИСЛАВ РОЗАНОВ. Вначале пастух, потом — батрак. Таков путь этого сына малоземельного крестьянина Мердзенской волости до 1936 года. Затем он переезжает в Ригу, перебивается разными случайными работами.

После установления Советской власти в Латвии С. Розанова принимают в рабочую гвардию и назначают начальником 1-го рижского батальона охраны.

В августе 1941 года оккупанты арестовывают его и помещают в Рижскую Центральную тюрьму, а в октябре вместе с 24 другими заключенными отправляют на каторгу. Он работает у пилорамы, установленной на берегу Даугавы рядом с лагерем военнопленных. Здесь пилят лес для будущего Саласпилского концентрационного лагеря, куда вскоре заключают и самого С. Розанова.

В Саласпилсе С. Розанов находится до июля 1944 года. Затем его вывозят в Германию — в Нейенгамский лагерь, откуда в 1945 году он совершает побег, переходит на освобожденную Советской Армией территорию и становится солдатом. В 1946 году демобилизовался и вернулся в Ригу.

С. Розанов работает оператором на Рижском приборостроительном заводе.

КАРА САУСНИТИС родился в 1911 году в Смилтенской волости, в семье сельскохозяйственного рабочего. Учился в Смилтенской гимназии и в театральном училище в Риге.

После восстановления Советской власти в Латвии начинает работать в редакции газеты «Лиесма» в Валмиере. В 1941 году его арестовывают и заключают в Рижскую Центральную тюрьму, откуда с первой группой заключенных 7 мая 1942 года переводят в Саласпилский концентрационный лагерь.

С 1945 года К. Сауснитис работает в редакции газеты «Циня» (литературный псевдоним Петерис Этерис). Он является председателем секции сатиры Союза журналистов Латвийской ССР.

АКИЛИНА ЛЕЛИС. В Саласпилском лагере она работала в детском бараке и была свидетельницей того, как гитлеровцы уничтожали советских людей. «Это была самая большая саласпилская трагедия», — вспоминает она. «Отнятые у матерей дети умирали на наших глазах, а мы не могли помочь им, ибо у нас, санитарок, самих не было того, чего требовалось детям, — хлеба».

А. Лелис фашисты арестовали в 1941 году за активную работу при Советской власти, Срочная тюрьма, Центральная тюрьма, Саласпилс, Равенсбрюк, Бельциг — эти пропасти смерти окончательно разрушили ее здоровье. После разгрома фашистов А. Лелис долгое время лечится, потом работает делопроизводителем в воинской части.

В 1956 году она уходит на пенсию.

Мужа Акилины Карлиса фашисты расстреляли в 1944 году за активную подпольную деятельность.

ВИЛИС РИЕКСТЫНЬ. В его воспоминаниях «Трагедия братских народов» рассказывается о русских и белорусских семьях, вывезенных гитлеровцами из партизанских районов и заключенных в Саласпилский концентрационный лагерь. На этих людей была составлена специальная картотека, вести которую было поручено В. Риекстыню. Он называл ее картотекой смерти, ибо в карточках стариков и детей вскоре надо было делать отметку — умер.

В. Риекстынь был заключен в Саласпилский лагерь за активную деятельность в период Советской власти. Арестовали его в Цесисе, откуда перевели в Рижскую Центральную тюрьму. В тюрьме В. Риекстыня неоднократно избивают, хотя конкретных обвинений ему не предъявляют.

В Саласпилсе В. Риекстынь был до последнего дня существования лагеря.

Сейчас он работает старшим механиком в системе Латвийской базы океанического лова.

АНТОНИНА МИШКУТЕНОК свою биографию рассказала в зарисовке «Где ты пропала, доченька?» После войны она живет в Латвии. Здесь ведь еще есть надежда что-нибудь услышать о своем пропавшем ребенке.

А. Мишкутенок ушла на заслуженный отдых — она на пенсии. Выросли и обе ее дочери, по счастливой случайности избежавшие смерти. Алла стала торговым работником и теперь живет в Эстонской ССР, Зинаида работает в Риге ткачихой.

ЯНИС КРОНИТИС. Вся его жизнь тесно связана с лесом, который он полюбил еще с детства, живя в Сибирской тайге. Туда был выслан его отец за участие в революционном движении 1905 года в Латвии.

Когда после первой мировой войны ссыльные вернулись на родину, Янис окончил Циравскую лесную школу и стал работать лесничим.

После свержения буржуазной диктатуры в 1940 году Я. Кронитис избирается депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, за что оккупанты его арестовывают и заключают в Рижскую Центральную тюрьму, а позднее — в Саласпилский концентрационный лагерь.

После освобождения территории Советской Латвии от гитлеровских оккупантов Я. Кронитис снова работает в лесном ведомстве. Сейчас он главный лесничий Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности.

ПАВЕЛ КОРШУНОВ-САПОЖНИКОВ. Почему у автора воспоминаний «Непокоренные» две фамилии?

Работник контрразведки одной из частей Советской Армии Павел Коршунов тяжело раненный попал в плен к гитлеровцам под Таллином. Он уничтожил все свои документы и выдал себя за Павла Сапожникова.

Так он спас свою жизнь.

Павел Коршунов родился в 1909 году в бедной крестьянской семье в Тамбовской области. За участие в организации колхозов кулаки тяжело ранили его. После выздоровления П. Коршунов окончил среднюю школу и Сельскохозяйственную академию имени К. Тимирязева. Работал в МТС, колхозах и совхозах.

Годы неволи он провел в различных лагерях для военнопленных и концентрационных лагерях в Эстонии, Латвии, Польше и Германии.

Павел Коршунов живет в Москве. Он персональный пенсионер.

РИХАРД ВЕСКЕ. Первые годы его молодости, прожитые им в буржуазной Латвии, проходят в суровой борьбе за существование. Долгое время после окончания техникума он вместе с другими безработными напрасно в поисках работы обивает пороги фабрик. Найти работу по специальности ему не удается. Юноша работает, где придется.

В 1940 году, когда в Латвии была восстановлена Советская власть, 21-летний Р. Веске вступает в рабочую гвардию. В начале войны под Псковом он попадает в гитлеровский плен. Дважды бежит из Псковского лагеря военнопленных. После второго побега он благополучно добирается до Риги, но здесь его арестовывают и бросают в гестаповские застенки. Позднее его переводят в Рижскую Центральную тюрьму и Саласпилс.

День Победы Р. Веске встречает в концентрационном лагере в Германии, куда вместе с другими был вывезен из Саласпилса.

Р. Веске работает начальником цеха Рижского текстильного комбината. Он является председателем федерации спортивной авиации Латвийской ССР.

АВГУСТ ОЗОЛ. Один из немногих заключенных, оставшихся в живых после того, как долгое время находился в штрафной группе и испытал все ужасы унижения и пыток. В штрафники он попал за попытку нелегально послать родным письмо.

А. Озола арестовали в июле 1941 года. Его обвинили в подстрекательстве рабочих против оккупационного режима. Кроме того, немецкие власти узнали о его прошлом. В дни Октябрьской революции А. Озол был членом Совета рабочих и солдатских депутатов, сражался с контрреволюционерами, участвовал в гражданской войне, являлся красным латышским стрелком, боролся за установление Советской власти в Латвии в 1919 году, а также участвовал в нелегальной деятельности подпольных организаций Коммунистической партии.

Вначале А. Озола заключают в Центральную тюрьму, а через десять месяцев увозят в Саласпилский концентрационный лагерь, где он выполняет тяжелые работы в Сауриешских и Бемских каменоломнях.

После изгнания фашистов А. Озол работал лесничим в Арциме. Сейчас он пенсионер.

МАРТА ТРЕЙДЕ. Она была почтальоном. Почему же ее арестовали?

— Признавайся, что ты комсомолка! — допытывался фашистский припешник, положив на стол пистолет.

Допрашиваемая рассмеялась:

— Что вы! Мне уже 42 года!

— Кроме того, ты еще, — допрашивающий начал заикаться М-О-Р... на-верное, чекистка. Не упирайся, у нас доказательства — документы.

Что это были за доказательства?

Когда М. Трейде в советское время начала работать на Смиленской почте, она указала в своей автобиографии, что после революции в 1919 году она добровольно ушла на фронт санитаром, вступила в комсомол и МОПР.

Этого было достаточно, чтобы человека на несколько лет лишить сво-

боды. В 1941 году М. Трейде заключили в Смиленскую тюрьму, потом перевели в Валмиерскую, оттуда в Саласпилский, а затем — в Равенсбрюкский лагеря.

После разгрома фашистов М. Трейде, физически сломленная, вернулась в Смилене, работала в домоуправлении и библиотеке.

С 1956 года она на пенсии.

КАРА БУШ родился в 1912 году в Риге. После смерти отца и матери находился в детдоме. В 14-летнем возрасте начинает работать маляром. С 1929 до 1934 года он изучает графику и живопись в Рижском народном университете. В 1950 году он пополняет свои знания в Институте живописи, изобразительного искусства и архитектуры имени И. Репина в Ленинграде.

С 1931 года К. Буш является членом Коммунистического Союза молодежи Латвии и активно включается в подпольную революционную деятельность. В 1936 году его судят и заключают в тюрьму за принадлежность к Коммунистической партии Латвии.

После свержения фашистской диктатуры в 1940 году К. Буш работает председателем Профсоюза работников изобразительного искусства, заведующим художественной редакцией Латвийского государственного издательства и директором Музея изобразительных искусств.

В начале Великой Отечественной войны художник участвует в боях против гитлеровцев в Эстонии и попадает в плен. Из лагеря военнопленных его переводят в Рижскую Центральную тюрьму, а оттуда — в Саласпилский лагерь.

После освобождения Риги К. Буш работает директором средней школы прикладного искусства и Художественной средней школы имени Я. Розенталя.

В настоящее время он занимается творческой работой, воскрешая на линолеуме свои воспоминания о Саласпилском лагере смерти. Десять его работ помещены в этой книге.

ЛИЛИЯ ЛИГЕР в первый раз была арестована во время буржуазной власти в 1936 году. Ее осудили на 18 месяцев исправительных работ за сотрудничество с подпольной коммунистической организацией.

Выйдя из тюрьмы, она продолжала нелегальную деятельность в группе партийных активистов. В период Советской власти, в 1940 году, Л. Лигер работала инструктором Кировского райкома партии. В начале войны она вступает в истребительный батальон и отправляется на фронт. Тяжело раненную Л. Лигер помещают в Таллинскую больницу. Эвакуироваться она не успевает. Из больницы оккупанты перевозят ее в Таллинскую тюрьму.

В Латвию заключенную переводят только в феврале 1943 года — сначала в Центральную тюрьму и потом — в Саласпилсский лагерь. Отсюда ее эвакуируют в Данциг и заключают в Штутхофский лагерь уничтожения.

В марте 1945 года Л. Лигер из заключения освобождает Советская Армия, и до 1946 года она работает в военном госпитале.

В 1950 году Л. Лигер окончила среднюю школу и поступила на историко-филологический факультет Латвийского государственного университета, который заочно оканчивает в 1957 году.

Семь лет Л. Лигер работает литсотрудником в редакции газеты «Циня». Сейчас она заведует отделом редакции газеты «Ригас балсс».

ПЕТЕРИС ВИГАНТ в буржуазной Латвии работал санитаром в 1-й Рижской городской больнице. В 1940 году во время Советской власти он назначается начальником отдела кадров больницы.

В период оккупации П. Виганта арестовали. Из Рижской Центральной тюрьмы его отправили в Саласпилсский лагерь. Здесь он работал санитаром в бараке лагерной больницы и многое делал для облегчения участи больных.

Из Саласпилса П. Виганта пересылают в лагерь Штутхоф в Германии, а оттуда в Маутхаузенский лагерь в Австрию.

После войны П. Вигант возвращается на родину, работает журналистом, на советской и партийной работе.

В настоящее время он является председателем месткома Валмиерского 17-го АТК.

ВЕЛТА ЗЕКУНДЕ в 1940 году вступила в комсомол и работала заведующей Гренчской библиотеки. Когда оккупанты ее арестовали, ей не было еще 17 лет.

Из Тукумской тюрьмы девушку перевели в Тилский и Вецмокский концентрационные лагеря, а осенью 1942 года — в Саласпилс.

В августе 1944 года В. Зекунде и еще 11 заключенных совершают побег из лагеря.

В 1947 году она оканчивает Рижскую юридическую школу и до 1953 года работает народным судьей. В 1953 году оканчивает теоретический курс юридического факультета Латвийского государственного университета.

В настоящее время В. Зекунде работает адвокатом.

ЯНИС КЛЯВИНЬ свой путь простого рабочего начал сразу после смерти отца. Тогда ему было 14 лет. После окончания вечерней средней школы он с трудом получил место курьера в почтовой сберкассе.

Во время Советской власти в 1940 году Я. Клявинь становится торговым инспектором в Риге и активно участвует в общественной работе, за что фаши-

сты арестовывают его и помещают в Саласпилский концентрационный лагерь.

В послевоенные годы Я. Клявинь пополняет свое образование. Он оканчивает естественно-географический факультет Рижского учительского института.

Я. Клявинь работает учителем в 27-й Рижской школе рабочей молодежи.

МИЕРВАЛДИС БЕРЗИНЬ-БИРЗЕ. Утро только занимается, в коридоре Валмиерской тюрьмы раздаются торопливые шаги. Это плохой признак.

«Август Янович Берзинь...» — выкрикивает тюремный надзиратель.

Из камеры выходят двое заключенных. Один средних лет, другой — в самом начале своей жизни. Оба они Берзини, обоих зовут Август, оба Яновичи.

— Ты оставайся, — старший по-отечески подталкивает юношу обратно в камеру и сам уходит с надзирателем.

Уходит безвозвратно. Его расстреливают. Он сознательно умирает вместо своего двоюродного брата — студента медицины II курса Августа Миервалдиса Берзиня.

Студента А. Берзиня осенью 1943 года из Валмиерской тюрьмы перевели в Саласпилский концентрационный лагерь, а оттуда в 1944 году — в Нейенгаммский, потом — в Бухенвальдский лагерь смерти. В апреле 1945 года фашисты эвакуировали заключенных глубже в тыл. По дороге А. Берзинь сбежал и в мае встретился с советскими воинами. На родину он вернулся с подорванным здоровьем; завершил учебу и с 1949 года работает врачом в Цесисе.

Автором воспоминаний «На Спилвских просторах» является известный латышский прозаик и драматург (литературный псевдоним Миервалдис Бирзе). Он написал несколько книг. Большое внимание заслужила его повесть «И подо льдом река течет...» удостоенная Государственной премии Латвийской ССР. В этой книге, переведенной на многие языки, описаны действительные события — борьба партизан и помогавших им людей против германских фашистов в Валмиере летом 1942 года.

М. Бирзе написал также киносценарий «День без вечера» и драму «Этот день не был последним», отмеченную премией на конкурсе. В пьесе действуют бывшие заключенные лагеря смерти и латышские беженцы, которые после капитуляции фашистов еще не вернулись на родину.

Оккупанты арестовали и расстреляли также отца М. Бирзе Яниса Берзиня, бывшего председателя Кокнесского волостного исполнительного комитета. В военных невзгодах пропал без вести брат М. Бирзе — Индулис.

Миервалдис Берзинь-Бирзе был арестован в июле 1941 года за то, что в советское время он принял деятельное участие в студенческой профсоюзной организации и комсомоле.

ЯЗЕП КАУСИНИЕК. Лудзенская тюрьма, Саласпилский лагерь смерти, Бухенвальдский лагерь смерти — таков скорбный путь учителя Язепа Каусиниека.

За активное участие в работе советских учреждений в 1940—1941 годах гитлеровцы арестовали его сразу же после захвата Латвии. О проведенном в неволе времени Я. Каусиниек подробно рассказывает в своей статье «Перелистывая страницы воспоминаний».

Тюрьмы сломили его физически, но не духовно. В послевоенные годы Я. Каусиниек окончил историко-филологический факультет Латвийского государственного университета им. Петра Стучки и в настоящее время работает учителем в Краславской средней школе. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени и нагрудным значком «Отличник просвещения».

ВЛАДИМИР БАТАРЕВСКИЙ родился в 1921 году в Каунатской волости Резекненского уезда. Детство его прошло в нищете, рано он начал батрачить у видземских хозяев.

В 1940 году В. Батаревский вступил в комсомол. В первые дни Отечественной войны он сражается в составе латышского истребительного батальона. В окружении получает тяжелое ранение и попадает в плен. В ноябре 1941 года из лагеря военнопленных его перемещают в Рижскую тюрьму для несовершеннолетних, а оттуда — в Рижскую Центральную тюрьму и в 1943 году — в Саласпилс. При отправке большой группы заключенных в Германию в 1944 году Батаревский совершает побег и до конца войны скрывается в селе Вирби Талсинского района.

Лагерь смерти подорвал его здоровье. Он инвалид II группы.

АНТОН БОНДАРЬ с Саласпилским лагерем познакомился только в 1944 году. О том, как он туда попал, он рассказывает сам:

«Родился в 1919 году. Во время немецкой оккупации, когда молодежь насильно заставляли вступать в легион, я всячески выкручивался и с помощью врача добыл документы, что по состоянию здоровья не годен к военной службе. Только этого и хотел, ибо все время активно помогал партизанам — снабжал их сведениями и распространял воззвания в Тилжской волости. Но меня предал старший лесничий Арвид Ногобад. Он участвовал и в моем аресте. Сначала меня допрашивали в Балтинаве, потом перевезли в Абренское гестапо. Там меня жестоко пытали, стараясь узнать, от кого я получал прокламации. Я был весь в синяках и кровоподтеках, ступни ног превратились в сплошную рану, но я не признался. Тогда меня еще с одним мужчиной повели на хутор «Гауры» в нескольких километрах от Абрене. Там был организован фашистский так называемый «противобандитский штаб» для борьбы с партизанами. Меня допрашивал хромой немецкий капитан. Он разостлал на

столе карту и приказал мне показать, где находятся партизаны. Если я все расскажу, то меня освободят и даже возьмут с собой на карательные экспедиции, как того второго, приведенного вместе со мной. Это был Альберт Лочмелис из Тилзы. От партизан он убежал к гитлеровцам. Он указал на карте расположение лагеря партизан и получил за это немецкий карабин. Когда я повторил, что ничего не знаю, меня еще раз сильно избили и увели в Абренскую тюрьму, а оттуда — Саласпилс».

А. Бондарь работал в Саласпилском филиале — Юмправмуйже. Там он видел, как убивали людей и сжигали трупы, о чем рассказывал в своих воспоминаниях.

После Саласпилса А. Бондарь прошел еще Нейенгаммский и Бухенвальдский лагеря смерти. На родину он вернулся измученным и физически надломленным.

А. Бондарь работает в полеводческой бригаде совхоза «Берзпилс».

АРВИД РУПЕЙК родился в 1903 году в Лиепае. С 1922 года работал журналистом. В 1940 году, после восстановления Советской власти в Латвии, заведует отделом культуры в редакции газеты «Земгалес комунистс», является лектором Елгавского народного университета. С приходом нацистов его заключают в Режскую Центральную тюрьму, а потом — в Саласпилский концентрационный лагерь.

После освобождения Советской Латвии А. Рупейк продолжает работать в печати.

В. Известный и Е. Быстров. Факты и документы обвиняют	5
Иозеф Гертнер. Нас лишили родины, свободы и жизни	41
Михаил Зеленский. В тенетах коричневой паутины	81
Станислав Розанов. Кровавый пир на берегу Дау- гавы	97
Карлис Сауснитис. Этого забыть нельзя	125
Акилина Лелис. В том дворе смех не раздавался	169
Вилис Риекстынь. Трагедия братских народов . .	177
Антонина Мишкutenок. Куда ты исчезла, доченька	182
Янис Кронитис. Таня	197
Павел Коршунов-Сапожников. Непокоренные	203
Рихард Веске. Они не склонили головы	216
Аугуст Озол. В штрафной группе	230
Марта Трейде. Во власти вырожденков	235
Карлис Буш. Они жаждали крови	243
Лилия Лигер. Борьба за жизнь	251
Петерис Вигант. Струны еще звенели	258
Велта Зекунде. Мы убежали	263
Янис Клявинь. В болоте	266
Янис Кронитис. В Сауриешских каменоломнях . .	284
Миервалдис Берзинь-Бирзе. На Спилвских про- сторах	289
Язеп Каусиньек. Перелистывая страницы воспомина- ний	334
Владимир Батаревский. Смерть ходила и здесь	343
Антон Бондарь. По дорогам смерти	347

Арвид Рупейк. Последние дни Саласпилса	355
О сооружении памятника жертвам фашистского террора в Саласпилсе	365
Примечания	369
Несколько слов об авторах книги	378

В САЛАСПИЛСКОМ
ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

Редактор И. Плотке. Художественный редактор В. Грант. Оформление художника М. Озолиньш. Технический редактор Е. Кируле. Корректор З. Дарзниеце.

Сдано в набор 23 января 1964 г. Подписано к печати 30 мая 1964 г. Формат бумаги 70×90 1/16. 24,78 физ. печ. л.; 24,78 усл. печ. л.; 19 49 уч. изд. л. Тираж 60 000 экз.

Цена 65 коп.

Латвийское государственное издательство, г. Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. зак. № 17699-Мп 1964. Отпечатано в типографии № 2 Управления полиграфической промышленности Государственного комитета Совета Министров Латвийской ССР по печати, г. Рига, ул. Дзирнаву 57. Заказ № 236.
9(L)+9(S)27